

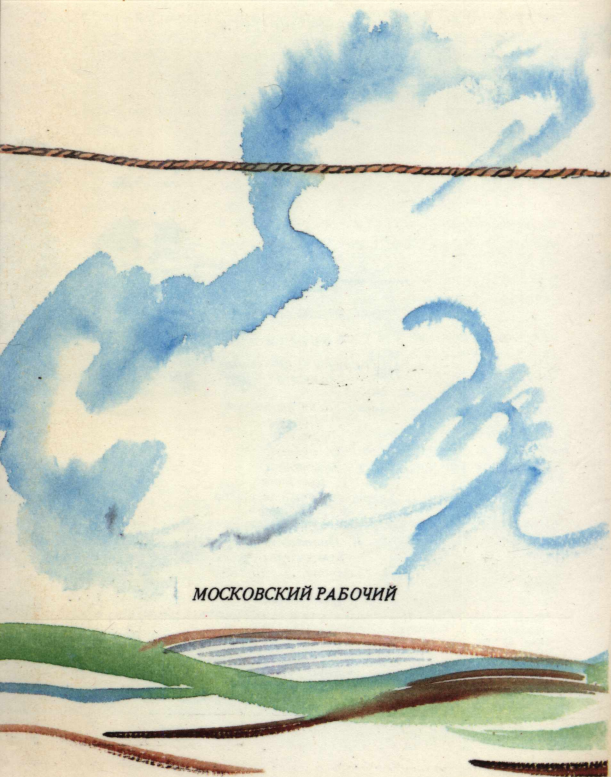
ВЛАДИСЛАВ ЛЕОНОВ



ГРУШЕВЫЙ ЧЕРТЕНОК



90 коп.



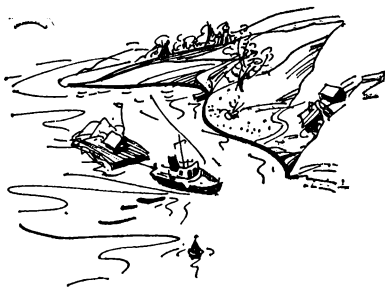
МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ



ВЛАДИСЛАВ ЛЕОНОВ

ГРУШЕВЫЙ ЧЕРТЕНОК

ПОВЕСТИ



МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

1990

ББК 84Р7—4

Л47

Леонов В. Н.

Л47 **Грушевый чертенок: Повести.**— М.: Моск. рабочий, 1990.— 384 с.— (Мальчишкам и девчонкам).

В книгу В. Леонова «Грушевый чертенок» вошли три повести, герои которых живут в маленьком городе на берегу большой реки, в подмосковном совхозе. С ними случаются различные приключения, смешные и горькие, и судьбы у них очень непростые.

Л $\frac{4803010201-212}{M172(03)-90}$ 173—90

ББК 84Р7—4

ISBN 5—239—00729—2

© В. Н. Леонов, 1990

Хозяин морковного поля

ПАХАРИ

Весенним днем в совхозной библиотеке тихо и безлюдно. Среди книг да полированных столов стоит на коленках светленькая, курносенькая девчонка-библиотекарша и, раскатав по полу большой лист бумаги, рисует. Видно, очень похожей на себя получается толстая тетка с великой ложкой в руке, девчонка весело хмыкает, а потом, сдвинув брови, старательно пишет под карикатурой стихи:

Когда ее просят совхозу помочь —
Становится сразу несчастной невмочь.
А только участки делить под картошку —
Бежит она первой: «А где моя ложка?»

Стукнуло в коридоре, отворилась дверь: это по дороге в хранилище заехал главный агроном — водицы попить. Вчерашний смешливый комбайнер Васька Аверин сегодня очень серьезен. Василий Сергеевич напился, утерся широкой ладонью и наклонился над рисунком.

— Тетка нашего Бабкина? Похожа. Прихожу сейчас к ней: помоги в субботу картошку перебрать, а она... — И, передразнивая, Василий Сергеевич сердитым, напористым голосом заговорил: — Нет уж, гражданин! Будет с меня! У меня и так целых два мужика в совхозе нашем вкалывают!

Курносенькая засмеялась.

— Верно, верно! Так она и шумит! А участок ей лучший подавай, и семена отборные, и лошадь сильную!

— Энергичная женщина, — закончил главный. Он подумал, выпил еще стакан, крикнул и, уходя, посмотрел в окно: — А вон и ее мужики топают. Важные, страсть!

Библиотекарша быстро скатала рисунок и поднялась с колен.

Вошли Миша Бабкин и его двоюродный братец Павлуня. Бабкин приходился племянником своей знаменитой тетке, а тихий Павлуня — ее родным сыном. У ребят были озабоченные лица и пахучие ватники. Они сурово сказали «здрасте», пошаркали сапогами о коврик возле порога и выложили на стол книжки: Бабкин — солидную, килограмма на два, стопу из серии «Жизнь замечательных людей», Павлуня — стопку полегче, и всю про любовь.

— Уже прочитал, Бабкин? — весело удивилась девчонка, обеими руками поднимая весомые тома и недоверчиво покачивая головой.

Парень кивнул и насупился.

— Еще подобрать? Потолще?

— Некогда, — ответил коренастый, широкоплечий Бабкин. — Весна.

— Весна, — тихо поддакнул из-за его спины тощий, длинный Павлуня. — Пахать нам, вкалывать.

Девчонка посмотрела на чумазого Бабкина, пощурилась и востреньким голосом протянула:

— Ой, мамочки, пахари! А трактор-то у вас есть?

— А вот увидишь, — слегка улыбнулся Бабкин.

— Посмотришь, — хмыкнул Павлуня и, не удержавшись, похвалился: — Нам новый трактор обещан. Тот, который... желтый...

— Да ладно тебе! — небрежно бросил Бабкин, и ребята степенно пошли к двери.

Девчонка в спину им вдруг сказала:

— А в газете интересное написано... — Братья остановились, и она прошуршала газетой: — Слушайте! «Совхозная мастерская заполнена в эти дни шумом и грохотом железа. Идет ремонт техники. Готовятся к работе стальные могучие кони. Мы беседуем с опытным седым механизатором Иваном Петровичем Петровым. У него чуть усталые, но умные глаза и золотые руки умельца. «К нам пришла новая техника, — сказал Иван Петрович, бережно похлопывая желтый новенький трактор. — Вот этот красавец предназначен для меня...»

— Нет же! — перебил ее Павлуня. — Он как раз нам предназначен! Бабкину!

— Да? — Девчонка едва удерживалась от смеха.

— Да! — твердо сказал Бабкин. — До свидания!

Библиотекарьше в окно видно, как братья свернули за угол, остановились и начали махать руками. Потом, оглянувшись на библиотеку, припустились к мастерской.

В мастерской было тихо и холодно, а на дворе всю дымилась земля. Поэтому слесари распахнули настежь ворота и работали поближе к солнцу и теплу.

Во дворе особняком на виду у всех стоял замечательный чистенький трактор апельсинового цвета.

— Наш! — сказал Бабкин, похлопывая машину по мотору.

Павлуня тоже похлопал и тоже сказал:

— Наш!

— Скоростной, надежный, — прохаживался Бабкин возле своего трактора. — Кабина просторная, пыли нет.

— С зеркальцем, — заметил Павлуня и почему-то засмущался. — Тут только в белом халате, потому что... — Павлуня, как обычно, не дотянул до конца фразы и замолчал, тараща на апельсиновый трактор ласковые синие глаза.

Послышались грузные шаги. Возле ребят остановился маленький грязный Иван Петров. «Опытный седой» сразу полез в кабину и молча начал отвинчивать зеркальце. Когда Бабкин с одной стороны, а Павлуня с другой ухватили его за рукав, «опытный седой» не стал выдираться, а сказал с усмешкой:

— Вы что думали, такую машину да соплякам? Тут и позаслуженней найдутся. Брысь!

Бабкин набычился и засопел, стал надвигаться плечом.

— Тише, тише, теткин племянник! — остановил его Иван Петров. — Ты лучше погляди, что возле конторы вывешено!

И принялся за дело: вытащил новенькие серебряные гаечные ключи, запрятал их в свой шкафчик. Туда же, под тряпки, запихал апельсиновое ведро, аптечку, а зеркальце, поцарапав масляным ногтем, протянул Павлуне:

— Возьми, кавалер, пригодится!

Бабкин повернулся и побежал к директору. Павлуня постоял, подумал, потом бросился вдогонку за братом.

ДИРЕКТОР

Директор совхоза Ефим Борисович Громов любил в делах быть самым первым: если урожай растить, то всех выше, коли контору строить — самую лучшую, с нарядным крыльцом, широкими окнами и антенной на крыше — своя радиосвязь с бригадами, фермами и полевыми станами.

Доска Почета сработана из доброго белого кирпича, буквы — из нержавеющей стали, а передовики глядят с портретов весело и гордо. Напротив скалится зеленый крокодил с вилами в лапах — тоже весь из стали, сделан на века. У крокодила стоит и хохочет народ.

Приметив братьев, люди замолчали, расступились. Бабкин, каменея скулами, глядел на собственную тетку, Павлуню, шевеля толстыми губами, разбирал стихи. Кто-то помогал ему громким шепотом:

А только участки делить под картошку —
Бежит она первой: «А где моя ложка?»

Бабкин оглянулся. Павлуня жалобно смотрел на него. Бабкин подошел поближе к витрине, подумал, открыл стеклянные дверцы.

— Да за такое дело!.. — звонко сказал кто-то, но бумага уже затрещала.

Бабкин смял рисунок, бросил.

— Бабкин! — показался в окошке директор совхоза. — Зайди-ка!

В кабинете директора тихо и солидно. В углу — бархатное горкомовское знамя — награда совхозу за отличную работу. Во всю стену — план реконструкции хозяйства. В стеклянных шкафах — сувениры да подарки от делегаций — своих и зарубежных. Стол — целый зеркальный пруд, в котором, вместо белых лебедей, отражаются стакан с карандашами, лампа, дареная серебряная чернильница, а за нею — сам Ефим Борисович в костюме, с орденскими планками на груди. Он сидит в кресле крепко, дышит тяжело, говорит густо.

— Отдохни, Бабкин! А я пока речь допишу.

Много приходится выступать товарищу Громову, но хоть полысел и постарел директор на своем важном посту, а речей за двадцать лет говорить так и не наловчился.

«Я пахарь, а не лектор!» — часто говаривал Ефим Борисович и крепко пристукивал при этом по столу тяжелым крестьянским кулаком.

Директор удрученно и долго скрипел пером, вздыхал, утирался, а Бабкин пока мрачно разглядывал план на стене. Вот речка, вон дорога, тут поля, там пастбища, фермы, теплицы. Весь план разделен на четыре почти равные части — это отделения совхоза, мощные, с хорошей техникой и толковыми руководителями. А справа, там, где река плавно огибает уголья совхоза, вытянулся клин земли, словно лисий хвост. Это — Климовка, малая деревенька, в десяток домов. Почти все ее жители перебрались на другие отделения, поле тут неудобное, бедное. Если все хозяйство стояло на песке — и совхоз-то зовется «Песковский», — то климовский клин самый что ни на есть распесчаный.

— Ну! — оторвался наконец от доклада Ефим Борисович и брезгливо отодвинул свою рукопись. — Что же ты, Бабкин, наглядную агитацию рвешь?

Голос у директора вроде бы и веселый, да глаза глядят в упор, не мигая.

— Трактор обещали дать, да не дали, — сказал Бабкин, нисколько не теряясь под этим взглядом. — Зачем обещали?

— Ну, может, когда и обещал, — ответил директор. — Не отрицаю.

Бабкин вспомнил апельсиновый трактор и поднялся.

— Или трактор давайте, или... из совхоза уйду!

Он произнес эти слова твердо, без трепета и лишь в конце чуть дрогнул голосом. Павлуня, высываясь из-за его спины, испуганно сказал:

— Уйдет ведь! Насовсем!

— Как тетка? — хмыкнул директор, и на лице его Бабкин заметил такую же небрежную, недоверчивую улыбку, как у девчонки из библиотеки. — Бежать хочешь?

Бабкин обиделся. Он стал вытаскивать из карманов бумажки, совал их директору:

— Я училище зря кончал?! Это мне задаром дали? Вот! Ни одной тройки! А вы обещали, а не дали!

Отмахиваясь от бумажек, Ефим Борисович торопливо утешал Бабкина:



— Ладно, ладно, помню! Все помню! Дам я тебе технику! Только погоди. При первой же возможности. Обещаю тебе, товарищ Бабкин.

И опять улыбка пробежала по его лицу, директор крякнул и отвернулся.

Бабкин сгреб документы, стал запихивать их в карман ватника.

— Потеряешь,— сказал директор, не оборачиваясь.— Если что — забегай.

— Пока! — буркнул Бабкин.

Братья вышли на улицу. Тетка снова висела в витрине, разглаженная и заклеенная. Павлуня, искося поглядывая на разрисованную мать, только вздохнул:

— Что написано пером...

Бабкин молчал. Стало вдруг мокро и холодно. Куда-то все спешили низкие серые облака.

Бабкин запахнул ватник, засунул руки в карманы, плечом вперед пошел вдоль деревни. За его спиной, успокаивая, дышал Павлуня:

— Ладно тебе уж... Подумаешь. Пойдем лучше на речку, поглядим, а?

Они миновали новые высокие дома, в пять этажей, с балконами, прошагали мимо старых, еще колхозных пятистенок на краю села, прошли возле совсем маленьких климовских избенок, спустились к реке.

ТЕПЛИЦЫ

По реке ходила ознобистая низовка. На бугре, освищенный ветром, стоял Бабкин и думал о том, какой он несчастный человек. «Бабкин! — кричат ему в клубе ребята. — Как твоя тетка поживает?» И незнакомая красавица, танцуя с ним, вдруг фыркнет: «Тетка! Это которая пестрого борова купила?» — «Которая в клубе пьяного шофера отлупила! — радостно подскажут услужливые. — Которая лошадь напугала! Которая все из совхоза тащит!» И пойдет Бабкин прочь, волоча тяжелые ноги. Иных встречают по одежке, других — по речам, а его — по теткиным делам. Что ни натворит в совхозе громкоголосая его тетка, худая слава ее бежит далеко впереди племянника: «Бабкин? Это у которого тетка?..» И расплываются лица, блестя глазки — весело! Им-то хорошо: у них незаметные тетки и совсем тихие фамилии.

На бугор пришли два деда и скрипуче заспорили, дойдет ли вода до паперти. Перебивая друг друга, они уточняли одна тысяча девятьсот тот самый год, когда половодье заливало церковное крыльцо. И по сей день стоит возле обомшелых ступеней каменный столб с зарубкой. В зарубку мало кто верит. Молодым не до дедовских сказок. Они пашут свои пески, сеют хлеб, выращивают капусту и морковь.

Этой зимой отгрохали четыре теплицы. Встали хрустальные дворцы на высоком берегу, на зависть районным соседям. Солнечным днем их крыши сверкают, а вечером гуляет по ним багровое закатное пламя. Директор гордится теплицами, привозит сюда гостей и скромно слушает их ахи и охи...

По теплицам словно неслышный ливень идет: это сверху вниз густо натянуты белые нити. По ним, завиваясь усами, лезут вверх нежные зеленые плети. В совхозе уже прикидывают, когда вывезут на рынок первый золотой огурчик, уже директор грозится: «Я и цветочки, гвоздички разведу!»

Но вдруг планы смешала река. Своя, деревенская речка, привычная, незаметная летом, сейчас, раздобрев на вольных ручьях, она поднялась и пошла. Обычно, захлестнув ближнее капустное поле, она бессильно останавливалась у корней старой ветлы. Но теперь

разбойница залила парники и колючей шугой застучала в стеклянные стены теплиц.

— Ага! — торжествующе сказал один дед на бугре другому деду. — Что я тебе толковал?! Дойдет!

— Бежим! — приказал Бабкин братцу.

Подбегая к центральной усадьбе, ребята повстречали школьников с лопатами на плече, воспитателей детского комбината с носилками, пенсионеров, столовских. Все спешили к теплицам. Туда же, грохоча и звеня, катили машины и трактора.

— Бабкин! — закричали из толпы. — К директору!

— Трактор дает! — звонко добавил девичий голос, и Бабкин хмуро остановился.

— Иди! — подпихнул его братец Павлуня. — Может быть, все-таки... Кто знает...

Сам он, махнув рукой, неуклюже пустился догонять народ.

В кабинете директора то же знамя с кистями, тот же ковер и те же сувениры, только пропала тишина, исчезла солидность. У некурящего Ефима Борисовича стоял в кабинете густой папиросный туман. Сидел на столе и кричал в телефонную трубку незнакомый полковник:

— Да-да! Немедленно! Машины и два взвода!

Директор ходил от окна к окну. Увидев Бабкина, поймал его за рукав, подтащил к столу и, хватая то карандаш, то бумагу, торопливо заговорил:

— Иван Петров руку сломал. А надо камень возить. Давай, Бабкин, на трактор! Бегом давай!

Бабкин задохнулся, однако быстро пришел в себя и солидно ответил директору:

— Я готов.

Чужая машина, что чужая душа, — потемки. «Опытный седой» повесил на апельсиновую кабину ржавый замок, спрятал и новые и старые гаечные ключи, убрал куда-то даже измятое ведерко. Бабкин встал было в недоумении, но тут прибежал главный агроном Аверин — куртка нараспашку, шапка на затылке — и тенорком зашумел:

— Чего копаешься, Бабкин?! Там теплицы гибнут!

— Заперто ведь... — кивнул Бабкин, поднимая ломик.

Василий Сергеевич выругался: сам он, бывало, никогда не прятал от людей ключи и не вешал замки на

комбайн. Вдвоем с Бабкиным они сшибли замок, отыскали в одном углу старую лопату, в другом — дырявое ведро, однако ключей нигде не было — поехали так.

Целый день Бабкин работал: подвозил на прицепе щебенку, землю, съездил за камнем, а под вечер ему приказали:

— Дуй, товарищ Бабкин, на климовскую ферму, надо молодняк вывозить.

Это самое слово «товарищ» было сказано хоть и впопыхах, но серьезно, без усмешки, и Бабкин в ответ торжественно кивнул из горячей кабины и поехал.

ЧЕЛОВЕК НА РЕКЕ

За околицей гуляло море. Бабкин посмотрел направо, налево — везде вода. Берегом не пробиться — нет берега, по нему плывут дальние грязные льдины. Бабкин повернул к дуплистой ветле. Тупорылый трактор не трясло, как обычно по сухой дороге, не гремели новенькие гусеницы — выстилались по дну мягко, будто по маслу. Близко под фарами плескалась река, а сзади, за прицепленными санями, словно за кормой корабля, разбегались пенные волны.

Бабкин, раскрыв дверцу, высунулся навстречу ветру. Узкие его глаза стали совсем щелками — острыми да зоркими. Только бы не попалась яма! Не влететь бы, не ухнуть куда.

Вот наконец и корявая ветла. Под ней широко ходит мутная вода. На ветках, надрывая простуженные глотки, бедуют грачи. Птицы забросили только что начатые гнезда, сквозь их редкие прутья густо просачивается заря.

Бабкин с натугой втащил трактор на скользкий бугор. Остановился перевести дух. Как далеко все видно отсюда! Вон заводские трубы на том берегу, поселок на круче и самый высокий дом в нем, зеленый под красной крышей, — магазин.

От магазина бежит вниз, к реке, человек. Ни лица, ни одежды не различить, только очень заметна рыжая его голова. Человек подбежал к воде, вскочил на плотли, на ворота — поплыл, орудуя огрызком доски вместо весла.

— Ого! — удивился Бабкин и выскочил из кабины. Человек плыл. Посудина плясала под ним на хлесткой волне, норовя каждую минуту перевернуться. Вместе с ней вниз и вверх и из стороны в сторону качался человек с рыжей головой.

Бабкин замахал ему рукой:

— Эй, давай сюда!

Незнакомец, неумело и размашисто ковыряя доской воду, подгонял посудину к высокому берегу. Здесь стиснутая крутояром река не успела дотянуться до поля и сердито неслась по стремнине, словно дикая кобылица, оставляя на ивняке клочья белой гривы.

Бабкин, скользя, побежал к кустам, возле которых лихо закручивались щепки и пена.

— Ничего! — показал веселые зубы незнакомец. — Я сам!

Он еще пуще налег на доску и поджал ненадежный плот к берегу. Бабкин все еще стоял, протягивая навстречу руку.

— С приездом! — сказал сам себе человек, пробираясь сквозь кусты.

Плотик застрял, накренился, и кудлатый парень съехал с него по колено в воду.

— Ух ты! А я галоши не надел! — закричал он, хватая наконец руку Бабкина.

Зачавкало. Бабкин выволок незнакомца на сухое.

Парень тяжело дышал. Телогрейка и рубаха на нем были распахнуты до пояса, обнажилась широкая грудь. У незнакомца были разбойные рыжие глаза, лихо клубился над распаренным лбом завидный чуб, нахального огневого цвета. Где-то уже встречал Бабкин этого человека, но где? Другой бы спросил, а Бабкин не любопытен. Он только сердито осмотрел парня с ног до головы:

— Мокрый небось? Иди в кабину!

— Ага! — отозвался незнакомец, залезая в трактор.

— Мне на ферму надо, — сказал Бабкин, забираясь следом.

Незнакомец беспечно откликнулся:

— А мне все равно куда!

Он поерзал, усаживаясь поудобней, и вдруг схватился за рычаги:

— Слушай, дай я врежу! Я ведь сам механик, все могу!

Бабкин отодвинул руку механика, спихнул с педали чужой сапог и двинул милый трактор бережно, как вазу по столу.

Механик снова заерзал, наклонился к Бабкину:

— Еле успел! Перед самым закрытием! А купил что хотел!

Бабкин молчал. Механик, привалясь к спинке, недовольно поглядывал на него. Он еще не успокоился, ему нужно разговорами облегчить душу, остыть.

— Хорошая у тебя машина,— снова наклонился он к Бабкину.

Но тому не до пустопорожних разговоров. Он весь устремился вперед, с напряжением глядит в темную воду, выискивая путь на ощупь, гусеницами. Вот гусеницы попали в наезженную колею, сразу стало легче рукам. Бабкин повеселел. «Хорошая ты моя лошадка, добрая»,— ласково подумал он.

Механик закопошился в кармане, и по кабине сквозь душок солярки прошел вдруг незнакомый Бабкину веселый светлый запах.

— Во! — показал механик красную коробку.— Духи! Ее любимые. Еле успел захватить. Перед самым закрытием.

Трактор трянуло, Бабкин стиснул рычаги. Губы его сжались в круглый комочек, глаза сузились.

Навстречу, точно с такими же санями на прицепе, выплыл другой трактор. В санях тесно друг к другу стояли телята.

— Эй, Бабкин! — высовываясь, закричал водитель.— Дай солярочки!

Они остановились. Бабкин вытащил резиновый шланг, опустил его в свой бак, пососал губами. Пока горячее текло в ведро, Бабкин тихо спросил, кивая на сидящего в кабине механика:

— Что за гусь?

— У-у! — раскатился в улыбке тракторист.— Лихой парень! На все руки от скуки! Орел. Заводской.

— А-а,— вспомнил Бабкин.— Знаю: шефы они, солломорезку делали.

— Точно! — высунулся механик.— Это мы. Мы много тут всего понаделали.— Нос его поморщился,

снова блеснули молодые зубы.— А ты, значит, Бабкин? У которого тетка?..

— Которая возле конторы висит! — охотно подхватил тракторист.— Которая...

Бабкин быстро повернулся к нему — тракторист поперхнулся и полез к себе в кабину. Бабкин снизу вверх темновато посмотрел на веселого механика.

— Вылезай! — еле ворочая челюстями, выдавил он.

Механик заглянул в его непонятные глаза и, смахнув улыбку, шустро полез из кабины.

— Стой, друг, погоди! — закричал он, бросаясь за груженными саями. — Меня захвати!

Он вскарабкался в другой трактор, а Бабкин, чувствуя за спиной насмешливые взгляды, глубоко вздохнул, поправил шапку и поехал дальше.

ЛЕШАЧИХА

Длинная климовская ферма, старая, деревянная, с замшелой крышей, одиноко стояла на малом пригорке. Над нею и за нею было только небо, розовое, густое. Возле фермы ходили люди, черные по розовому. Четко отпечатывался человек в шапке, телогрейке, на деревянной ноге. Бабкин узнал климовского управляющего Трофима Шевчука, старого солдата и совхозного ветерана. Трофим никуда не хотел выезжать из своей бедной Климовки, он горой стоял за милые его сердцу пески и десятый год грозился собрать с них такой урожай, какого в районе не видывали. Годы шли, Трофим старел, а урожай все не получалось.

Молодежь давно убежала от упрямого Трофима в другие бригады, дома в Климовке заколачивались, но сам Шевчук помирать собирался только в своем бревенчатом домишке на краю деревни. Когда ему предлагали перейти на другую работу в совхозе, повыше и почище, старый солдат неизменно отвечал: «Я за эту землю кровь проливал! Я с земли этой никуда не двинусь!»

Трофим стоял и приглядывался, кто это к нему пожаловал. Увидев Бабкина, вылезающего из кабины, он не захотел скрывать досады.

— Ты? Я-то надеялся, что Ивана Петрова пришлют.

— Заболел Иван,— ответил Бабкин.— Я вместо него.

Трофим махнул рукой и, тяжело ныряя плечом, побрел к Варваре — к своей кобыле, верной спутнице его беспокойной жизни.

«Ну и ладно! — хотелось крикнуть Бабкину.— Я и уехать могу! Подумаешь, ферма! Дворец чертов!»

Однако ничего такого парень не сказал, а только вздохнул и стал помогать женщинам выводить молодняк. Полая вода уже подступала к скотному широкой подковой. Тракторные сани, что привез Бабкин, всплывали, и телята никак не хотели забираться на них. Они упирались всеми четырьмя копытцами, смотрели на прибывающую воду большими тоскливыми глазами, тягуче мычали, запрокидывая головы, и норовили спрятаться под локоть телятницы.

— Не бойся, парень,— стыдил Бабкин лобастого, уже здорово рогатого бычка.— Такой здоровенный, а трусишь. Ну, шевели копытами.— И гладил по мягкой, подрагивающей коже.

Когда потемнела река, и погасло небо, и со всех сторон ощутимо потянуло лютой сыростью, телята лежали в соломе на саях. Отворилась дверь, и человек, уже плохо различимый в темноте, крикнул:

— Давай, Бабкин!

«А чего давать?» — не понял парень.

Он зашлепал к воротам телятника. Вода уже всю хозяйничала здесь. Она текла по земляному полу, похлопывала пороссячи бока кормовой свеклы, шевелила сено в кормушках.

Бабкин остановился возле дверей родильного помещения. Он увидел халат ветеринара, огромный, раздутый коровий бок. Трудно телилась Звездочка.

Бабкин встал позади коровьего доктора, страдальчески сдвинул брови.

— Может, чего надо, а? — спросил он.— Помочь чем?

— Уезжай, парены!

Бабкин затряс головой, и доктор устало рассердился:

— Трогай, тебе говорят! Еще успеешь за нами вернуться!

Бабкин побежал к выходу.

В проходе заплескалось. Бабкин поднял голову и

остановился. Навстречу ему с огромным ножом в руке размахисто шагала старшая телятница, глазастая и тощая бабка, по прозвищу Лешачиха, в телогрейке, перетянутой солдатским ремнем, в резиновых сапогах, из-под платка выбивались сивые старушечьи волосы. Лешачиху боялись. Ее черного глаза опасались в деревне, и младенцев ей не показывали. А когда шла она по деревне, сутулая, длинная, с папиросой под ведьминским носом, молоденькие девчонки, примолкнув, сторонились ее.

Лешачиха начала курить после смерти своего мужа, ветеринарного фельдшера. Сперва тянула тайком от людей. Но когда угодил в колонию ее единственный сын, засмолила в открытую. Она ни с кем особенно не дружила, не имела и врагов, кроме тетки Бабкина, про которую сразу же после суда сказала: «Убить ее, проклятую, мало!»

Теткина вина не была доказана, однако в совхозе упорно поговаривали, что именно она напоила малого самогонкой, после чего Лешачихин Женька и подрался в совхозном клубе в безобразном пьяном виде. В том же клубе мальчишку и судили. Показательно, на виду у всех, чтобы другим повадно не было. Когда зачитали приговор, Лешачиха громко сказала, обращаясь к бабкинской тетке:

— У тебя зимой снега не выпросишь, так за что ты моего Женьку поила? За что?

Женьку увезли, а тайна осталась. Люди стали забывать про все это, только Лешачиха крепко помнила и нехорошо смотрела на тетку из-под темных бровей.

— Ты?! — спросила она теперь теткинго племянника. — Ты зачем тут?

Она с маху всадила нож в деревянный столб. Нож, подрагивая, зазвенел. Бабкин понял, для кого он может понадобиться, и, оглядываясь на дверь родилки, поежился.

— Может, лекарства какие привезти? Я быстро!

— Иди ты к своей постылой тетке! — ответила Лешачиха.

По воде, по звездам раскатывался голос Трофима:

— Ба-абкин! Эй, Бабкин! Где ты там?

— Оглох, что ли? — пробормотала Лешачиха. — Тебя зовут.

Бабкин залез в кабину, включил фары. Возник мо-

лочно-голубоватый коридор, за которым дрожало, чернело, подступало неведомое море, глухое и жуткое, и на сто верст вокруг. А на саях, в соломе, пригревшись, терпеливо лежали телята. Трактор двинулся, медленно, перевалочку, пугливо похрапывая на воду. Его железные бока била дрожь. Сзади плыли сани. Когда немного отъехали, Бабкин оглянулся. Посреди разлива стояли огни: четкие, острые — это на столбах у фермы, длинные, дрожащие — их отражение в реке. Вокруг огней была плотная ночь.

И вдруг все утонуло во мраке — и огни, и их отражение. Бабкин остановил поезд, вылез на крыло.

— Эй! — закричал он, приложив ладони к губам. — Что случи-илось?!

Ответа не последовало. Тогда он развернулся и тронул обратно. Его встретила Лешачиха с коптящим керосиновым фонарем в руке.

— Свет отключили, — кратко сообщила она. — А движок не заводится.

Ферма была старая, кое-где чернели щели, бока у стен выпирало, Трофим не успевал ставить подпорки. Подгнивали и падали столбы, их опять поднимали, привязывали к бетонным трубам. Новых столбов Трофиму не давали — ферму собирались ломать. Трофим упирался.

«Я эту ферму своими руками создал, а вы — ломать. Я здесь свою молодость положил, а вы — сносить!»

Он наскреб фанеры, досок, гвоздей и сам вместе с животноводами заделывал дыры на скотных дворах. Когда случались перебои со светом, тоже не унывал.

«Ничего, — утешал он телятниц. — Мы двадцать лет назад и вовсе без электричества работали, а тут — чепуха! Продержимся!»

Трофим раздобыл где-то списанный движок и поставил его в кирпичном пристрое с длинной железной трубой. И пока директор возводил в совхозе новую котельную — первую такую в области, Трофим с какой-то самодеятельной бригадой мастерил свой электросвет уровня двадцатых годов. Движок иногда заводился, и тогда загорались на ферме мигучие лампочки. Чаще старый дизель работать не хотел.

БРАТЕЦ ПАВЛУНЯ

Бабкин подошел к пристрою, заглянул. Кто-то ходил возле движка, монотонно и безнадежно громыхал молотком по железу. Испуганно дрожал на гвозде фонарь.

— Кто? — спросил Бабкин в черную дыру.

Из дыры вышел человек. По зябко поднятым плечам Бабкин узнал в нем брата. Бывало, в детстве звонко несло по вечерам из теткинго окна: «Павлуня, домой!» Так и остался братец Павлуней в свои восемнадцать лет.

— Это ты, — тихо обрадовался Павлуня. — А это я... Я тут... Да все никак...

Как всегда, он говорил невнятно, словно ватой давился. И, как всегда, Бабкину стало жалко его, одинокого да голодного. Он вытащил из кармана кусок булки с колбасой, протянул его братцу, а сам полез копать в движке. Над ним чавкал и хлюпал Павлуня, у которого еще с детства вечно что-то мокло на лице — то глаза, то нос. Мальчишки так и дразнили его: кто мокреньким, кто сопливеньким.

— Не сопи! — приказал Бабкин.

— Холодно ведь, — отозвался Павлуня таким ознобистым голосом, что Бабкина самого затрясло.

— Лезь ко мне в кабину, — сказал он братцу.

Заплескалась вода, хлопнула дверца трактора, потом взревел мотор — Павлуня нагонял к себе тепло.

Бабкин тем временем вывернул свечу зажигания, прочистил ее, закрутил на место. Поплевав на ладони, дернул шнур пускача. И сразу же резко затрещало в кирпичном сарае, затряслась длинная труба, заходило ведро по полу.

Бабкин перевел рычаг. Пускач тяжело завертел холодный тяжелый дизель. Вот и знакомый хлопок — двигатель чихнул раз-другой, старчески и сердито, потом «схватился» и повел ровную басовитую песню. Бабкин включил рубильник — замигала лампочка в пристрое, заколыхались огоньки на уцелевших столбах, засветились желтые окна. И везде — под окнами, у стено, возле пристроя — заблестела вода.

Бабкин побежал в родилку. Там стояли измученные люди и смотрели на крошечную, мокрую и такую же, как мать, пеструю телочку. И хоть видели люди

это маленькое чудо в который раз, но все равно, радостные, умиротворенные, они покачивали головами, бормоча удивленно: «Сосет... Ишь, шустрая». И Бабкин тоже стоял, тоже смотрел, причмокивая губами, словно хотел помочь детенышу поскорее набраться добрых сил.

А вокруг уже вовсю бежали ручьи, выносили из родилки солому, вымывали последнее тепло.

— Скоро движок зальет,— сказал Бабкин, прислушиваясь.

Он бережно принял на руки завернутую в полушубок коровью дочку. От нее, как от всякого младенца, пахло молоком. Звездочка потянулась следом.

— Пойдем, пойдем, милая,— приговаривала Лешачиха, обнимая корову за шею и поглаживая ее.

Звездочка покорно брела, тяжело раздувала натруженные бока. Спотыкаясь и скользя, она доковыляла до саней. Колени ее подломились, корова ткнулась ноздрями в солому.

— Давайте все вместе,— сказала Лешачиха.

И всем народом, кто ухватив корову за рога, за шею, кто подталкивая сзади, втащили ее на сани. Шумно дыша, улеглись и сами среди телят, в шуршащую теплую солому — и доктор, и телятницы, и Лешачиха. Малый народец в санях был ласковый и доверчивый — сразу потянулся сосать руки, тыкаться мокрым носом в людские лица.

— Обрадовались,— добродушно отмахивались телятницы.

Лешачиха заботливо укутывала полушубком новорожденную, подтыкала соломку ей под бока. Бабкин хотел помочь, но Лешачиха, отодвигая его руку, сказала угрюмо:

— Ничего... Обойдется. Поехали.

Павлуня, высываясь из кабины, тоже хотел сказать свое, весомое, но у него, как всегда, вышло что-то несвязное и бестолковое.

— Поехали, поехали! — торопил доктор. — А то ведь не выберемся.

Бабкин оглянулся. Ферма тонула, словно корабль, со всеми своими огнями и парусами.

— Пашка,— ласково сказал он, обращаясь к братцу в кабине. — Видишь столбы? Вот по ним и держись.

Павлуня собрался было длинно возразить, испуган-

но замахать руками, но Бабкин прихлопнул дверцу:

— Двигай!

Минуты три понадобилось Павлуне, чтобы все осмыслить и понять. Наконец поезд тронулся. Поплыли сани, метнулись по черной воде живые лучи фар, отыскивали среди половодья отполированные временем черные столбы, уже заметно утонувшие. Бабкин остался совсем один.

ТЕТКА В ЛОДКЕ

Пока движок тарахтел и давал свет, Бабкин хозяйном обошел ферму. Все, что могло уплыть, люди вывезли. В красном уголке не осталось ни стола, ни стула, только в углу валялась забытая фотография: на траве сидят телятницы и улыбаются. Все, кроме Лешахи. Она пристально смотрит на Бабкина.

Парень вздохнул и поднялся наверх.

Здесь, на высоком чердаке, стоял комбикорм в мешках, в углу лежали новые метлы, лопаты. Сюда же Трофим притащил телефон и протянул следом длинный провод. Бабкин обрадовался и схватил трубку.

— Кто? — спросил директор Ефим Борисович Громов.

— Я, — ответил Бабкин. — Бабкин.

— На ферме? — удивился Ефим Борисович.

— На ферме.

Трубка задышала чаще, Бабкин дожидался. Наконец директор настороженно спросил его:

— А зачем ты?

— Надо кому-то, — угрюмо ответил Бабкин. — Тут вон мешки с комбикормом лежат.

— Ну-ну, — пробормотал директор после короткого молчания, и голос его вроде бы потеплел, оттаял. — Ну ладно... Как ты там?

— Ничего, — сказал Бабкин. — Только за Пашку боюсь, один он поехал, вы его там встречайте.

— Встретим! — откликнулся Ефим Борисович. — Как вода?

Бабкин посмотрел в окошко: там проступало небо. Движок раз-другой хлебнул, чихнул и замолк. Погасли фонари возле фермы, и сразу стало видно, какой

славный да розовый приходит рассвет. Под небом ни дорог, ни мостов — одно сплошное море, тоже чуть розоватое, тихое. Торчит посреди разлива одинокая ветла. Грачи бросили ее, остались только их дырявые сиротские гнезда. Прямо по ширине плыл поселок с магазином, плыл завод со своими трубами. Плыла к телятнику лодка.

— Вода нормально, — отрапортовал Бабкин Ефиму Борисовичу и тут же положил трубку.

Он стал у окошка, слушая шлепанье осторожных весел. Повертел головой: чем бы в случае чего отбиться, — поднял старую лопату.

Лодка была большая, как барка. В ней спиной к Бабкину сидела женщина, широкая в плечах, умелая на веслах. Она погнала лодку прямо в распахнутые ворота. И тут, похолодев, Бабкин узнал ее.

Он спрятался в тени, за вытяжной трубой, и слушал, как внизу гулко гремит лодочная цепь, как скрипит лестница. Женщина не остерегалась, вошла уверенно, как в свой сарай, и сразу с маху вскинула на спину мешок.

— Тетя, — хмуро спросил Бабкин, выступая из темноты, — а вы сюда клали?

— Ой, мама! — Его родная тетка выронила мешок и присела, боясь оглянуться. Вот потихоньку из-за плеча показался ее глаз — большой, темный. Заморгал. Узнав племянника, тетка захохотала, облегченно бухаясь на мешок. — Мишка! Это ты! А я-то, дура, испугалась!

Она, покачивая головой, деловито ухватила мешок за уши, но с другой стороны в него клещом вцепился Бабкин.

— Ты чего? — удивилась тетка.

— Ничего! — Бабкин вырвал мешок, отволок его на место, вытер лоб. Ему стало очень жарко, и он, распахнув окошко, далеко высунулся на волю.

Вода подступила близко. Из черного зеркала сердито и взъерошенно смотрел на Бабкина ранний мужичок семнадцати лет, курносый и скуластый, в большой шапке.

За спиной у него родился кошачий шорох. Бабкин оглянулся — тетка суматошно волокла комбикорм к выходу.

— Тетя! И так мне хоть на улицу не выходи.

— Штой-то? — спросила она, подняв толстоносое лукавое лицо.

— А то сами не знаете... Поглядите, как вас у конторы разрисовали.

— Ого! — рассмеялась тетка. — Видала. — Смех у нее был не деланный, а настоящий, живой, здоровый. — Напугали дураки, как же!

Бабкин послушал, как она хохочет, а потом, глядя на нее прямо, спросил:

— Тетя, а за что вы Женьку, Лешачихино сына, поили тогда? Ведь не задаром?

— Не! — Тетка вспомнила что-то приятное и опять заулыбалась. — Не задаром! Я целую зиму пестрого боровка комбикормом баловала.

— Вот как, — задумчиво проговорил Бабкин, а тетка, воодушевляясь, продолжала:

— Помнишь, Женька тогда возчиком работал, совхозные корма подвозил? Продать уговаривала — никак не хотел. Знаешь, на чем сошлись? — Тетка ударила себя по бокам крепкими ладонями: — За паршивого щенка три мешка отвалил!

— За какого щенка?

— Да понимаешь, — радовалась тетка, — нашла я в поле щенка, несу его и думаю: «Зачем он мне?» А тут — Женька. Ну и сговорились! Он жалостливый оказался, вроде тебя. Я ему щенка, он мне — корма. «А то, говорю, утоплю!» Он и напугался. Ну, на радостях я ему и поднесла стаканчик, чтобы не забывался.

Длинная речь утомила ее, она вытерла пот со лба. Бабкин покачал головой.

— Подлая вы, тетя, — убежденно сказал он и вдруг рассердился: — Брось мешок, а то по шее тресну!

— Подавись! — багровея, закричала могучая тетка своим тонким злым голосом. — Несознательный ты! Я вас с Пашкой кормлю, пою, расту, а ты!.. Дурак!

Бабкин так посмотрел, что тетка мигом изменила тон:

— Ну, Миша, мешочек, а? Все одно — валяются.

Бабкин молчал.

— Ладно, — неожиданно согласилась тетка. — Не хочешь — не давай, все равно светло уже, люди увидят. И не дуйся на меня: я отходчивая. Не бойся собаку, которая лает, а бойся, которая кусает.

Это была любимая теткина присказка.

Тетка поехала обратно. Прогоняя лодку мимо окошка, она погрозила племяннику кулаком. Кулак у нее — красный, налитой, зубы — белые, здоровые.

Бабкин схватил полновесную кормовую свеклу, поднял ее над головой, швырнул. Рядом с лодкой вырос белый столб и опал. Тетка взвизгнула. Бабкин довольно хмыкнул и отошел от окна.

Послышался рокот мотора. Лодка подходила к скотному двору. В ней сидели старик с ружьем и в тулупе, Трофим и братец Павлуня. Старик бесстрашно развалился на переднем сиденье, Трофим приловчился у мотора, вытянув деревянную ногу, а в тихой безопасной серединке угрелся братец Павлуня. Он улыбался Бабкину. Улыбка у брата появлялась не часто, была она тихой, застенчивой, как и весь Павлуня с ног до головы. Очень подходили к такой улыбке его добрые глаза и светлые пуховые волосы.

— Нормально? — спросил Трофим, подгоняя лодку к стене.

— Все в порядке, — ответил Бабкин, спускаясь.

На его место, застревая тулупом, полез дед Иван. Потом ему долго подавали хлеб, огурцы, ложку, соль, керосинку, ружье и многое другое.

— Дед, — спросил Трофим, — ты что, зимовать собрался?

— А вот в одна тыща девятьсот, как сейчас помню, третьем годе вода месяц стояла, — невозмутимо высказался дед Иван и махнул рукавицей: — Валяйте!

Бабкин отпихнул лодку, Трофим дернул шнур стартера, горячий мотор взревел, они понеслись над полями, над размытыми парниками и огородиками, мимо странно укороченных столбов, на которых горестно сидели сутулые галки да вороны.

— Чего ты тихий какой-то? — Соскучившийся Павлуня, мокроносыый от холодного ветра, ластился к Бабкину, заглядывал ему в глаза, совал в руку хлеб: — Пожуй, а то всю ночь ведь... И не страшно?

— Страшно. — Бабкин медленно жевал хлеб и не чувствовал его.

Миновали Климовку и поплыли к теплицам. Бабкин оживился. Пока он сидел на тихой старой ферме, тут, на главном направлении, развернулись большие дела. Молодняк из новых телятников вывозили на громадных военных машинах. Машины эти возвышались над

водой, как зеленые катера, и шли одна за другой. Гусеничные тягачи, тоже зеленые и мощные, подходили к тонущему складу. На них прямо с крыши люди сваливали мешки с удобрениями. Висел над половодьем вертолет.

Бабкин завертел головой. Вот это работа, вот размах! Это тебе не климовский клин. Тут есть где человеку развернуться!

ВРЕШЬ, НЕ ЗАЛЬЕШЬ!

Лодка мягко ткнулась в свежую земляную насыпь. За ней сверкали крыши теплиц, слышались голоса людей, рокот моторов. Высоко на мачте хрипел и булькал громкоговоритель. Вот он прокашлялся и разразился веселой чистой музыкой. Бабкин удивился и полез наверх.

Сверху он увидел людей. Их было много, они сновали возле теплиц, навозных куч и дерновой земли. Сперва беготня девчонок с носилками, трусца бабушек с корзинками у живота показались Бабкину бестолковыми, лишенными смысла и цели. Неуместными были веселые лица девчат, их безответственный смех и выкрики. Приглядевшись, Бабкин с изумлением заметил, что и бабушки-пенсионерки, щеголявшие в солдатских бушлатах своих внуков, и нестарые женщины в звездных ремнях сыновей тоже работали без сердитой раздражительности, а задорно и лихо. Видно, людей так будоражила необыкновенность всего происходящего, что даже бабушки озорничали. Увидев на гребне плотины Бабкина, они закричали тоненькими голосами:

— Бабкин! Иди сюда! Тебя только, милок, не хватает!

— Бабкин! — сердито крикнул совхозный комсорг Боря Байбара. — Чего стоишь? Помог!

Они залезли на крышу котельной и еще выше — на железную теплую трубу и на ней, на скобе, крепко привязали плакат: «Врешь, не зальешь!»

Плакат был яркий, видный далеко. Бабкину он понравился.

А река заливала. Она протыкала в свежей насыпи иголочной толщины дырочки, протискивалась в них

сперва белой волосяной струйкой, потом вдруг широким ручьем, а потом норовила навалиться всей мощью; смять, смыть, опрокинуть. Оседала глина, шуршала, сбегая вниз, щебенка, девчата с визгом бросались закидывать промоины землей.

Девчонками командовал Иван Петров. Правая сло-мнная его рука была закована в гипс и висела на пе-ревязи на шее, зато левой он махал вдвойне, шумел, горячился, и, видно, его радовала такая веселая об-щая работа. Столкнувшись с Бабкиным, он зашумел грозно:

— А-а, это ты, чертенок! Куда мое ведро поде-вал?

Бабкин не обиделся, он засмеялся — ему тоже было хорошо в этом живом людском круговороте. Он бегал с носилками, подгоняемый веселой музыкой с мачты и ярким плакатом с трубы, швырял с лопаты песок.

К вечеру люди устали, а река, дождавшись случая, ударила в насыпь с новой силой. Ей крепко помогал ве-тер. Сразу в нескольких местах зашумели промоины. Девчонки и бабушки сбились в тоскливую кучку.

— Плиты! — догадался Бабкин. — Тащите плиты!

Бетонные тяжелые плиты лежали у теплиц вместо дорожек в грязную пору. Их сейчас залепили глиной, затоптали, засыпали песком и щебнем. Бабкин, про-стукивая ломом, нащупал край плиты и, крикнув, под-дел ее. В одну минуту плиту выковырнули из чавкаю-щей грязи, положили на лопаты, пронесли и приклеп-нули самую яростную промоину. А воспитательницы детского сада с криком «берегись!» уже тащили новую плиту.

Комсорг Боря Байбара, вытирая пот и грязь, с удивлением смотрел на Бабкина:

— Слушай, а ты — голова!

А Павлуня ничего не сказал. Он просто подошел к брату и молча стал по правую руку.

«Утро красит нежным светом», — пел неутомимый репродуктор. Но утро давно ушло, встрепанное и су-матозное. Прнесся взмыленный день, крепко загу-стело небо. И вдруг вода остановилась.

Люди садились прямо у тракторов и тележек, вон-зив лопаты рядом с собой. Запахло мокрыми сапогами и табаком. Все смотрели, как луч прожектора скользит по верхушке насыпи, высвечивая в ней камни, прово-

локу, арматуру, острые углы плит. Где-то рядом, за дамбой, добрососедски плескалась, разговаривала вода. Сквозь желтые стены теплиц ясно пробивался четкий нитяной дождик. По нему ползли вверх плети, а на них уже дрожали огурчики, хрупкие и пупырчатые, словно елочные игрушки.

Павлуня, привалясь к Бабкину, умиротворенно бормотал:

— Пойдем, Миш, домой? Мать теперь блинов напекла.

Бабкин вспомнил тетку с мешком, и праздник для него пропал.

Сверху зашипело, четкий медный голос произнес:

«Внимание, внимание! Всех просим собраться в клубе! Повторяю, всех просим собраться в клубе совхоза!»

— Видишь: в клубе собраться, а ты — блины, — сказал Бабкин братцу и поспешил, не оглядываясь.

Люди зашевелились, стали подниматься, вскидывая лопаты на плечи, словно винтовки. И зашагали трудно, не в лад. А сбоку ползли такие же усталые трактора, позванивая гусеницами.

ЧИЖИК-ПЫЖИК

Возле больших светлых окон клуба, у его колонн стояли попеременно гневные лошадки, зеленые «козлики», мотоциклы и грузовики. Животные и машины одинаково пахли мокрой глиной и бензином.

В фойе клуба сегодня курили. Сегодня здесь как боевой штаб.

Люди сидели, лежали на кожаных холодных диванчиках или просто у голубых стен, на паркете. Почти никто ничего не говорил, и в этой усталой тишине странно прозвучал чей-то беззаботный голос:

— Тут у вас как на передовой, только пулеметов нету!

Бабкин поднял голову. По клубу, засунув руки в карманы, небрежно перешагивая через спящих, бродил механик, которого Бабкин вытащил из реки. Механик, видимо, томился без знакомых и поэтому, увидев Бабкина, шумно обрадовался.

— Привет, Дедкин! — закричал он, пробираясь к нему.

И вдруг замолк. Сидя на полу и обхватив руками колени, на него цепко смотрел снизу вверх Бабкин. Все его лицо собрано и сжато: маленький рот комочком, резкие глаза, нос. Морщинки на переносице и те четко вырезаны, нет ничего размягченного, смазанного.

Механику стало не по себе от такой серьезности Бабкина, он воровато зашмыгал глазами по полу. Внизу, распустив губы, спал Павлуня.

— Смотри — теленочек, теленочек! — обрадовался механик. Он присел и хотел пальцами прищемить Павлуне его длинный унылый нос.

— Шел бы ты, а? — негромко проговорил Бабкин, все так же донимая механика непонятым взглядом.

«Пора отчаливать», — решил механик, но уж больно совестно было ему убегать от какого-то теткиного племянника. Он привалился крутым плечом к стене и, не вынимая вспотевших кулаков из ватных штанов, сказал насмешливо:

— Ты не больно-то... Подумаешь, Бабкин-Дедкин...

Бабкин пружинисто поднялся и стал перед ним. И механик вдруг очень ясно понял, что этот сурово насупленный парень может без лишних слов размахнуться и ударить. Отчаянные янтарные глаза механика заматались.

— Ну-ну, — сказал он, отступая по стенке. — Только без шума.

И тут он с изумлением увидел, как железное лицо Бабкина начало таять, глаза подобрели. Суровый Бабкин пропал, перед механиком, глядя мимо него, стоял обыкновенный мальчишка с глупой улыбкой на детском лице.

По клубу мимо замасленных ватников и стопудовых сапог мягко катилась девушка в белом халатике и снежной косынке. В руке она держала чемоданчик и, оглядывая людей смешливыми карими глазами, спрашивала на ходу:

— Больные, раненые, симулянты есть?

Была девушка светла и улыбчива, а ее «больные-раненые» звучало так же по-свойски, как слышится в пригородной электричке: «Эскимо, пломбир, пятнадцать, двадцать...»

Павлуня тоже проснулся, подобрал губы и стал



рядом с братом, не спуская глаз с толстой, домашней девчонки.

Механик посмотрел на размякшего Бабкина, посмотрел на застывшего Павлуню, все понял и усмехнулся.

— Дочка, касатка, погоди! — вскричал он и бросился следом, спотыкаясь о чужие ноги.

Девушка остановилась, сощурилась: видно, ослепили ее огненные волосы и белые зубы. Механик загородил ей дорогу.

— Пропустите, пожалуйста, — попросила она с улыбкой.

— Не пушу! — отвечал он, высокий да красивый. — Мост сняли, а катер еще не ходит, так что деваться мне некуда, буду тут судьбу свою искать. А как звать судьбу-то?

Круглую девушку звали Татьяной, а фамилия у нее была легкая, беззаботная — Чижики. Все в совхозе знали, что в нее давно и безнадежно влюблен Павлуня, но никто не подозревал, что таким же сердечным недугом поражен и его суровый брат.

Бабкин снова различил среди папиросного дыма и запаха сапог цветочный легкий аромат. О чем они там шепчутся?! Всей душой тянулся он к подоконнику, на котором, уже рядышком, тесно сидели механик и Чижики. А Павлуня дергал его за рукав и тоже подталкивал к подоконнику:

— Миш, а Миш! Отдай ей, а? Она, поди, голодная.

И совал ему в ладонь большое, нагретое в кармане яблоко.

— Сам отдай! — обозлился Бабкин. — Человек ты, Пашка, или бревно березовое?

«Бревно, — охотно отвечали Павлунины просящие глаза. — Березовое...»

Бабкин видел, как механик шустро втиснул в ладошку Татьяне красную коробку духов, за которыми

бегал через речку, напрямиком. И не тихо, как Павлуня, а громко и напористо он втолковывал бедной девчонке:

— Не возьмете — обидите! Я же от всего сердца! Я же для вас специально! Честное слово! В честь нашего знакомства! Я давно хотел! А сегодня решил: дай, думаю, куплю ей духи, дай познакомлюсь! Честное слово!

— Надо же, — только и ответила Чижик.

Бабкин стиснул зубы. А Павлуня все навязывал свое несчастное яблоко:

— Отдай, Миша!

Бабкину, пожалуй, впервые стало тошно смотреть в его несмелые глаза.

— Эх, Пашка! — в сердцах сказал он. — Съешь сам свое яблоко! Горькое оно!

Он видел, как Чижик опустила глаза и сделалась вдруг печальной и очень красивой, а механик стоял над ней, как коршун над цыпленком.

— Горькое? — Павлуня откусил яблоко. — Совсем не горькое. Попробуй, Миш.

Бабкин жевал свою половинку яблока, яростно смотрел на механика, который махал руками, соловьем заливался перед сомлевшим Чижиком, и мрачно думал: «Зря я тебя из реки тащил!»

ТЕТКИН ДОМ

Река словно застыдилась своей резвости и торопливо уползала обратно, в покойные привычные берега. Солнце припекало, берега дрожали в синей дымке. На полях валялись ветки и камни, палки и банки, оросительные каналы были забиты песком. За огородами на буграх репейниках висели куски газет и тряпки.

Мир успокоился, ветер затих, небо заголубело, а Бабкин проспал четырнадцать часов кряду. Когда он проснулся, то не почувствовал ни рук, ни ног — затекли. Насилу разломавшись, опухший со сна, качаясь и спотыкаясь о стулья, он добрался до кухни. Только тут он наконец проморгался и увидел тетку с Павлуней. Братец уныло сидел за столом над горячими нетронутыми блинами. Тетка возилась у печи.

— Миш, — застенчиво обрадовался братец, — ты спишь. А блины-то совсем уж...

Как обычно, Павлуня не смог толком и до конца объяснить, он просто схватил Бабкина за руку и потащил к столу, глядя на него своими ясными глазами, не замутненными ни хитростью, ни ложью.

Тетка обернулась к племяннику. Работая у печки, она всегда делалась деловой, сердитой и выражалась кратко: «Дай! На! Пропади ты с глаз моих!»

— Лопай! — грозно приказала она Бабкину и зашуровала в топке. На лице ее играло багровое пламя.

Бабкин вспомнил тетку с мешком на той одинокой, пропадающей среди волн ферме, и есть ему расхотелось.

— Злишься? — прищурилась тетка. — За мешок? Все не забыл? Так я ж его не взяла! Помнишь?

— Все помню! — ответил Бабкин. — И Женьку.

— Да что же это такое! — тонко закричала тетка, подперев кулаками бока. — Глядите, какой он честный! Прямо хрустальный! Дураку и рассказать-то ничего нельзя! Да я, может, про Женьку пошутила!

На печке что-то зашипело, тетка долго воевала со сковородкой да кастрюлей и, утихомирив их, обернулась к Бабкину. Спросила ласково, словно это не она только что шумела:

— Тебе со сметаной?

Бабкин усмехнулся и поднялся от блинов. Павлуня сидел с раздутой щекой, длинный нос его запачкался сметаной, пальцы лоснились. Увидев, что Бабкин ничего не ест, братец тоже, торопливо проглотив последний кусок, отодвинул тарелку.

— Ты-то хоть лопай! Зря, что ли, пекла? — Тетка треснула сына по затылку. Она часто хлопала его, поэтому, наверно, у Павлуни всегда болела голова, а учение шло со скрипом. Бабкина тетка не била — опасалась.

Павлуня кое-как дотянул до восьмого класса и пошел работать. Был скотником, кочегаром, а потом Бабкин затащил брата в совхозную мастерскую. Там Павлуня прижился, стал потихоньку разбираться в технике. Вместе с Бабкиным выезжали они в поле, вместе отправились поступать в училище механизации. Бабкин остался, Павлуня не вынес груза наук.

— Чего по голове-то! — как обычно, заныл Павлуня, оглядываясь на Бабкина.



— Все! — сказал Бабкин. — Хватит! Вы и так весь ум у Пашки вышибли!

— Ска-а-жи-ите! — удивилась тетка, но драться больше не стала, и Пашка повеселел.

За эту зиму Павлуня как-то сразу выровнялся, глаза смотрели спокойно и добро. Уже люди стали уважать его за работу да за безответный нрав, уже хитрый директор раза два при всем народе назвал Пашку Алексеичем, после чего парень три дня горел огнем. Но для матери он оставался таким же мокроносым мальчишкой, каким был в детстве.

Бабкин кулаками отбил у ребят охоту к позорной дразнилке, он водил за собой Павлуню и в клуб, и в школу, и на танцы. И если бы не беззащитный братец, давно бы он оставил немилый теткин дом и ушел в общежитие. Сколько раз собирался, и столько же раз на самом пороге останавливали его тихие глаза.

Вот и теперь Бабкин в раздумье стоял посреди комнаты, а в дверях, загораживая свет, столбом торчал

Павлуня. Ничего не говорил, ни о чем не просил, только молчал да по старой привычке хлюпал носом.

— Утрись! — нахмурился Бабкин.

— Это все от нервов, — вздохнул братец.

Они, как в детстве, уселись на старом диване — спина к спине и замолчали. Вот и за это любил Бабкин Павлуню: сидит он в комнате, а будто и нет его, не лезет с разговорами в неподходящую минуту, не мешает — удобный человек!

В кухне сердито шипело сало на сковородке, что-то говорила сама себе тетка. Бабкин думал о ней.

Нехорошо, скверно жила тетка в своем большом доме да на широком дворе с сараями, курами и пестрым боровком, известным всему совхозу. Мало разговаривала, но и то каждое третье ее слово — о деньгах. Если ругалась на Павлуню, то так: «Ну что ты зарабатываешь, недотепа!» Если уважала директора совхоза — то за большой оклад. От Бабкина тетка с затаенной надеждой ждала хороших заработков.

Сама она сбежала из совхоза в погоне за рублем еще лет десять назад. В ту пору у Бабкина умер отец (мать скончалась много раньше), и тетка взяла племянника к себе. Бабкин вырос под вечные разговоры о малых заработках тетки, под ее вздохи: «Господи, как двоих-то тянуть одной!» Ворчала, но тянула. Сейчас тетка работала в заводской столовой, и тоже с выгодой — по вечерам тащила оттуда в большой сумке хлебные огрызки для разжиревшего боровка. Помешивая пойло, она гладила красной рукой спину боровка и мечтала:

«Кабы Пашка по торговой линии пошел!»

Тетка сидела посреди кухни на табуретке и не знала, за что приниматься. Лицо ее обиженно кривилось. Она вспомнила свою бестолковую и долгую жизнь со всеми радостями и печалью. Печали были большие, а радости маленькие, но зато свои: Пашка зарплату получил, Мишка колодец выкопал, пестрый боровок весит четыре пудика!

Тетка прислушалась: в комнате ребят тихо. И вдруг ее обожгло: а ежели Мишка и впрямь уйдет?! Ее взгляд скакнул за окно, на старый забор. «Кто же забор поставит?» Посмотрела на сарай — дверь нужно новую.

Тетка беспокойно встала и заглянула к ребятам.

Бабкин и Павлуня сидели на диване и молчали, опустив головы. Один затылок густо зарос черными крепкими волосами, а на другом сквозь редкий пушок просвечивалась детская розовая кожа. Тетка с непонятным раздражением смотрела на слабый затылок сына и, не сдержавшись, вдруг сказала зачем-то Бабкину:

— Валенки тогда прожог, новенькие... Разве ж я упрекала?

— Мама,— поднял голову тихий Павлуня.— Зачем ты про это? Разве это хорошо?

— А ты молчи! — задохнулась тетка.— Ты совсем молчи, непутевый! Дармоед! — Она запричитала плаксиво и быстро: — Я вас кормила, поила, одевала, обучала, из сил выбивалась!..

Тетке стало жалко себя. Она хотела заплакать, но давно забыла, как это делается,— все некогда было. Тогда тетка рассердилась, разошлась, начала шуметь.

Обычно в такие минуты Бабкин уходил к себе, а за ним пробирался и Павлуня. Слушал сквозь дверь шум матери и подмигивал испуганно: «Ничего, она утихнет!» Но теперь братья, серьезные и взрослые, сидели и внимательно слушали. Тетка запнулась, тетке стало не по себе.

— Сидите на моей шее,— неуверенно сказала она и остановилась, чтобы собраться с мыслями.

Бабкин тихо спросил:

— Как же вы дальше жить будете?

Тетка не нашлась что ответить. Она ушла в кухню, закрыв за собой дверь, и долго обидчиво громыкала кастрюлями.

Павлуня, с надеждой глядя на Бабкина, спросил, что же он намеревается делать.

— Укладывать вещи,— сказал Бабкин.

Однако, к своему удивлению, Бабкин обнаружил, что укладывать-то ему нечего. Книжки у него с Павлуней общие, стол — на двоих, телевизор — семейный, вместе покупали.

Бабкин покидал в чемоданчик кое-какую мелочь, повесил на грудь приемничек и надел шапку. Тетка перестала греметь железом. Павлуня молчаливо молил у порога.

— Пашка! — нежно сказал ему Бабкин.— Смотри, какой ты большой стал, тебе нянька не нужна. А по-

том... я не за океан ухожу, вон оно, общежитие,— рядом. Давай лапу.

Павлуня начал краснеть. Сперва засветились уши, потом заалели щеки, красные яблоки покатались по лбу, даже нос порозовел. Братец по инерции крепко утер его рукавом.

— Тогда я тоже! — сказал он Бабкину и на четвереньках, неуклюже полез под свою кровать.

Тетка, встав на пороге, вскинув бровь, наблюдала, как сын выволакивал пыльный чемодан. Оглядываясь на мать, Павлуня суматошно пихал в него рубахи и носки.

— Ну, собрался? — спросила она весело, когда сын стал перед нею с чемоданом в одной руке и шапкой в другой.— Идешь? Далеко это?

Павлуня не ответил, только выше поднял зябкие плечи.

— Куда уж тебе! — горько сказала тетка и, не глядя, привычно да звонко благословила его по затылку.

Павлуня, выпустив чемодан, заученно заныл:

— Чего по голове-то!..

На этом и оборвалась его самостоятельность.

Бабкин сказал:

— Загубите вы Пашку! — И повторил: — Как выжить будете?..

Он вышел за калитку, под чистое небо. Глубоко вздохнул. Вслед ему из окна с обидой шумела тетка:

— Небось не пропадем! Небось в люди вырвемся!..

ЗДЕСЬ ЖИЛ ОН

Бабкин миновал центральное отделение совхоза, высокие, ладные дома, детский комбинат, клуб. Ближе к Климовке дома пошли пониже да пореже. И вот дальше идти уже некуда — дальше блестит пруд, а за ним насквозь просвечивается тоненькая, в четыре березки, лесная полоса, посаженная директором пять лет назад. Она отделяет весь остальной совхоз от захудалого климовского клина. И нечего делать Бабкину за полосой, в нищей Климовке, где песок да камни, да старая горбатая ферма, да четыре дома, не считая заколоченных.

В одном доме живет упрямый Трофим Шевчук, в других — сестрицы-старушки: Вера Петровна, Надежда Петровна и Любовь Петровна. Они пенсионерки, но пока работают в поле, помогают Трофиму выращивать богатый урожай на богатых песках.

Бабкин присел у чьей-то калитки. На ней под жестяной дощечкой с оскаленной песьей мордой круглым детским почерком нацарапано: «Осторожно, злая старуха!» Чуть пониже уточнение: «Лешачиха». Бабкин прочитал и задумался.

За этим забором, на границе с Климовкой, одна на весь большой пятистенный дом, непонятно и угрюмо жила фельдшерская вдова, мать Женьки.

...Бабкин долго сидел на шаткой скамеечке, потом встал, еще раз прочитал надпись на калитке. В кармане у него отыскался тракторный сальник, которым он вместо резинки принялся счищать злые буквы.

Неожиданно заскрипела задвижка, заплакала калитка и на пороге появилась сама хозяйка. Она посмотрела сперва на Бабкина, потом на его сиротский чемоданчик, потом на калитку и сказала:

— А-а, теткин племянник. Ну, заходи, коли пришел!

Бабкин вошел. Ему в ноги кинулся хрипучий мохнатый ком.

— Полегче, полегче,— сказал Бабкин, отстраняя собаку носком сапога.— Остынь!

Та, взбреднув, умчалась за поленницу в углу двора. Бабкин, хорошо зная такие повадки, поспешил следом. Заглянул за дрова — Жучка сидела в тени, испуганно щерилась.

— Поди-ка сюда, подружка,— позвал Бабкин и, ухватив собачонку за передние лапы, вытащил на свет. Стал гладить по спине, по прижатым ушам — Жучка жмурилась и подрагивала всем хребтом. «Вот ты какая вышла из теткиного щеночка»,— подумал он, вспомнив разговор с теткой на покинутой ферме.— Познакомились, да? Теперь иди гуляй,— сказал Бабкин, отпуская собаку.

Когда Жучка скрылась за своей поленницей, Бабкин повернулся к хозяйке.

Лешачиха стояла на огороде в резиновых сапогах и платке. Она спросила равнодушно:

— Выгнала тебя твоя ведьма?

— Сам ушел.

— Врешь,— так же спокойно проговорила Лешачиха.— Я ее, проклятую, знаю. Как же она тебя отпустит, когда ей работник нужен?

Лешачиха повернулась к лодке, которую, видно, уже давно силилась стянуть с огорода. Вода сошла, и лодка накрепко вклеилась в ил. Бабкин посмотрел, как выпирают из-под широкого мужицкого пиджака острые старушечьи лопатки, и сердце его сжалось.

— Посторонись, Настасья Петровна,— сказал он и, поплевав на ладони, взялся за цепь. Крякнув, уперся ногами, лодка поползла, как улитка, оставляя глубокий след.

Лешачиха цепко схватила Бабкина за руку, несколько секунд разглядывала его короткопалую, чуть поуже лопаты ладонь с каменными мозолями.

— У моего не такие,— грустно проговорила она. Сразу ослабев, уронила бабкинскую крестьянскую клешню. Словно позабыв про непрошеного гостя, она ходила по вязкому огороду, собирала натащенную рекой всякую дрянь.

Солнце садилось. Убегали домой ветерки, возвращались на гнезда грачи, а Бабкину никуда не хотелось уходить.

Он поднял лестницу и полез на сеновал, куда не раз прятался в детстве вместе с Женькой.

Угнездившись на пахучей постели, Бабкин смотрел на золотые пыльные спицы, которые солнце сотнями воткнуло в дырявую крышу. Пахло прелым сеном, мышами. Мелькали воробьи. Старые балки были сплошь заляпаны птичьим пометом.

Глаза у Бабкина стали слипаться, но тут внизу завизжала собака — это Лешачиха охаживала ее веником. Бабкин спрыгнул, загородил Жучку:

— За что?

— За надо! — отрезала Настасья Петровна.

— Больно? — жалел Бабкин собачонку.— Вон и Пашку тетка по голове лупит, тоже больно.

— Тетка твоя хуже ведьмы! — сказала хозяйка.— Сына родного да по голове!

— А зачем же собаку?

— Это не твоего ума дело,— важно ответила Лешачиха, а потом добавила: — Она его не любила.

Слово «его» Лешачиха произнесла с особым выражением.

Жучка живо спряталась за Бабкина, поглядывала из-за сапога желтым, понятливым глазом.

Бабкин огляделся. Он увидел большой запущенный двор. Дрова в поленнице позеленели, обросли лишайником. Крыша сарая рассохлась. Обомшелый забор готов был завалиться. Железо покрыто рыжей давней ржавчиной, везде блестит паутина.

— Он все бы в порядок привел,— подняла указательный палец Лешачиха, опять торжественно выделяя слово «он», и решительно сказала: — Пойдем!

По скрипучим ступеням они поднялись в дом. Бабкин давно не бывал в этом доме, но в нем мало что переменилось. Все было привычно: и невысокие потолки, и стены, оклеенные обоями, и запахи. В сенях пахло овчиной, на кухне — теплой русской печкой, в горнице — промытыми полами.

Стол, кресло, старинный шкаф, забитый книгами. Лешачиха оглянулась.

— Идем! Нечего останавливаться!

Она пропустила Бабкина в небольшую комнатку, глядящую окнами в сад. Включила свет. Это была Женькина обитель, он хорошо знал ее. Все так же висело над кроватью, на ярком ковре, новенькое ружье, которое Бабкину всегда хотелось взять в руки, рассмотреть. На шкафу высился фотоувеличитель, а рядом — баян в футляре. На стене красовались две плохие самописные картины: одна в раме, другая, не домазанная Женькой, просто так приколочена гвоздями к стенке. На столе лежал приемник, по-прежнему, как и год назад, перевернутый вверх дном. Тут же валялись кусачки, мотки проволоки, дорогой фотоаппарат с длинным, как пушка, объективом, паяльная лампа и футбольный мяч.

У Бабкина никогда не было ни баяна, ни ружья. Копил он деньги на гармошку — купила тетка поросенка, пестрого боровка.

Сейчас Бабкин уже без зависти, а лишь с удивлением разглядывал кучу чужого добра, словно видел все это впервые. И впервые ему пришло в голову: а зачем одному человеку все это нужно? Он вспомнил Женьку, суетливого, вечно спешащего куда-то. Верно, потому и торопился, чтобы успеть разделаться и разо-



браться со всеми своими ружьями, аппаратами и картинами.

Тихо и строго, будто в музее, Лешачиха произнесла:

— Все осталось, как при нем.

Она посмотрела на Бабкина, как прокурор на преступника, и ее запавшие глаза требовали высшей меры.

— Я пойду, — заскучал Бабкин. — Мне бы на сеновал.

Но суровая хозяйка не отпустила его. Они сидели напротив. Гудел на

столе самовар, по-доброму пахло хлебом. Бабкин смотрел на костлявые руки Лешачихи и жалел ее.

— Он у меня добрый, — сказала вдруг Лешачиха. — Он талантливый. А такие никому зла не делают. Это все твоя проклятая тетка виновата. — Она взяла руку Бабкина и, стискивая ее, строго спросила: — Говори! Все говори, что знаешь! Ведь тетка твоя виновата, ведь она?

Бабкин мигом вспомнил разговор с теткой на ферме, покраснел.

— Не знаю, — ответил он, не поднимая глаз.

Лешачиха выпустила его пальцы и вздохнула.

— Знаешь, все ты знаешь, теткин племянник. Не верю тебе. Задаром твоя тетка ничего не делает...

Они надолго замолчали. Пили чай с баранками. Все по-хорошему, как у давних друзей. Лешачиха печально спросила:

— А помнишь, какой он? Ла-асковый...

— А помнишь, Настасья Петровна, сколько раз ты плакала от него? — тихо ответил Бабкин. — Иль забыла?

Лешачиха как-то сразу съежилась, постарела на глазах.

— Я для него ничего не жалела,— проговорила она и продолжала что-то беззвучно шептать самой себе.

— Пойдем-ка, Настасья Петровна! — Бабкин отвел ее, уложил на диванчик, прикрыл кофтой.

— Врешь ты все, теткин племянник. Он лучше всех.

— Спи, спи,— успокоил ее Бабкин.

Лешачиха повозилась немного и затихла. Звонко шелкали ходики. Бабкин с детства любил этот живой домашний звук. У них в теткинском доме в углу стоит целая башня с пудовым маятником, купленная где-то по случаю и за полцены. Когда ночью эти часищи работают, кажется, что ходит домовой.

Бабкину взгрустнулось, и он долго слушал задорный перешелк часов, потом нехотя поднялся. Лешачиха лежала с закрытыми глазами и, видно, спала: лицо ее было спокойно.

Бабкин погасил лампу, направился к двери, но тут хозяйка шевельнулась и ворчливо проговорила:

— Куда это ты собрался, далече ли разбежался?

— На сеновал, Настасья Петровна.

Лешачиха, не открывая глаз и не меняя позы, так же ворчливо продолжала:

— «Сеновал, сеновал»! Чего ты там не видал? Вон тебе кровать, вон подушка — верная подружка. Бери одеяльце ватное — пускай тебе сны приснятся приятные.

Бабкин засмеялся: наконец-то он услышал прежнюю Лешачиху с ее шутками-прибаутками. Он разделся и легко нырнул под одеяло, пахнущее рекой — Лешачиха любила полоскать белье на вольной воде.

— Спокойной тебе ночи, Настасья Петровна!

Она ответила непонятное:

— Спит тот спокойно, у кого совесть вольная...

Бабкин мигом заснул, а она, набросив платок, подошла к его кровати, посмотрела, качая головой.

— Спит... — наклонилась, послушала ровное дыхание. — Ну да, спит.

Медленно вышла во двор. Там села на перевернутую лодку, закурила под луной и стала думать. Жучка вылезла из-за поленницы, издали завиляла хвостом.

— Иди уж, не трону, — позвала Лешачиха.

Собака опасливо приблизилась, зажмутив крепко глаза, прилегла у ног.

Бабкин проснулся рано — окна едва розовели. Но Лешачиха ушла еще раньше, ее постель прибрана, на столе стояла кастрюля, закутанная газетой. Бабкин приподнял край газеты — запахло кашей. Самовар не остыл. Бабкин похлопал его по медному пузу и быстро принялся налаживать одеяла и подушки на своей кровати. Скоро постель была гладко и опрятно заправлена, подушка подняла живое ушко. Бабкин издал, как художник на картину, полюбовался на свою работу и побежал умываться.

Ознобистая вода в рукомойнике живо разогнала молодую, застоявшуюся от крепкого сна кровь. Наскоро поев, Бабкин стал натягивать телогрейку. Что-то тяжелое ударило его по боку, он нащупал в кармане термос, в другом — лежал хлеб с колбасой. Бабкин засопел.

Во дворе к нему робко подошла Жучка, мокрая и холодная, сунула нос в теплые человеческие ладони, задышала.

— На! — сказал растроганный Бабкин и отдал ей половину хлеба и колбасы. За это был тут же стремительно и горячо облизан.

Они поносились по двору, попрыгали: Бабкин — молча, Жучка — с изумленным визгом. Потом собачонка проводила его до калитки, и по улице Бабкин зашагал степенно, только чуть задыхаясь.

Возле теткиного дома Бабкин свистнул. Но вместо Павлуни в окошке выплыло круглое теткино лицо — словно полная луна взошла.

— Лопать будешь? — сердито спросила она, зевая, а когда он мотнул головой, убежденно сказала: — Будешь, куда денешься!

— Где Пашка? — спросил Бабкин, чувствуя, как уплывает хорошее настроение.

— В поле! — ответила она и в сердцах затворила окошко.

— Миш, — слышалось в полутьме тихое придыхание. Это Павлуня дожидался его за углом родимого дома. Едва мать скрылась, он, светясь улыбкой, косолапо пошел навстречу брату.

— Ну-ну-ну, — забормотал Бабкин, увидев близко

его мокрые глаза.— Пойдем в контору, сегодня наша судьба решается.

— Пойдем! — легко отозвался Павлуня. С Бабкиным ему хоть на край света — и то не страшно!

Вот и улица пошла пошире, и дома стали лучше — в два, в три, в пять этажей. Из домов выходили люди, спешили к конторе, на наряд. Шли бригадиры, звеньевые, рабочие. По дороге ребята нагнали трех климовских бабушек, одетых одинаково: в телогрейки, сапоги и платки. Это было овощное звено Трофима: Вера Петровна, Надежда Петровна и Любовь Петровна.

— А, Бабкин! — обрадовались бабуси.— Здравствуй, Бабкин! Куда это ты собрался? Уж не пахать ли?

Они улыбались, переглядывались, и Бабкин с Павлуней прибавили шагу, чтобы обогнать веселое звено. Обогнали. Но скоро сзади послышался стук колес — это на телеге, запряженной верной Варварой, ехал Трофим Шевчук, климовский управляющий. Он посадил своих бабушек на телегу, и три Петровны, обскакав Бабкина с Павлуней, скрылись в конце улицы.

Директор проводил утренний наряд не у себя, в кабинете, а внизу, у главного агронома Аверина. Тут просторно, много света и на подоконниках зеленеют пшеница да горох.

Директор не в галстук — в простом пиджаке и выдавшей пыль да дожди рубаше с широким воротом. Лицо у него успело загореть.

— Здравствуйте! — сразу пошел он навстречу климовским бабушкам и каждой подал руку.

Очень довольные, розовенькие, они уселись, выложив на стол горбатые ладони, стали внимательно смотреть на директора. Поодаль, выставив деревяшку, настороженно сел Трофим.

— Как у тебя со звеньевым? — сразу спросил Громов.

— Нету, — вздохнул Трофим.— За этим и пришел. Помоги.

Директор посмотрел на Бабкина и неожиданно для всех спросил его в упор:

— Хочешь в Климовку?

— Что я, хуже других! — откликнулся тот.

Трофим неодобрительно крикнул и стал двигаться к двери.

— Погоди, погоди! — сказал директор. — А тебе, Бабкин, я даю звено. Соглашайся, пока не передумал!

— Ба-абкина? — протянули климовские бабушки.

— А чем ребята плохие? — спросил у бабушек Ефим Борисович. — Вы поглядите получше.

Все стали глядеть. Павлуня и Бабкин опустили головы. Наконец одна сказала:

— Уж больно тетка у них...

Остальные согласно закивали. Ефим Борисович потер лысину, пробежался по лицам бабушек живыми черными глазами и проникновенно, как мог только он, заговорил:

— Тетка, тетка, а что нам тетка... Главное — парень он наш, никуда убежать не собирается, училище, между прочим, на «отлично» окончил, так-то. Вот и помогите ему подняться на ноги. Ну, что скажете, женщины? Иль у вас своих ребят не было?

— Были, ох, были, — сказала, дрогнув голосом, Вера Петровна.

Остальные запечалились и по-иному взглянули на Бабкина. Сердце женское отходчиво, да и директор недаром слывет в районе хитрецом, — бабушки и сам Трофим решились принять Бабкина. И пока Ефим Борисович, не скрывая своей радости, потирал руки (заткнул-таки климовскую дыру!), Бабкин с удивлением смотрел на него и думал: «Как же это я согласился-то?!»

— Ничего, — прочитал его горестные думы директор. — В помощь тебе дадим Алексеича — мужик он смиренный, хороший. (У Павлуни стали краснеть уши.) А вас, женщины, прошу его не обижать.

Поле им выпало обычное — серенькое, бедное, подмосковное. Бабкин увидел заброшенный, занесенный песком клин и вздохнул. Ниже, к реке, поле еще дышало, пропитанное водой, выше, к бугру, подсыхало, покрывалось коркой. Половодье смяло и растоптало его, река натащила кучи мусора. Постарались и неразборчивые совхозные жители — набросали со своих дворов, как на свалку, железный хлам — от керосинок до кроватей, почти новых, с беленькими шариками на спинках. Люди стали жить богаче, у них на кухне появился газ, а в комнатах — мебельные гарнитуры.

Климовские бабушки, поджав губки, смотрели с

обочины, качали головами. Бабкин с Павлуней лазили по колену в грязи. Они вытащили из кустов старый щит с прошлогодними обязательствами, обтерли его, воткнули в землю.

— Так! — одобрительно сказал Трофим и полез с телеги.

Ходить по месиву и с двумя ногами нелегко, но Трофим, рискуя потерять деревяшку, бродил с ребятами по полю. Выбравшись наконец на сухое, утираясь платком, спросил у Бабкина:

— Что думаешь делать, начальник?

Бабкин ответил не сразу. Посмотрел сперва на бугор, потом в низину.

— Пахать надо. С бугра — там посуше.

— Когда? — обернулся Трофим к Павлуне.

Уши у Алексеича начали просвечиваться. Он задышал, взглянул на Бабкина, неуверенно ответил:

— Через три дня, если погода... Сперва мусор собирать...

— Ну-ну! — только и сказал Трофим и стал мыть в канаве деревяшку.

Три дня звено приводило в порядок свое хозяйство — стаскивало в кучу хлам, очищало оросительные каналы, по гребню которых, по бурой траве, уже побежала молодая востренькая зелень. Обнажалась земля, стянутая ранним теплом, вся в мелких морщинах. Она просила плуга.

— Пахать, завтра же! — сказал главный агроном, с трудом отбивая каблуком спекшийся комок и поднося его то ли к глазам, то ли к носу.

— Я готов! — кратко ответил звеньевой, тоже нюхая пыльный ком — от него пахло дорогой.

Вечером Бабкин с Павлуней еще раз проверили технику.

— Ну, Пашка! — торжественно сказал звеньевой. — Завтра у нас первый экзамен.

Завтра наступило синее и солнечное, как по заказу. Бежала река, дымил завод, а на Мишином поле стоял тяжелый гусеничный трактор яркого апельсинового цвета. Блестящие его глазищи уставились вдаль. Бабкин сидел в кабинке важный, как султан. Звено кучкой сбилось на обочине.

— Поехали, что ли,— сказал Трофим, обнажая голову.

И трактор пошел. Пошел, похрапывая, покачиваясь, позванивая гусеницами, пошел легко и радостно. Лемеха плуга бесшумно въехали в землю, за ними сбоку потекла густая черная река, в которой, как рыбы, часто поблескивали камни.

Суетясь и проваливаясь, Петровны поспешали следом, отбрасывая камни к канаве. Журавлем вышагивал Павлуня. У него подобраны губы и сошурены, как у Бабкина, глаза. Шагали по борозде грачи, черные птицы ученого вида. А позади, на бугре, стоял, словно витязь на границе, прикрываясь ладонью от солнца, старый солдат Трофим Шевчук.

Бабкин открыл кран. И сразу грачи с криком снялись с борозды, а бабушки стали закрываться рукавом: это от бочки, установленной на плуге у Бабкина, потянуло резким неприятным запахом. В бочке — аммиачная вода, ценное, говорят, удобрение.

Десять минут, покачиваясь, как лодка на волне, плывет трактор от дороги до речки.

У высокого берега Бабкин останавливается. Подоспевшие бабушки и Павлуня долго мнут и щупают комья, отдающие аммиаком.

— А бывало-то, все навоз да навоз,— грустно говорят бабушки, не очень-то доверяющие химии.

Все глядят назад, на первую борозду: она пролегла на диво ровно и радостно. По ней, пообвыкнув, бродят вороненые грачи. А на той стороне поля стоит у начала борозды, возле зеленого «уазика», сам директор и тоже смотрит вдаль. Вот помахал всем рукой: давайте, мол, и дальше в том же духе,— сел в машину и уехал.

Бабушки затолкали звеньевого под бока:

— Молодец, Бабкин! Ежели сам ничего не ска-
зал — значит, все в порядке. Мы-то уж знаем.

На тележке подкатил Трофим. Он долго слезал с нее, подступал к Бабкину, темный и непонятный. Бабушки замерли, Павлуня вытянул шею.

— Может, закуришь? — Трофим отвернул полу пиджака и полез за выдавшим виды кисетом с махоркой: папирс он не признавал.

— Нет, спасибо! — Бабкин морщит нос и смеется. Солнце бьет ему в узкие зоркие глаза.

— Дай я поведу, а? — осмелел Павлуня.

— На! — согласился Бабкин.

Павлуня забрался в кабину трактора, и лицо его сразу стало испуганным, а взгляд неуверенным. Он поискал глазами сильного брата.

— Миша...

— Давай!.. — крикнул ему звеньевой. — Надо же когда-то и начинать, Пашка!

Павлуня с хрустом включил скорость, гусеницы зазвенели, и опять потянулась следом за трактором черная полоса обманчиво жирной климовской пашни.

ОДНА БЕДА НА ДВОИХ

Поле стало вычищенным и разглаженным, как праздничная рубаша. От дороги к реке побежали узкие прямые грядки. На видном месте закрасовался яркий щит с новыми обязательствами звена. У кромки поля притулился сарайчик, где хранятся корзинки, лопаты, куда в обеденную жару уходят на отдых бабушки. Здесь стоит стол, табуретка, у стены — топчан, заваленный сеном. На столе поблескивает лаком Мишин транзисторный приемник.

Каждое утро Бабкин с удовольствием смотрит на свое поле, замечая, как оно меняется на глазах. Недавно ребята отсеялись, и долго еще от их рук, одежды, от сарайчика терпко и остро пахло морковными семенами. Бабкин в графике над столом, в нужной клеточке, вписал день посева. А сейчас уже побежали ровные, в пять рядочков на каждой грядке, зеленые всходы. Смотреть на них — сердце радуется!

Довольный Бабкин замечает, как переменился и Павлуня: у братца на жаре подтянуло щеки, подсохли губы, крепче, взрослее сделалось лицо. Выровнялась и походка Павлуни, распрямились его сутулые плечи, даже в речах появилась законченность.

После пахоты ребята пересели с тяжелого гусеничного трактора на легкое самоходное шасси, или, как его ласково называют механизаторы, шассик. Это очень удобная машина: мотор сзади, а впереди — руль да колеса. Поле — у тебя под ногами, все на виду. Бабкин любит шассик за простоту в управлении, за то, что сеялка или культиватор навешиваются не сза-

ди, а прямо перед глазами, шассик не так шумит, как гусеничный дизельный трактор, от него не болит вечером голова и не гудит в ушах после целого дня нелегкой пахоты. Славная машина!

Сегодня, намаявшись с утра, Бабкин мирно спит в сторожке. Бабушки ушли на обед домой. Павлуня сидит на шассике и внимательно наблюдает, как осторожно и шустро бегут между грядками передние колесики машины, заметно скошенные книзу, словно кривые ножки степной лошадки. Сиденье высокое, открытое солнцу и ветрам, поэтому Павлуня прикрывает свой слабый затылок широкой соломенной шляпой.

Работа идет ладно. Внизу режут сорняки и рыхлят землю быстрые стрелчатые лапки культиватора. Прямо перед Павлуней приделаны круглые бачки с удобрениями. Парень сидит за этими железными барабанами лихо, как ударник в джазе, только в руках у него вместо палочек — руль, а на бронзовых плечах — линиялая майка. По душе Павлуне и ровный бег шассика, и рокот мотора.

Павлуня покатил мимо хранилища, из черных дверей которого девчата и парни вытаскивали наверх остатки прошлогодней сопревшей капусты. Девчата были свои, совхозные, привыкшие к деревенской работе, а парни хоть и заводские шефы, но тоже старались не отставать от них. Они работали дружно, шумно и весело. Павлуня, проезжая, смотрел косо. Он твердо убежден, что заводское начальство не пошлет в совхоз нужных себе людей, а отдаст самых негодных да ленивых. Ишь как гогочут! Небось поддали.

Шассик уже пробежал было мимо хранилища, но тут Павлуня, повернув ненароком голову, так резко тормознул, что шляпа едва не слетела с его головы. Он увидел за стеной, в тени хранилища, механика и Татьяну. Павлуня открыл рот: они стояли, ничего не замечая вокруг, и, как показалось братцу, играли в «ладушки». Механик все норовил взять девушку за руку, она, смеясь, отдергивала ладонь.

Оба так увлеклись игрой, что не заметили Павлуню: он подступал боком, нагнув голову, ноги в коленях у него не гнулись, словно в них воткнули по стальному пруту. Смешной вид он имел в своей соломенной шляпе с отгрызенными краями, тощий да ушастый. Девушка прыснула в ладонь.

— Чего надо? — спросил механик, недовольный тем, что помешали его игре. — Что скажешь?

Павлуня, склонив голову набок, молчал и краснел. Механик повернул его и слегка надавал коленкой под зад.

— Не нужно, — тихо попросила Чижик, — он и так уйдет.

Павлуня посмотрел в ее глаза, полные жалостливой насмешки над ним, и ноги его дрогнули. Стальные прутья вытянули из них, они подогнулись. Сердце Павлуни размякло.

Механик вздохнул:

— Утрись!

Нос у Павлуни был давно сухой, но он послушно мазнул по нему рукавом. Чижик смотрела на него, как смотрят на щенка в грязной луже: и вытащить бы, да испачкаешься. Все поплыло у Павлуни перед глазами. Не помня себя, он забормотал, норовя почему-то схватить механика за пуговицу:

— Постой... Нет, ты постой... ты зачем это?..

— Уйди отсюда, Павлуня! — испуганно попросила его Чижик, но было уже поздно: механик, вырываясь из цепких рук Павлуни, ненароком толкнул его прямо в кучу прелой капусты.

Обрадованные, захохотали девчонки и шефы.

— Космонавт! — крикнул кто-то. — А ну еще, теткин сын!

Чижик помогла Павлуне подняться, не глядя сунула в руку слетевшую шляпу, Павлуня машинально надел ее и побрел к шассику.

В сторожке затрещал будильник, и Бабкин проснулся. Он вышел на край поля и увидел странно ковыляющий по дороге шассик. Машина остановилась возле сарайчика, на землю мешком сполз Павлуня. Он был бледнее, чем всегда, и носастее обычного.

— Что с тобой, Пашка?

Братец заглянул в глаза Бабкина, услышал его встревоженный голос, и ему до смерти захотелось пожаловаться.

— Да-а, — плаксиво протянул Павлуня. — Там — Чижик и этот, механик. Стоят и за ручки ухватились... как ма-аленькие.

Павлуня замолчал: в глазах Бабкина промелькнула какая-то суетливость.

— За ручки? — тихо спросил он.

И Павлуня вдруг ясно понял, что оба они страдают одной окающей болезнью, от которой нет лекарства. Ему стало почему-то немного полегче, словно Бабкин взвалил на себя часть нелегкого груза.

— Ладно,— пробормотал Павлуня, поднимаясь и отряхиваясь.— Теперь твоя очередь.

Павлуня побрел к домику-сарайчику, а Бабкин поспешно взобрался на шассик, помчался в сторону хранилища.

Здесь было пусто, остались только корзинки да прелые запахи. Заводские шефы, закончив работу, шли к понтонному мосту, совхозные девчонки, хоть им и не по пути, тоже тащились вместе с ними к переправе.

За хранилищем послышался смех. Бабкин, так же деревянно, как и Павлуня, пошел на него.

Солнце садилось, от стены падала густая тень. В тени было не так совестно, поэтому Чижики уже не отдергивала руку.

— Корзинки убрать нужно,— вспугивая их, сказал Бабкин.

— Ну и убери,— насмешливо отвечала Чижики.

— Во-во! — подхватил механик.— Убери, теткин племянник!

Бабкин молча схватил его за шиворот, раздавался треск материи, механик побледнел.

— Да что ты! — с досадой сказала девушка, с трудом отводя от механика заостренную руку Бабкина.— Не надо!

— Надо! — нагнул голову Бабкин.— Пашка по тебе сохнет. Следом ходит.

— Ну и пусть ходит! — в запальчивости выкрикнула девушка.— Ничего он не выходит! Понял?

Бабкин засопел. В эту самую минуту механик, видно со страху, залепил ему совершенно неожиданно такого леща, что Бабкин едва устоял на ногах.

— Гриша! — испуганно вскрикнула девушка, и этот испуг окончательно добил Бабкина.

— Вот как получается,— пробормотал он, не повышая голоса и не глядя на механика.— Лупят Мишу, а страх за Гришу.

Бледная Чижики на миг замерла. Механик за ее спиной выкрикивал:

— Понял, да? Понял?! Еще полезешь — хуже будет!

— Понял он, все понял,— успокаивала его Чижик. Она быстро вывела механика на дорогу.— Иди домой, поздно.

Механик, часто оглядываясь, припустился догонять своих. Девушка посмотрела на Бабкина.

— До свидания,— сказала она тихо и, чуть помедлив, добавила: — Не сердись...

«Эх ты, не видишь!» — вздохнул про себя Бабкин, но виду не подал, только слегка улыбнулся сверху.

— Хочешь, подвезу? — спросил он.

— Нет, пожалуй,— ответила девушка.— Я уж так добегу.

Она мягко покатилась к совхозу. Бабкин, проводив ее глазами, поехал к себе. Он ни разу не посмотрел в ту сторону, где возле моста одиноко маячила черная фигура механика. Тот издали оборонял Татьяну от Бабкина.

В этот вечер Павлуня долго сидел на скамеечке возле своего дома. Давно погасли окна в совхозе. С ночной смены пришла тетка. Она наклонилась над сыном и удивленно спросила:

— Господи! Уж не провожался ли?!

— А что, разве нельзя? — прошептал Павлуня.

Тетка хмыкнула, села рядышком и толкнула его могучим локтем под тонкое ребро:

— Чья девка-то?

— Чижик,— вздохнул Павлуня.

Тетка заколыхалась. Потом, вытирая глаза, протянула:

— Вы-выбрал то-олстую... Да куда тебе такая!

— Не выбирал я,— строго ответил Павлуня.— Разве ее выбирают? Она нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь...

Тетка хохотала долго, со вкусом, на всю тихую улицу. Павлуня печально смотрел в ее широкий рот...

Когда Бабкин ввалился во двор к старухе, она уже ждала его. Стол был накрыт под яблоней. Но Бабкин не пошел к столу, а сел посреди двора на колоду. Жучка радостно повизгивала у пыльного сапога. Лешачиха повела глазищами.

— Где болит?

— Тут,— постучал себя Бабкин по сердцу.

Они замолчали. Было слышно, как на старой ветле возятся грачи. Иная птица, срываясь с веток, гулко хлопала крылом среди звезд. Потом опять наступала тишина. Только где-то далеко томила гитара.

Заглядывая ему в лицо, Лешачиха усмехнулась: — Хочешь, приворожу? Твою беду мигом отведу.

Бабкин устало махнул рукой и стал стягивать с себя пропыленную рубаху. Лешачиха принесла полотенце и, пока Бабкин фыркал и плескался, молча стояла в стороне. Потом, подавая чистое, пахнущее рекой полотно, сказала:

— Картошечки я тебе сварила, селедочку разделала. Садись-ка, милый, к столу. А то на голодный-то желудок и ночь черней кажется, и черная дума вяжется. Садись.

Бабкин опять подивился умению Лешачихи скручивать из простых слов замысловатую нить. Неторопливая ее речь непонятным образом успокоила его, он стал есть. Потом, посвистывая, прошелся по двору. Тронул ветхий забор.

— Жучка, где тут у нас лопата?

Вместе с собачонкой Бабкин обрыскал сарай, нашел где-то в углу ржавый заступ и начал азартно копать ямы под столбы. В ночь полетели тяжелые комья.

ГЛАНДЫ

На другое утро у гаража собирались механизаторы. Ворота боксов были распахнуты, из черной глубины сонно посматривали большими глазищами машины и трактора. На пахучих скамейках, на обструганном столе проступили клейкие янтарные капли — слезы живого дерева.

За столом — директор, парторг, комсорг, главные специалисты.

Перед начальством на скамейках тесно сидят механизаторы. Поодаль — рука на перевязи — стоит «опытный седой» Иван Петров, косится в сторону Бабкина. За Бабкиным, низко склонив голову, сидит Павлуня, тихий, ко всему равнодушный.

— Товарищи! — встал Ефим Борисович. — Положение с прополкой сложилось у нас тяжелое.

Бабкин слушал директора и думал: а когда поло-

жение было легким? Весной не хватает кормов, летом — людей, осенью — машин.

Сейчас каждый тоже знал: медлить с прополкой нельзя — жара, прут сорняки. Выступал, пристукивая кулаком по столу, молодой секретарь парткома Семен Федорович; говорили, горячо размахивая руками, юные бригадиры, солидно высказывались с мест паны-механизаторы.

— Городских позвать, — сказал Трофим.

— А сколько это будет стоить? — нахмурился директор.

— Разрешите? — поднялся главный бухгалтер. — Я вот тут набросал... Если городские будут работать у нас только три дня и в том количестве, которое вы, Трофим Иванович, просите, то совхозу это обойдется в десять тысяч рублей. Это не считая питания.

— Ого! — сказали трактористы, а Трофим почесался.

— Одними руками ничего не сделаешь, — сказал вдруг с места Бабкин. — Нужно технику грамотно использовать. Мы вот в училище пробовали...

— Вы! «В училище»! — передразнил его «опытный седой». — Работаете без году неделя, помолчал бы.

Все оглянулись на Бабкина.

— Говори, говори, звеньевой, — сказал директор, с удивлением приглядываясь к Бабкину. — Говори смелей.

Но взъерошенный Бабкин махнул рукой и обиженно сел.

— А ты что скажешь, Алексеич? — спросил вдруг директор и повернулся к Павлуне.

Тот поднялся. Народ притих, разглядывая его, длинного и глазастого. Уши у Павлуни засветились.

— А я это... на расчет подал.

Народ загудел. Павлуня доверчиво помаргивал глазами. Директор ласково спросил:

— Ты что, очумел?

Ничего не мог добавить Павлуня, он молил Бабкина о подказке. Бабкин, подняв голову, в сердцах вымолвил:

— Ты на меня не смотри! Ты сам за себя отвечай, теткин сын!

Кто-то из молодых шоферов хохотнул, но другие,

люди в возрасте, в седине, недоуменно смотрели на Павлуню.

— Я же говорил, не потянут они! — зашумел Трофим. — Земли наши климовские тяжелые, не для молокососов!

— Погоди, — остановил его директор и с улыбкой обратился к Павлуне. — Ты что-то напутал, да? Ты просто не подумал, верно?

— Не, — вздохнул Павлуня, тоже улыбаясь. — Я заявление... на расчет...

— Объясни! — потребовал Трофим.

Проехал высокий трескучий трактор, и не стало слышно, что там еще молот Павлуня, помаргивая чистыми глазами. Колесник протарахтел, Павлуня закрыл рот.

— Не пуцу! — сказал Трофим, стуча кулаком по столу. — Ты что же, работы мне хочешь сорвать? У меня людей нет, понял?

— У меня гланды, — беззащитным голосом произнес Павлуня, и народ, остывая, по-другому поглядел на него...

ОДИН

Бабкин остался один. Время пришло трудное. Из земли, приподнимая ее хребтом, наперегонки лезли разные травы — и необходимые, и вредные, вроде лебеды да сурепки. По грядкам среди девически стыдливой морковки нахраписто продирались, пихаясь локтями, мосластые сорняки. Малочисленное Мишино звено замаялось, воюя с дикой зеленью.

На помощь пришли химики, они поливали грядки особыми ядами-гербицидами, которые жгли сорняки, как огонь, скручивая их в сухую пружину. Работа шла осторожная: химия, обжигая врагов, могла приглушить и морковку. Поэтому часто навещался агроном, и Бабкин торчал тут же, настороженно поглядывая.

Подъехал на «козлике» сам.

— Как? — бросил ничего не значащее словцо, и Бабкин ответил в том же духе:

— Ничего.

Ефим Борисович стал зорко глядеть, как бегают

над грядками шассик. Спросил вроде между прочим:

— Чем поливают?

Бабкин ответил без запинки, и Громов сказал весело:

— Точно! В нем, говорят, вся сила! Лей, не жалей.

— Это не вода,— посопел звеньевой.— Это химия...

А вон речка, близко.

Директор с каким-то непонятным задором откликнулся:

— Ну и шут с ней! Тебе-то что за дело? Зато урожай получишь, сорняки победишь! А речка — она далеко. Подумаешь!

Глаза его смотрели в упор, торопили с ответом.

— Тут подумаешь,— усмехнулся Бабкин.— Если не думать — все погубишь: и речку, и рыбу, и лес. В руках у нас такая сила, что без головы никак нельзя.

Ефим Борисович отвернулся, ласково покряхтел и размягченным, не директорским голосом сказал:

— Это ты очень верно говоришь, парень! Думать нужно! Крепко нам с тобой думать, как урожай получить и красоту уберечь.

Когда загудел завод и рабочий народ потек к понтонному мосту, Мишино поле уже славно провоняло химией и едко дымилось навстречу заре. Люди, проходя мимо, морщились, что-то кричали Бабкину, он в ответ только помахивал им рукой со своего высокого скрипучего трона.

Посверкивая спицами, проехала на велосипеде тетка, на руле у нее висела большая хозяйственная сумка, сзади, к багажнику, был привязан бидон.

— Вернешься? — спросила она, притормаживая.— Или твою комнату дачникам сдать?

— Сколько? — спросил Бабкин.

И тетка, поняв по-своему, тут же ответила:

— Рубль в сутки! Это деньги, на дороге не валяются.

— Обдираете,— покачал головой Бабкин.

Тетка обиделась и пустилась догонять народ.

Берегом реки плелась длинная косолапая фигура в новой кепке. Бабкин остановил шассик и спрыгнул к братцу.

— На работу?

— На работу,— ответил Павлуня, со страхом поглядывая на черные заводские трубы.

— Пашка, Пашка, хватит дурака валять! Вот наше поле, вот шассик дожидается — садись!

— Нет,— тихо ответил Павлуня.— Пускай она со своим механиком смеется. Не такой я человек, чтобы надо мной смеялись. Я лучше пойду.

— Нельзя тебе уходить — пропадешь!

— Пусты! — с неожиданным упорством возразил Павлуня.— Пусть она радуется!

Бабкин не стал больше уговаривать: в его груди билось такое же разбитое сердце.

Когда прогудело в другой раз — берег был пуст. Бабкин исподлобья смотрел на реку, где шумно и уверенно жил завод,— на всю страну славится он! Не то что Климовка. Светлыми цехами, умными машинами, а не только двумя выходными днями да крепкой рабочей неделей привлекает он к себе деревенских ребят. И многие ушли по одной и той же дорожке: через понтонный мост, мимо поля — в проходные.

Многие, да не все. Остались те, кому без земли не жить. К таким людям нужно бы поближе Павлуне, а он ушел. Ему ли, тихому и привыкшему к тишине полей, быть среди железного звона.

Бабкин с тоской посмотрел на сухую землю, на свой одинокий шассик. Он перевел взгляд туда, где за лесной полосой, на широком просторе центрального отделения, густо ревели трактора.

Вечером Бабкин торопился к Лешахихе, чтобы скорее высказать ей, умной, все накипевшее и услышать в ответ ее добродушно-ворчливый голос, мудрую речь.

Бабкин открыл калитку, Жучка обтерла его пыльные плетенки пушистым боком.

Он остановился:

«Что за праздник?» На столе посверкивают тонкие рюмки, стоят красные бутылки, светятся лимоны.

«Женька вернулся?» — подумал Бабкин и стал глядеть на крыльцо, с которого должен сейчас сойти он.

Лешахиха в новой кофте, причесанная, торжественно шагала навстречу Бабкину.

— Я все знаю,— сказала она медленно и веско.— Пашка твой ушел. Но ты не горюй: скоро придет он и будет тебе верным помощником и опорой. Вот он письмо прислал.

Бабкин устало присел на табуретку, подальше от богатого стола. Он уже давно приметил, что умная, остроязыкая Лешачиха словно забывала все свои побасенки, когда разговор заходил о нем. Тут ее слова становились плоскими, как блин, а в глазах вставало сияние.

— Давай письмо, Настасья Петровна, — скучно сказал Бабкин. Разговаривать с Лешачихой о чем-то другом теперь было бесполезно: сегодня над миром царствовал он.

САНЫЧ

На Мишино поле, размахнув стометровые трубчатые крылья, покачиваясь, въехала дождевалка. Тракторист опустил шланг в оросительный канал, но он оказался сухим, лишь на дне стояли мутные лужицы.

— Опять, чертенок, рыбу ловит! — рассердился старый тракторист, и Бабкин без лишних слов побежал к берегу.

Река сонно дымилась. Клекотали лягушки. Среди тумана застыл понтон, на котором слабо вырисовывался дизель с насосом. На понтоне сидел Саныч — худенький мальчишка в большой телогрейке и кепке с длинным козырьком. Он удил рыбу.

Когда Бабкин стал шумно спускаться к нему, осыпая глину, Саныч не всполошился, как обычно, не стал успокаивать звеньевого: «Я щас! Я мигом!» — а только слегка повернул голову и зашипел:

— Тихо ты!

У самой воды Бабкин увидел директора. Ефим Борисович был разут, брюки его подвернуты, шляпа на затылке.

— Здравствуй! — недоуменно сказал Бабкин.

— Здравствуй! Вот, звеньевой, отсюда мы и поведем закрытое орошение — и на твои пески, и на центральные поля, прямо через Климовку. — И Ефим Борисович, вылезая наверх, разрубил ладонью и лесную полосу, и деревеньку.

«Давно пора», — одобрил Бабкин.

— Точно! — хмыкнул директор и приказал: — Заводи.

— Я щас, я мигом! — сказал мальчишка, подбе-

гая к дизелю и дергая шнур пускача. Железо холодно, неохотно лязгало. Санычу было зябко возле такой горы мокрого металла, он ежился, передергивая плечами, щеки у него посинели.

— Эх ты, рыбак! — Директор стал снимать пиджак, но Бабкин успел раньше.

— Пусти-ка, — отстранил он Саныча. Послушал, как стучат поршеньки в машине. Прочистил свечи. Неторопливо проверил уровень масла, долил солярки, а потом, расставив ноги, с маху выдернул шнур. Тра-та-та-та! — полетела пулеметная дробь пускача над вздрогнувшей рекой. Бабкин двинул рычаг — дизель ожил, вычихнул в небо холодное, синее, пахнущее соляркой колечко.

— Ой ты! — обрадовался Саныч. — А меня он, дьявол, замучил до печенки!

Директор, сощурился, долго смотрел с обрыва на Бабкина.

...Ребята остались одни. Саныч потоптался и лихо спросил:

— Слушай, закурить нету?

Но тут он вспомнил, что Бабкин не балуется, и махнул с улыбкой рукой. Бабкин посмотрел на его грязную мордочку, измятую сном, на живые, чуть припухшие глазки и, крикнув, вытащил термос, который Лешачиха каждое утро засовывала ему в карман.

— Чай. Горячий.

Саныч с удовольствием грелся крепким чаем, наслаждался. Дизель рокотал, тоже набирая тепло, гудел глуше, басовитее. Бабкин включил насос — река со всхлипами потянулась в трубу. Вода залила каналы, вдоль которых медленно пополз трактор, неся над сверкающими обмытыми гусеницами косматые дождевые крылья. Бабушки радостно смотрели, как на глазах зеленеет их морковь, скисшая было после обработки ядами.

— Смотри не зевай теперь! — строго сказал Бабкин Санычу и поспешил к себе. В сторожке он записал в своем графике «полив» и поставил число. График был длинный, клеточек в нем много, и заполнен он только в верхней, малой своей половине, внизу же — белая пустота.

Возле хранилища остановилась грузовая машина, и на землю весело посыпались заводские. Шефы привезли с собой доски, гвозди, пилы — им сегодня ремонтировать сгнившие лари в хранилище.

— Бабкин! — приветствовали они звеньевого. — Здорово!

— Здравствуйте, — степенно отвечал Бабкин, с удовольствием рассматривая знакомых парней. Вдруг он насутился — в сторонке лениво стоял механик.

Бабкин посмотрел направо, посмотрел налево и с облегчением вздохнул: Татьяны тут не было. Работали только шефы. Они сколотили козлы, положили на них бревна, завизжали пилами. Хорошо запахло сосной.

Миша посматривал с высокого шассика, собираясь уже отъехать, как вдруг заметил неладное: несколько девчат, отойдя в сторонку, начали резать хлеб да колбасу, а парни за углом загремели мелочью. Бабкин вздохнул: и такие «шефы» приезжают иногда в совхоз.

Механик, подойдя к дыре хранилища, тихо позвал:

— Эй, сопливенький, ты где?

— Да я здесь... сейчас я... — раздался из подземелья знакомый голос, а следом за ним выбрался и сам Павлуня, грязный и неуклюжий.

— Пашка! — охнул Бабкин, скатываясь с шассика. — Опять дразнятся? А у нас тебя Алексеичем звали!

Механик начал совать в карман Павлуни собранную с троих мелочь.

— Ты давай потихоньку к магазину, чтобы только наши не заметили, а то скандал! — втолковывал он, но тут вмешался Бабкин и сказал механику:

— Убери свои медяки! И отойди от нас!

— Испугался! — хмыкнул золотоволосый красавец, но от братьев все-таки отошел. Нехотя ухватился за пилу.

— Эх, ты! — с насмешкой сказал ему напарник. — Пилить не умеешь, а — «я, я, механик! Все могу!»

— Подумаешь, работнички, столяры и плотнички! — гоготнул механик и отправился в тень.

Бабкин стоял перед Павлуней. Братец переминался с ноги на ногу, не поднимал глаз.

— Ну, как ты там? — участливо спросил Бабкин. Павлуня слегка затеплился:

— Я на сборке... — Он искоса поглядывал на ровные всходы морковки, на крылатый дождевой трактор, прятал за спину вымазанные прелой капустой руки: — Не веришь... Правда, я сборщик. — Вдруг он усмехнулся и, распуская губы, протянул: — У нас на участке такие де-евочки!

Бабкин широко раскрыл монгольские глаза под русскими рыжими бровями.

— Девочки, говоришь? — И рассердился, топнул ногой. — Марш к людям! Нечего тут!

— Да я чего, я иду, — отвечал Павлуня, становясь прежним испуганным братцем.

Бабкин посмотрел на него и пошел в контору.

В кабинете директора было жарко, хоть все окна нараспашку и вентилятор крутился под потолком. Когда Бабкин появился на пороге в пиджачишке, наброшенном на майку, с соломенной шляпой в руках, на него не обратили внимания. Люди, среди которых было много незнакомых, негромко разговаривали, курили, часто поминая Климовку. Ефим Борисович в сторонке беседовал с невысоким лысым человеком. Этого Бабкин знал: заводской представитель частый гость в совхозе. А возле окна — это, кажется, сам начальник всей районной мелиорации.

— Значит, решено: трубы ведем через Климовку? — спросил он директора, и Бабкин понял, что судьба деревеньки решена бесповоротно.

— А как же Трофим? — спросил кто-то. — Не отдаст он Климовку — вырос в ней.

— Все мы на одной земле выросли! — рассердился Громов. — На советской!

Тут директор заметил Бабкина и спросил, что случилось.

— Я насчет Пашки... — неторопливо начал было Бабкин, но Ефим Борисович перебил его:

— Слушай, может попозже зайдешь, а?

Звеньевой пожал плечами:

— Можно и попозже. Только за это время Пашку напоят, пожалуй.

— Кто?

— Заводские,— вздохнул Бабкин, и лысый представитель сумрачно обернулся к нему:

— Погоди-ка, товарищ! О чем ты? Кто этот Пашка? И кто хочет его спонить?

— Есть тут один,— ответил Бабкин.— А Пашка — это мой брат. Он в завод на сборку пришел, а вы его — в хранилище и к самому лодырю приставили. А его нужно к самым хорошим людям.

— Нужно,— бормотал заводской представитель, выискивая в блокноте среди адресов и телефонов свободное местечко.— Все нужно... Как фамилия этого Пашки?

— Зачем же фамилия? — улыбнулся Бабкин.— Вон оно, хранилище,— близко, а там — Пашка. Сами спросите.

Директор и заводские переглянулись. Заводской сказал:

— Ладно, придется заехать. До свидания, товарищ!

Бабкин вернулся на поле и оглядел свое хозяйство. Гудел дизель на понтоне, текла по трубам вода, шумел над морковкой рукотворный дождик.

У хранилища вместе со всеми, очень нехотя, работал механик. Он часто взглядывал на камень, возле которого солнечно сверкало горлышко кокнутой бутылки. Осколки блестели брильянтами, а жгучую влагу впитала пыль.

— Жалко, Гриша? — посмеивались девчонки.— Только зря бегал.

Заводской представитель тоже вместе со всеми пилил, строгал, заколачивал гвозди. Увидев Бабкина, подошел.

— Братец ваш отправлен на завод, а в остальном тоже порядок.

Бабкин посмотрел на хмурого и трезвого механика, на сверкающее горлышко и улыбнулся:

— Порядок. Спасибо вам.

Солнце садилось. Уползла с поля дождевалка, роняя янтарные капли. Бабушки приготовили на завтра рукавички — после полива ползут сорняки. Бабкин записал в своем графике: «Культивация» — и собрался было домой, но тут легко подкатила гладкая Варвара. С тележки, как обычно, выставилась сперва, словно пушка, деревянная нога Трофима, а потом вы-

брался и он сам — обгорелый, крепкий, насупленный. Отведя Бабкина подальше, спросил, сурово глядя:

— Знаешь?

Бабкин кивнул.

— Все! — сказал Трофим. — Конец Климовке.

«Вот беда-то!» — подумал Бабкин, которому до смерти надоела здешняя тишина и давно хотелось на волю, на широкое поле, на большой народ. Однако вслух он ничего не сказал — зачем огорчать хорошего мужика.

— Вон едет, деятель! — кивнул Трофим в сторону зеленого директорского «уазика».

— Трофим Иванович! — закричал, высовываясь из машины, директор. — Погоди, поговорить надо!

Но Трофим, бурча что-то под нос, уже влезал на свою тележку. Варвара, кося глазом, ждала. Только когда хозяин уселся, она, не дожидаясь команды, мощно понесла тележку по дороге. Засверкали новенькие подковы.

— Обиделся, старый, — сказал директор и обратился к Бабкину: — А ты? Что ты думаешь? Говори прямо, товарищ начальник!

— Все правильно, — ответил звеньевой, — хоть и жалко, а нужно.

«Молодец!» — подумал директор. Он оглядел молча Мишино поле и, не усмотрев в нем ничего плохого, сразу же простился со всеми. А Бабкина отозвал в сторонку.

— Почитай-ка! — сказал Ефим Борисович, подавая ему бумажку. На ней знакомым разгонистым почерком было написано: «А Мишка-то Бабкин в рабочее время на казенном тракторе частные огороды пашет — поди, за бутылку. А бензин-то государственный, денег стоит».

— Тетка писала, — уверенно сказал звеньевой. — Раз про деньги, значит, тетка. — Он посмотрел на директора. — А зачем?

— Пахал? — спросил Ефим Борисович. — Лешачихе, что ли?

Бабкин пожал плечами:

— Пахал. Не в рабочее совсем, а в свое, в ночное, время.

— И трактор тоже твой? Собственный?

Бабкин укоризненно качнул головой и проговорил:

— А она двадцать лет на своей, что ли, ферме? На личной?

Директор, почесывая лысину, пробормотал:

— Хватит. Поговорили. Поехал я, пожалуй.

Он пригласил климовских бабушек в свою машину: «Садитесь, женщины!» Но те смущенно заплескали ладонями и ответили, что не привычны они к такси-то, что дойдут и так, сами по себе. Бабкин тоже не сел — неудобно как-то, он лучше вместе со своими пройдет по холодку.

И они пошли. Сперва быстро и молча, часто оглядываясь на директора. Потом, уже отойдя далеко, замедлили шаг, о чем-то оживленно заговорили.

Ефим Борисович проводил их взором и полез в темный душный «уазик». Обгонять народ на пыльной дороге не захотел. Сидел и думал. Думал не о своих больших стройках, не о разговорах с начальством насчет музыкальной школы да нового коровника, а думал он про климовских бабушек, размышлял о Трофиме, о Бабкине с Павлуней, о всех тех, кого называют широким и значительным словом — народ. И чем больше думал он о Трофиме, тем пуще становилось жалко этого человека, который всю жизнь отдал своей Климовке. «Ладно, хватит! — убеждал сам себя директор. — Хватит! Всех не пережалеешь».

ГОРЬКО

Подходя к дому Лешачихи, Бабкин еще издали услышал Жучку. «На кого это она?» — встревожился парень, прибавив шагу. От калитки к нему метнулась разлохмаченная тень.

— Ох ты господи! Насилу дождаласы!

Бабкин узнал тетку и сразу сердито спросил ее про ядовитую подметную бумажку.

— За какие бутылки я огороды пахал? Какие такие деньги я принимал? Вы что, не знаете меня?

— Да что ты ко мне с чепухой-то! — протяжным слезным тенорком отвечала тетка. — Ну, писала, потом разберемся — не чужие! Сейчас горе у меня — Пашка пропал!

Бабкин испугался и замолчал. А тетка длинно, бестолково пустилась рассказывать, как нынешним вече-

ром на виду у всего совхоза Чижики села в черную легковую машину и укатила за реку. На ней было белое торжественное платье, правда, без фаты, машина тоже празднично блестела, а рядом с шофером сидел механик — причесанный, на все пуговицы застегнутый и при галстукке. «К жениху поехала», — вслух размышляли из одного окна, а из другого высказались более определенно: «Не иначе как расписываться!»

— Как увидел мой все это, так аж затрясся! — махала руками тетка перед носом Бабкина. — Аж прямо белый весь стал! Как мел! Как полтинник! Как лебедь!..

— Ну! — нетерпеливо перебил Бабкин, и тетка, переходя почему-то на шепот, наклоняясь к нему, закончила:

— Исчез мой несчастный! К мосту, говорят, дернул, только пятки сверкнули! — Она всхлипнула. — Беды наделает! Такой стал отчаянный! Помоги, Мишенька!

...Комсорг Боря Байбара чистил в гараже свой новенький мотоцикл, когда к нему вбежал Бабкин и, шумно заглывая воздух, сказал:

— Дай... мне... его!

— Куда тебе ночью?

— Боря! — с трудом отдышался наконец Бабкин. — Первый раз в жизни прошу!

Боря посмотрел ему в глаза и молча кивнул. Бабкин вывел за ворота лакового конька, вскочил в седло, и только треск прокатился вдоль по улице.

Постреливая цилиндрами, мотоцикл мчался по дороге. Плескалось желтое пятно впереди, сыпались позади, из глушителя, голубые искры. Мелькали кусты да столбы.

Свистнули над головой ветки ивы у пруда, пронеслось мимо морковное поле, Бабкин вымахнул на бугорок, к понтонному разводному мосту.

Шлагбаум был закрыт, на нем мигал красный фонарь. Опустив ноги, Бабкин посмотрел вправо и влево — пароходов нигде не видно. По мосту ходили люди, вспыхивала сварка.

— Баржа зацепила, фартук срезала, — сказал, подходя к Бабкину, знакомый мостовщик.

Между берегом и сведенным мостом на месте фар-

тука — широкого железного листа — чернела полоса воды, густо поблескивая звездами.

Бабкин посмотрел вперед. За рекой светился огнями рабочий поселок, в котором живет механик. Бабкин подумал о том, что вот сейчас, в эту самую минуту, где-то в теплой комнате сидят за столом Чижик и механик, а где-то по темноте бродит братец Павлуня...

Нагнувшись, он проехал под полосатой перекладной с красным фонарем.

— Куда, чумовой?! — закричал мостовщик, норовя поймать его за руку.

Треснул рукав рубахи. Но Бабкин уже выщелкнул скорость и, включив звонкий сигнал, полетел. Слились в огневую линию фонари на мосту, шарахнулись в сторону люди от взбесившегося мотоцикла. Бабкина бросило в воздух и тут же крепко стукнуло под зад и под подошвы. Он едва не вылетел из седла, мотоцикл накренился, взревел, но Бабкин все же чудом усидел на нем. И потом долго еще шоферы рассказывали, как один отчаянный чудака перепрыгнул на мотоцикле с моста на берег.

Бабкин свернул с асфальта в тишину сонной улицы поселка. Здесь блестели тусклые окна спящих домов, стыли черные столбы, пахло садами. Перед ним из тьмы косо выносилась тропинка, по ней плясал уверенный луч фары. Возле одного двора стояли кучкой парни и девушки. Бабкин остановился.

— Скажите, где тут механик живет? — спросил он, пытаюсь вспомнить его фамилию. — Гришей звать.

— Знаем, знаем! — чуть ли не хором ответила молодежь. — Кто же его не знает! Он сегодня невесту своим показывать-привез! Во-он его хоромы! С колоннами.

Действительно, этот дом выделялся среди остальных своими колоннами, высокими окнами, распахнутыми настежь, высокой крышей.

Возле палисадника, у калитки, стояли парни в белых рубахах, разговаривали, курили.

Бабкин слез с седла, зорко осмотрелся — нигде не дрались, не возились. Братца не видно. На Бабкина никто не обращал внимания. Мимо парней он прошел в дом.

За столом сидели распаренные люди. Они уже не пили, не ели, а только все разом, не слушая соседа, го-

вори. Бабкин увидел, как пригрелись рядышком Чижик и механик. Он — красивый, довольный; она — притихшая и как будто очень усталая. На столе мало цветов, зато густо натканы рюмки да бутылки, куча всякой еды.

— Товарищи, товарищи! Слова прошу! — кричал кто-то, долбя вилок по графину.

Бабкин узнал «опытного седого». Иван Петров, тоже красный, распаренный, стоял со стопкой и требовал внимания. Бабкин смотрел из-за людских спин, слушал. Кое-какая тишина наконец образовалась, Иван начал речь:

— Товарищи! Мы уже выпили за знакомство, за родителей с той и другой стороны, за будущих молодых. А теперь я хочу сказать вот что... Все вы видели дом, и усадьбу, и прочие постройки, куда в скором времени хозяйкой войдет жена. А задумывались ли вы, сколько труда и сил вложено в это все? Предлагаю поэтому выпить за то, чтобы будущая жена поняла и э-э...

«Опытный седой» поднял глаза к потолку, соображая, но тут мамаша механика, седенькая, сутулая, заплаканная, сказала быстрым тонким голоском:

— ...чтобы знала, в какие хоромы входит! Чтоб ценила!

Люди загалдели, застучали рюмками, потянулись через голову девушки к механику — чокаться. Она клонилась, смотрела недоуменными глазами на своего огненного красавца. Мать тянула его за рукав:

— Ты книжку покажи, книжку!

— Да ладно тебе, мама, не лезь! — отпихивался от нее механик, а она все тянула за рукав и быстро-быстро говорила соседям:

— Пусть все знают, все видят. Три тыщи, как копеечка! Покажи, сынок, чего тебе стоит!

— Ох, мама, мама! — вздохнул механик и полез в карман пиджака. Гости притихли совсем. Механик долго копался и наконец откуда-то из глубины, словно из самого живота, вытянул серенькую книжицу. Раскрыл, показал и небрежным голосом, в котором, однако, явственно звучали победные нотки, проговорил: — Ну, три, может, и не три, а семь тыщенок набегит.

— Во как по-нашему! — стукнул кулаком по столу «опытный седой». — Так их, племянничек!

— Горька-а-а! — проснулся кто-то в углу. — Горька-а!

Его стали одергивать, а мать механика, поглядывая на девушку слезными глазками, тоненько выговаривала:

— Да я бы, да за такие деньги!

Чижик побледнела, беспомощно посмотрела по сторонам, и тут в дверях среди толпящихся соседак слышался насмешливый голос:

— Богатый жених!

Соседки отлетели, отброшенные плечом, и к столу, узко глядя на Татьяну, медленно пошел Бабкин. Брюки его в глине, рукав рубахи разодран, кулаки сжаты.

Бабкин в наступившей тишине не сказал больше ничего, а механик, вскочив, кинулся выбиратья из-за тесного стола.

Бабкин видел только Татьяну, ее кругленькое, обыкновенное, побелевшее личико, ее дрожащие, только что сделанные кудряшки, которые казались ему прекрасными.

— Упорхнула, — сказал Бабкин, странно улыбаясь.

И девушка, поднимая брови, стала загораживаться от него локтем, словно от привидения.

Кругом зашумели, задвигались стулья. Бабкина крепко взяли за локоть. Чей-то командирский голос скучно повторял:

— Не надо, гражданин. Пройдемте, если выпили лишнее. Не надо шуметь.

— Пашка мой где? Где Пашка?

— Пьяному дома сидеть, а не в гости ходить, — укоризненно качал фуражкой участковый, выпроваживая Бабкина на улицу.

Механик рвался из рук дружков и шумел:

— Хулиган! Деревня!

Дружки свистящим шепотом успокаивали его, хорошо поглядывая на Бабкина.

Дружелюбно подталкивая, участковый отвел Бабкина к забору, где притулился мотоцикл.

— Ну, опомнися? Разве так можно, а? Молодежь, молодежь, зеленые человеки.

Бабкин, глядя мимо его каменного лица на яркое окошко, возбужденно спрашивал:

— Что там, а? «Горько» кричат, да? — и хватал, теребил милицию за рукав.

Пожилой участковый много повидал на веку. Он послушал несвязные речи — горячие, но совсем не пьяные, посмотрел на парня грустным взором и протянул:

— Вот оно что... Понятно... Отойдем-ка.

Возле фонаря мужчины закурили из милицейского портсигара и оба молча смотрели на черные тени в светлом чужом окне. Некурящий Бабкин закашлялся, бросил окурок, еле отплевался. Механик и его дружки стояли под фонарем, на виду. Участковый положил на плечо Бабкина твердую ладонь:

— Трогай домой, паренек, нечего тебе тут.

— Да,— согласился Бабкин, качая головой.— Совсем нечего.— Он взялся за мотоцикл, еще раз обернулся к человеку в форменной фуражке и сказал: — Спасибо.

Участковый кивнул. Бабкин раза два дрыгнул педалью, новый мотоцикл завелся сразу.

Мост, как и раньше, был сведен, однако фартук еще не навесили, и Бабкину пришлось терпеливо дожидаться на берегу. Прыгать совсем не хотелось.

Когда фартук приспособили и народ валом пошел по мосту, Бабкин увидел Павлуню. Братец проталкивался от совхоза к поселку навстречу людскому потоку.

— Пашка! — крикнул Бабкин.

Братец покрутил головой и, углядев Бабкина, пошел к нему.

— Садись! — подвинулся Бабкин.— И не спеши — опоздали мы с тобой оба.

Они сидели на холодном песке, молчали.

— Где пропадал-то? — спросил наконец Бабкин.

Павлуня, дрогнув зябким плечом, длинно принялся объяснять, что нигде он не пропадал, а просто дождался, куда фартук сделают и можно будет по мосту пройти.

— Ждал, ждал,— мямлил Павлуня,— замерз даже весь совсем...

Бабкин посмотрел на небо — там чернота закрыла луну, затянула звезды. Запахло ближним дождем.

— Поехали,— сказал Бабкин.— Мне завтра косить.

Когда выбрались на бугор, ударил густой и холод-

ный ливень. Возле пруда мотоцикл повело по грязи. Бабкин вывернул руль, чтобы не свалиться, но тут из темноты круто выехал ствол старой ивы. Последнее, что увидел Бабкин в ярком свете фары, — это черные глубокие морщины на стволе. Его вынесло из седла, ударило боком. «Пашка!» — подумал Бабкин, вылетая в ночь. Он тут же вскочил и бросился поднимать братца.

— Пашка! Пашка! — теребил он Павлуню.

Братец не отвечал. Бабкин прислонил к стволу его ватное тело и тут только увидел, что Павлуня жив. Сидит и выплевывает воду. Бабкин ощупал его ребра:

— Болит? Да говори ты!

Павлуня и в мирные минуты туго соображал, а теперь, после встряски, и совсем не мог собрать мысли. Наконец он вздохнул, шевельнулся и, поднимаясь на ноги, сказал равнодушно:

— Ничего...

И тут Бабкин почувствовал, как зажгло, заломило его ногу чуть ниже колени, и, крикнув, ухватился за нее.

— Ой! — испугался Павлуня, наклоняясь к нему. — Чтой-то?!

— Ничего, — ответил Бабкин. — Помоги-ка мне.

Долго бились они над мотоциклом, но он не заводился. Вести же его за рога по такому месиву было невозможно. Ребята спрятались под иву, стали дожидаться. Дождь перестал, и скоро они услышали пофыркивание мокрой лошадки, стук телеги, голоса.

— Эй, космонавт? — спросил Трофим. — Ты, что ли?

Видно, мостовщик либо кто из шоферов успел рассказать ему про лихой прыжок.

Боря Байбара кинулся не к мотоциклу с разбитой фарой — он суетился над Бабкиным, подсаживая его на телегу, накрывал плащом:

— Как же ты так, а? Здорово разбился, а?

А тетка, в меру поохав над Павлуней и убедившись в его целостности, закачала головой над поверженным мотоциклом.

— Ай-ай-ай! Во сколько теперь ремонт влетит!

Тетка до боли в печенке жалела деньги — и свои, и чужие.

Настасью Петровну недаром прозвали Лешачихой: она знала травы, у нее на просторном чердаке развешаны пахучие пыльные веники от всех болезней. Она живо приготовила какое-то варево мутного цвета и противного вида, усадила Бабкина на стул, а сама, стоя перед ним на коленях, осторожно промыла глубокую ссадину на ноге. Потом, поднимаясь и запихивая в рот папироску, сказала:

— А теперь поспать бы — и заживет до свадьбы.

Бабкин посмотрел на Павлуню — братец скривился. Лешачиха туманно усмехнулась:

— Ничего, ребята. Еще не все сказано, да не всякая ниточка завязана...

Она стала выпроваживать гостей. Первым ушел Боря Байбара. Гибкий, худой, подвижный, он выскочил за дверь, а через минуту затрещал его мотоцикл.

— Ишь ты, прочихался! — удивилась тетка.

Она стояла на улице, не решаясь войти в дом к Лешачихе. А Пашка все не выходил, все топтался на пороге, все собирался что-то сказать Бабкину. Но только он открыл рот, как с улицы раздалось звонкое:

— Павлуня-а, домой!

Забрежали собаки. Лешачиха, услышав тетку, в сердцах плюнула. Братец, споткнувшись о порог, выскочил.

Бабкин сидел посреди кухни, опустив босую ногу в таз с остывшим зельем. Он был так мрачен, грязен и кудлат, что Лешачиха невольно улынулась:

— Хорош. Рога нацепи — прямо черт на цепи!

Бабкин покрутил головой.

— Как это у вас все складно!

Лешачиха чем-то присыпала его рану, перевязала, сказала еще несколько смешных слов, и Бабкин ожил, поскакал переодеваться.

Лешачиха, мелькая острыми локтями, проворно мыла ему голову над тазом. Волосы у парня сердитые, и Настасья Петровна ворчала на их неподатливость.

— Сам, сам! — проплеывался сквозь мыльную пену Бабкин, но она не пускала, торжественно отвечая:

— Ничего, он тоже мыться не любил. Все вы одинаковы.

Потом, увидев Бабкина, розового, промытого, в белой рубашке, Лешачиха пригорюнилась.

— И он такой же был,— бормотала она,— статный, красивый..

Не дожидаясь, пока он вырастет до потолка, Бабкин ушел в свою комнату.

На рассвете, когда тени еще ходят за людьми, бледные, сонные, у механического цеха собирается на воскресник неразговорчивый народ. Он залезает в просторный совхозный автобус, закуривает там и, поглядывая на себя в черное зеркало окон, едет до железнодорожного моста. Когда машина останавливается, люди нехотя выбираются на волю. Они смотрят на парное молоко, разлитое над невидимой речкой, на розовое небо за кустами, на солнце, которого еще нет, но рождение которого угадывается уже по этому пару, по тихому туману, по теплу. Они смотрят на глубокую тяжелую траву и просыпаются, веселеют.

— Хороша! — говорит кто-то про траву, осыпая с нее ладонью росу. — Эх, хороша!

Трава и в самом деле хороша на берегу реки. Но взять ее можно не косилкой, как на ровном лугу, а только косой — кругом вон какие ямы да бугры.

Кто-то из самых нетерпеливых да молодых, вжикнув косой, кладет первый валок. Это все равно, что за столом, не ожидая всех, откромсать кусок пирога, испортить его. Поэтому со всех сторон на смелого шумят:

— Не балуй! Вперед не лезы! — и обращаются к Лешачихе: — Становись-ка, Настасья Петровна!

Бабкин вдруг вспомнил отца. К нему вот так же, как теперь к Лешачихе, подбегали с косами: хорошо ли отбиты, как насажены. И его тоже уважительно, по имени-отчеству, просили начать трудный первый ряд в густой, переплетенной душистым горошком траве. И он, насупив брови, вставал у самого буйного края — невысокий и крепкий, как Бабкин. На боку у него, словно кинжал в ножнах, — оселок. И коса, и точильный брусок у отца были свои, давние, никому он их не доверял...

— Бабкин, уснул?

Парень вздрагивает и, хромя, спешит занять свое место в ряду косарей.

— Нога болит? — спрашивает Лешачиха. Она в бе-

лом платке, в просторном платье, в сапогах. На боку, на ремне, висит оселок. Тоже, как кинжал, в ножнах.

— Ничего, — отвечает Бабкин.

Теперь никакая сила не заставит его выйти из этой красивой, дружной работы, которую он любит и всегда ждет с нетерпением. Да не только он. Встал с косой и Павлуня, рабочий человек, и другие, заводские, опустив косы, жадно глотают чистые запахи. Девчата с граблями, и среди них тихая, молчаливая Татьяна Чижик.

— Ну, поехали, что ли? — подает голос Ефим Борисович. Его, как не очень умелого да растолстевшего, поставили в ряд к пацанам, и те теперь очень хитро на него поглядывают.

— Пошли! — говорит Лешачиха и плечом делает первый замах. Вроде бы и не сильно она размахнулась, и косу пустила саму по себе, а трава с тихим шелестом, почти не уронив росы, легла к ее ногам широким полукругом. Пошли! И такой же свистящий размашистый полукруг повторяют другие опытные косари. Легко позванивают косы, грустно падают головки беленьких да желтых цветков, сердито гудит потревоженный тяжелый, мокрый шмель. И Бабкин забывает обо всем на свете, даже о боли в ноге.

Люди, постепенно разгораясь, идут следом за Лешачихой. Лодыри и работающие, добрые и так себе, они сейчас одинаково захвачены косьбой. Деревенские, привыкшие, они быстро подлаживают друг под друга не только взмахи, но и дыхание. Позванивают косы, шелестит покорная срезанная трава, складно идут косари, словно песню поют.

— «Эх, размахнись рука, раззудись плечо!» — раздался вдруг веселый, бесшабашный крик.

Люди, не прерывая работы, недовольно оглянулись: кто это там не знает, что шуметь нельзя, не положено? Это механик. Он явился непрошенный и незванный. Подмигнув Татьяне и, балагурия с девчатами, схватил с машин тупую косу и, крикнув, засадил ее в землю.

Люди не засмеялись, не посмотрели — некогда. Механик хотел было пристроиться в ряд косарей — выгнали, чтобы траву не мял, не поганил. Тогда он пошел с граблями к Татьяне.

— Помощники требуются?

— Зачем пришел? — недовольно и тихо спросила девушка. — Тебя звали?

— Чего жениха гонишь? — звонко сказал кто-то из девчат. — Такого видного!

— Какой он мне жених?! — вырвалось неожиданно у Татьяны, но тут же она закусил губу и больше не сказала ни слова, не поглядела на механика, с которым еще вчера сидела рядышком за столом.

Бабкин глазам своим не верил.

Механик еще повертелся возле народа, пошутил, пошумел да и растворился тихонько в тихом тумане. Никто этого не заметил, только Бабкин с Павлуней проводили его взглядом, только у девушки блеснуло что-то у глаз — то ли слезинка, то ли росинка.

Когда солнце припекло и высохла роса, люди, крепко обтерев косы травой, положили их, а сами улеглись в тени кустов. Над ними плыли радостные облака. У них в ушах еще пели косы и шуршала трава. Все молчали, и это молчание, как и усталость, тоже было общим, благодатным.

Первым поднялся Ефим Борисович, хоть с непривычки и умаялся больше всех. Он посмотрел вдаль и сказал сердито:

— Люди устали, понимаешь, а еду не везут!

Завтрак привезли точно в срок. Гроыхнули миски, запахло свежим хлебом. Хорошо, красиво ели косари на вольной воле, на зеленом берегу. Ели без жадности и суеты, ели с большим чувством, поглядывая на подстриженные берега. Ровными валками лежала трава, уже заметно увядшая.

Среди покоса там и сям высились островки буйной зелени, не тронутые косой, качались метелки конского щавеля. Это оставили птичьи гнезда, да еще прикрыли сверху желторотых птенцов, чтобы солнце не сожгло их. На ветках пищали потревоженные родители. Вовсю гудели шмели, разогрев на солнце «моторы».

Бабкин посмотрел в сторону, где сидела задумчивая Чижик. Из-за куста ее манил снова появившийся механик: «Тань, чего скажу-то!» Не глядит она, даже еще и отвернулась.

Ехать обратно в душном автобусе никто не хотел, и до совхоза топали пешком во главе с директором. Автобус и «уазик» Ефима Борисовича плелись позади.

Возле понтонного моста стояла тетка с сумками.

— Нароботались? — спросила она всех сразу. Вид у нее был такой довольный, словно она сто тысяч выиграла.

Никто ничего не ответил тетке: людям в такой славный день не хотелось ни ссориться, ни сердиться. Даже Лешачиха впервые посмотрела на «вражину» при солнечном свете не с гневом, а с жалостью.

— Подумаешь! — рассердилась тетка, заметив эту жалость. — Нароботали! Три рубля! Пашка! Иди сюда!

Пашка плелся в хвосте, и тетка не могла снести его довольного вида.

— Не! — затряс головой Павлуня. — Нет! Я с ними! — И бросился догонять Бабкина.

Тетка осталась одна со своими сумками.

НАРАБОТАЛСЯ

Как всегда, Бабкин проснулся рано, и, как всегда, Настасья Петровна уже пропала из дому, а на столе, как обычно, дожидался парня горячий завтрак.

«Вот вернется Женька — сразу уйду в общежитие! — снова твердо решил Бабкин. — Вот навязался, дачник!» И тут же опять подумал, что уйти ему от Лешачихи будет тяжело. Очень уж спокойно ему тут, очень хорошо по вечерам сидеть в тихой комнате за большим дубовым старинным столом и читать толстую книгу, от которой сладко пахнет пылью. Напротив него — Лешачиха. Она, нацепив на нос очки и откинув назад голову, тоже читает весомый, древний, с золотым корешком том.

Бабкин с удовольствием подержал на ладони книгу, убрал ее на место, в шкаф. Положил подальше от края стола очки хозяйки. Задумался, стоя босиком, в одних трусах посреди комнаты.

В окошко, положив лапы на подоконник, давно заглядывает озорная Жучка. Бабкин вздохнул: к этому зверю он тоже привязался. Они поели вдвоем. И Бабкин, прихрамывая, побрел по улице.

Жизнь была ключом, жизнь бежала вперед — и вся навстречу Бабкину. Ехали на совхозном автобусе девчата в теплицы, торопились доярки, из подъездов высоких городских домов выходили совхозные рабочие. Боря Байбара вытягивал из гаража свой битый мотоцикл. Бабкин помог ему.

— Как нога? — спросил комсорг. — Может, подбросить?

— Нам не по пути, — грустно ответил звеньевой.

Чем ближе подходил он к Климовке, тем меньше встречалось ему людей. Дома стали пониже, пыль погуще. Бабкин ковылял мимо темных и светлых окон. Темные — это где живут заводские рабочие, они еще спят, а где окна светлые — там совхозные, эти встают с зарей. Светлых окон с каждым годом остается на совхозной окраине все меньше и меньше: народ перебирается поближе к центральной усадьбе, в новые квартиры, а иные — и в город. Вот и Пашкино окошко потемнеет, братец тоже решил стать заводским вольным человеком.

Бабкин представил, как по субботам Павлуня будет выходить в тапочках на босу ногу и в майке — посидеть на скамеечке перед домом, как это делают «городские».

Бабкин смотрел на темные окошки и не заметил, как со скамейки навстречу ему поднялась знакомая фигура.

— А я вот тут все... — услышал он знакомый голос. — Как ты-то, как нога-то?

— Болит, — сознался Бабкин. Он обрадовался братцу. — Ты чего рано поднялся? Бессонница?

— Ага, — вздохнул Павлуня. — Тебя встречаю. Один дойдешь? Нога все-таки...

— Дойду, — успокоил человека Бабкин и сам доковылял до своего песчаного клина, слыша за спиной торпливое дыхание братца.

На поле стояла благодатная тишина. Климовские бабушки уже сидели возле избушки на перевернутых ящиках и, пощелкивая семечки, слушали Мишин приемник.

— Здравствуйте, — сказал им звеньевой.

— Здравствуй, Миша, милоч! — отвечали с удовольствием сестрицы и поглядывали на берег, где в отдалении маячил тоскливый сборщик Павлуня. — Иди к нам! — помахали они братцу, но тот уныло отвечал им:

— Не, мне пора...

На реке согласно загрохотало: это запустили свои насосы механизаторы на понтонах. Над капустой ударила водяная пушка, раскрылись над лугом брызгучие

зонтики, родился над свеклой самодельный дождик. Полив шел по всему совхозу.

И за гулом сильных дизелей совсем не было слышно голоса Санычева движка, холодного, старого, доживающего свой век. Бабкин подумал о том, что все в Климовке такое же древнее, хлипкое — и поле, и дома, и старушки. Поглядев еще раз на мощный полив за лесной полосой, он перевел взгляд на старую дождевалку, которая не густо сеяла водичку на его морковку. А по пыльной дороге шагал к мосту незадачливый братец...

Затрещал мотоцикл и подъехал Боря Байбара.

— Теперь небось до смерти не сядешь? — спросил он Бабкина, похлопывая по седлу.

Бабкин подошел к нему, заглянул в глаза, в душу:

— Боря! Вот мой шассик. Он заправлен, весь в порядке. Поработай часок, а? Мне вот как нужно!

— Опять! — испугался Боря Байбара. — Опять глупости!

— Нет, это не то. Это дело совсем серьезное — на счет Пашки.

Комсорг полез на шассик, погнал его по просохшему месту. Бабкин, проследив, как четко прострочил культиватор первую грядку, удовлетворенно кивнул и взялся за мотоцикл. Он неловко, с трудом взобрался на седло, тихонько запыхал к понтонному мосту. По дороге песком раз останавливался и сидел, отдуваясь и отдыхая от боли.

— Прыгать не будешь? — подозрительно спросил его знакомый мостовщик, на всякий случай хватая за руку.

— Отпрыгался я, дед, — ответил ему смирный Бабкин.

...В бюро пропусков, среди длинных скамеек, облупленных стен и цементных полов стоял беспокойный вокзальный дух. Бабкин, просунув цыганскую голову в окошко, стал выписывать пропуск. В проходной его, хромучего, остановил сердобольный вахтер:

— В поликлинику? С травмой, что ли?

— Еще с какой!

Бабкин вышел на заводскую площадь. Направо и налево к воротам цехов бежали асфальтовые дорожки, змеились рельсы. Бойко крутили колесиками игрушеч-

ные тепловозики, толкая перед собой огромные платформы с дизелями.

Бабкин прохромал по тротуару. Здесь тихо. У подростков-тополей короткая солдатская стрижка, желтые одуванчики кивают из-за штакетника.

Бабкин спешил в нужный ему сборочный цех. Это самое большое здание в заводе, куда водят всех гостей — хвалиться новыми станками, светлыми стенами, высокой стеклянной крышей. Здесь много цветов и плакатов, а люди сплошь грамотные, образованные, в синих чистых халатах.

Бабкин второй раз на сборке, но еще никак не привыкнет, еще и теперь ему хочется пригнуть голову: кажется, что недобрые крюки кранов идут над самой макушкой. Бабкин вообще не любит, когда над головой вместо неба крюки, а под ногами не земля — бетон.

Он пробирался через гул и скрежет, сквозь синие огни сварки к сборочному участку. Вокруг пахло окалиной, горячим железом, машинным маслом.

На стендах возле мощных остовов дизелей двигались люди. Это все молодые ребята в коротких халатиках и в беретах набекрень. Они, скорее, похожи на ученых. Глядя на них, Бабкин ощутил, какое это непростое слово — рабочий. Он не знал, как подступить к занятым ребятам, и выбрал пожилого слесаря, который в сторонке орудовал напильником. Слесарь этот здорово напоминал «опытного седого» Ивана Петрова — такой же маленький и сердитый. Только был он заметно косоплеч, как и все старые слесари, не знавшие машин и вкальвывавшие вручную — кто слева направо, кто справа налево.

— Пашка? — переспросил он Бабкина. — Нету Пашки! Он вроде бы на испытательном.

Откуда-то из железной дыры дизеля, словно чертенок из пекла, вынырнул остренький паренек, похожий на Саныча.

— Нету мокренького на испытательном! — хихикнул он. — Сбежал оттуда сопливенький! Шумно ему показалось! Ищи его у хозмастера! — И паренек опять пропал, как растворился.

Бабкин отыскал владения хозяйственного мастера в углу цеха, под крутой железной лестницей. Тут, возле толстых горячих труб, убегающих куда-то наверх, стояли метлы да лопаты. На ящике с песком сидел в



компании уборщик механик и загибал что-то такое, от чего бабы хохотали навзрыд, приговаривали: «Ой, да ну тебя совсем!»

Они еще трясли плечами, когда механик увидел Бабкина и вскочил. Он обжег ладонь о трубу и, морщась, замахал рукой.

— Где Пашка? — спросил Бабкин, стараясь не глядеть в сторону недруга, но глаза сами по себе сворачивали на ненавистное побледневшее лицо.

Утирая слезы, од-

на из женщин сказала Бабкину:

— На дворе он, Пашка-то.

Другая добавила:

— Он, милый, нашего заводского климата не переносит.

Бабкин сердито поковылял к узкой дверце. Это — черный ход огромного цеха. В широкие парадные ворота врывались на платформе заготовки и уходили собранные, промасленные, закутанные брезентом дизели, черный ход вывел Бабкина на пыльную траву пустыря.

Бабкин увидел гору шлака, а на самой верхушке ее сидел сборщик Павлуня, и спина у него была тощая, грустная. Он смотрел на близкие поля: с кучи они казались ему изумрудными, праздничными. Розово светились крыши теплиц, стояли на пастбище пестрые коровы, жучком бегал по морковке красный шассик, а вдали, у лесной полосы, мощно и высоко била водяная пушка. Даже старая Климовка со своими низкими крышами и утренними задумчивыми дымами ласково манила Павлуню. Он сморщил нос, отвернулся и увидел Бабкина.

— Миш, а Миш,— сказал он, мучась улыбкой,— во-он наше поле...

— Слезай-ка, Пашка,— ласково приказал Бабкин.

Павлуня скатился с горы, встал перед Бабиным, поглотал-поглотал что-то и начал объясняться:

— Я вот все думал, как ты вот теперь один...

— И надумал? — спросил Бабкин. Павлуня кивнул. Звеньевой весело сказал ему: — Ну, пошли заявление писать!

Павлуня глубоко вздохнул, подтянул губы, нахмурил брови и ответил:

— Всегда готовый!

ЗАПАХ ПЕРВОЙ ЧЕРЕМУХИ

Совхозный механизатор должен знать любую технику — от комбайна до велосипеда. Павлуня хоть и не совсем, но перенял у брата часть его жадной страсти к машинам. Он разбирался в них, правда, много хуже Бабкина. Бабкин, завидев новую технику, немедленно устремлялся к ней, Павлуня робко терся сзади.

Вот и теперь, выйдя из проходной завода к мотоциклу, Павлуня сразу же уселся на заднее сиденье.

— Нет уж, ты давай впереди,— предложил ему Бабкин место водителя.

Павлуня пожал слабыми плечами:

— Да я, Миша, не очень ведь...

На это Бабкин серьезно и тихо ответил:

— А я, Пашка, совсем! — и показал на свою ногу.

Павлуня посмотрел, поморгал и наконец сообразил:

— А-а, мне и ни к чему... — Они поменялись местами с Бабиным, Павлуня вывернул мотоцикл на дорогу и успокоил брата: — Ничего, авось совсем до смерти не разобьемся.

Климовская дорога ровная и тихая, ни машины на ней, ни трактора, один Трофим изредка пропылит на своей Варваре. Поэтому Павлуня через каких-то полчаса благополучно довез Бабкина до морковного поля.

Пока Павлуня ехал, ветерок остудил его голову, и возле сторожки он слез с мотоцикла уже не взмыленным мальчишкой, а сурово насупленным взрослым человеком.

— А, Одиссей! — встретил его Боря Байбара, прыгивая с шассика и вытирая руки ветошью. — Как твои странствия? Завершились?

— Ладно тебе уж, — пробормотал Павлуня и прямо с жесткого седла мотоцикла полез на привычное, прижатое по телу сиденье шассика.

Боря Байбара посмеивался.

— Ты, чай, позабыл, где у него руль-то?

— Чай, не забыл! — сощурил глаз Павлуня. Он заученно и легко щелкнул рычагом, отжал педаль, шассик побежал ровно.

Петровны из-под ладоней смотрели ему вслед.

— Помнит, теткин сын, — пробормотал Бабкин и повернулся к Боре: — Раз выручил — выручай в другой: домчи меня в больницу — сил нет.

У директора совхоза до больницы не дошли еще руки, поэтому была она пока маленькая, деревянная, хотя запах в ней стоял настоящий, медицинский. Байбара домчал Бабкина до крылечка, проводил его в приемный покой и, поглядев некоторое время на расплывчатые тени за матовым стеклом, по стеночке выбрался на улицу. В голове у него плыло, от запаха больницы мутило.

А в белом кабинете молча смотрели друг на друга Бабкин и Чижик. Он стоял перед нею, пыльный и неловкий. Она сидела возле тумбочки, опершись на нее локтем. Девушка по жаре была босоногой, мягкие комнатные тапочки стояли под табуреткой. В сверкающей ванночке вместо иголок и шприцев насыпаны тыквенные семечки. Из раскрытого окна в кабинет летели занавески и птичьи голоса.

Когда Бабкин вошел, Чижик не стала прятать семечки, не запихнула ноги в тапочки, не тронулась с места, не кивнула — смотрела на него опухшими, заплаканными глазами.

Железные скулы Бабкина растеклись, крепкие маленькие губы растаяли, весь он сделался вдруг рыхлым и несильным. Вспомнилось Бабкину, как загораживалась от него девушка локтем.

— Не хотел я, — сказал он, прижимая к сердцу соломенную шляпу. — Я, честное слово, Пашку искал.

— Противный, — ответила детским голосом Чижик, — Какой же ты противный! Ненавижу! Брови твои

рыжие ненавижу. Глаза узкие... Нос горбатый... И губы твои...

Тут девушка посмотрела, какие же у Бабкина губы: они были бледные, закушенные.

— Ой! — сказала она, вскакивая. — Ты что, Бабкин?

— Нога, — прошептал он.

— Покажи! — приказала Чижик.

— Да нет, — прятал ногу Бабкин. — Лучше доктор!

— Не рассуждай. Сядь!

Покачивая головой, поцокивая языком, она осматривала покрасневшую ссадину. А Бабкин боялся дохнуть на кудряшки, от которых еще пахло парикмахерской.

Девушка встала, отодвинула семечки, засунула ноги в тапочки и полезла в шкаф. Когда она пошла к Бабкину со шприцем, он поспешно сказал:

— Мне бы порошков каких!

Но понял, что сопротивление бесполезно: ему в глаза смотрела не раскисшая девчонка, а медицинская сестра. И Бабкин, не дрогнув, вытерпел перевязку, храбро принял сыворотку и, подтягивая штаны, спросил, когда можно идти работать — теперь либо после обеда.

— Шустрый какой, — сказала ему девушка и понеслась по коридору, не как обычно, вперевалячку, а озабоченно, стремительно. Халатик, не поспевая, летел за ее быстрыми коленками.

Бабкин подошел к зеркалу. Ему очень не понравился вспотевший мальчишка с полуоткрытым ртом. И, пока не было Татьяны, он привел себя в порядок: пригладил, сколько возможно, сердитые свои волосы, утерся платком, напустил на лицо солидность и независимость.

Но Чижик не обратила внимания на эти перемены. Она положила перед ним синий больничный листок и сказала:

— Через три дня покажешься.

— Я бы с удовольствием, — вздохнул Бабкин. — Но у меня Пашка один, у меня морковь. Ты мне такую мазь, а? Чтобы как рукой!

— До свидания, Бабкин! — сказала девушка. — Иди лечись! Вот тебе на дорожку семечки.

— Спасибо.— Бабкин остановился возле стеклянной двери.

Чижик села у тумбочки, положила на нее локоток, снова стала грустной. Бабкин тихонько притворил за собой дверь.

На скамеечке, под акациями, томился Боря Байбара.

— Ну, как? — спросил он, подымаясь.— Кололи?

— Еще как,— ответил Бабкин, недовольно хрустя больничным листом и запихивая его в карман.

— Ничего,— стал утешать его комсорг.— До свадьбы заживет!

Бабкин вздрогнул и оглянулся на окошко, в котором сидела девушка. Он увидел, как ее подсохшие было глаза снова набухли и потекли.

— Давай! — заторопился Бабкин, подпрыгивая и не попадая в седло.— Поехали!

Едва больница пропала за поворотом, как мотоцикл завилял и остановился: Боря Байбара смеялся, падая на руль.

— Ты чего? — постучал его по спине Бабкин.

— Ничего,— еле передохнул Боря.— А ты знаешь, несчастный, чем все эти смотрины кончились? Сбежала молодая! Он за ней, а она от него. «Не трожь, говорит, меня, видеть тебя не хочу!» Потеха, да и только!

— А ты чего радуешься? — пробормотал Миша.

...Бабкин одиноко сидел на берегу. Небо перед ним расплывалось, туманились дали, криво стояли заводские трубы.

Затахтело по дороге. «Трофим!» — не глядя, узнал Бабкин. Затопали тяжелые, падающие шаги.

— Сидишь? — спросил Трофим, вытягивая рядом с Бабкиным свою деревяшку.— Давай сидеть вместе.

И крепко запахло махрой.

Многое на свете мог старый солдат: и начальство обойти, и деньги на ремонт телятника выцыганить, одного не умел — утешать. А Бабкина жалко — хороший человек, пропадает ни за грош.

— Было бы из-за кого,— сердито сказал Трофим Бабкину.— Таких, как она, тыщи бегают! Еще найдешь, подумаешь.

— Найдешь,— покачал головой Бабкин.— Любовь — разве она валяется, чтобы ее находить?

— Любобы! — разволновался Трофим. — Да мы в твои годы!..

Но тут же притих: вдруг вспомнился ему ни за войной, ни за бедой не позабытый запах первой черемухи, там, возле климовского ручья, за солнечной пасекой...

ВОЗВРАЩЕНИЕ

— Ну? — нетерпеливо спросили бабушки.

Звеньевой молча показал им синенький больничный листок.

— А как же мы? — в один голос испугались Вера Петровна, Надежда Петровна и Любовь Петровна.

Павлуня с высокого сиденья шассика провозгласил:

— Ничего, авось не пропадем! Не в первый раз авось.

Соскучившись по делу, братец не слезал с парного сиденья до тех пор, пока басовито не прогудело за рекой. Из проходных выбежали самые нетерпеливые. Впереди всех неслась на велосипеде тетка. Мост начали разводить, но она, работая в толпе локтями, прорвалась вместе с велосипедом и взобралась на фартук. Поплыла, махая рукой. А над речкой долго еще стоял сварливый крик тех, кого она отпихнула.

— Ловкая, — покачал головой Бабкин.

— Нахалка чертов! — в один голос ответили бабушки.

А Павлуня ничего не сказал. Он быстро забрался в дальний угол сторожки.

Еще сухо дозванивали невидимые жаворонки, а грачи уже возвращались на свою ветлу. Тяжелели травы. Низко над водой поплыл масляный заводской дух.

Братья опять вместе возвращались домой.

Бабкин молчал, а Павлуня заливался соловьем. Он будто оглупел от собственной радости: наконец-то не пужно ему больше думать самому о себе, решать самому за себя — рядом идет Бабкин, а с ним и море по колено, и работа по плечу.

Они ступили на улицу, и тут речь Павлуни стала спотыкаться, угасать. Он тянул ногу и косился на голубое родимое крылечко, над которым топорщилось деревянное крашеное толстое солнце, приколоченное теткой на счастье да на прибыль.

Возле дома остановились. Слышно было, как во дворе тетка тонким, злым голосом за что-то честила пестрого боровка. Павлуня загнанно посмотрел на Бабкина.

— Ну-ну! — нахмурился Бабкин. — Смелей.

— Да я ничего. Только она уж... На всю улицу ведь... Можно, я с тобой лучше?

— Пойдем! — с охотой согласился звеньевой.

Они добрались до Лешачихино двора. Бабкин привычно повернул кольцо у калитки, они вошли.

— Ой ты! — испугался братец, останавливаясь у порога.

На крыльце, на высоких ступеньках, отбивался ногой от Жучки маленький пыльный паренек с острой мордочкой.

Бабкин оттащил собаку, привязал ее к новой будке, недавно сколоченной, и тогда паренек, спрыгнув с крыльца, набросился на него:

— Смеешься, да? Веселишься, да?

— Здравствуй! — протянул ему руку Бабкин. — А мать тебя заждалась.

Паренек цепко ухватил было дружелюбную ладонь, но тут же оттолкнул ее и зашипел, показывая острые белые зубки:

— Посадили, да? Загубили? Ну, погоди, теткин племянник! Я с тобой за твою тетку рассчитаюсь! И с тобой, и с тобой тоже, теткин сын! Чертов Павлуня.

— Молчи уж, — сказал Павлуня. — Не то Жучку отвяжу.

Паренек, опасливо отодвигаясь, проговорил быстрым голосом:

— Трое на одного, да? Справились? — Замахнулся на собачонку: — И ты тоже? Зря я тебя притащил!

Он сразу обиделся и уселся на крылечке, посматривая на братьев живыми, черными глазками. Над узким лбом наискосок нависала челочка, ушки оттопыривались.

В калитку тяжело вбежала Лешачиха.

— Здравствуй! — сказала она торжественно, подступая к сыну. — С возвращением!

— Ма-а, — протянул Женька, поднимаясь и роняя с колен грязную кепку.

Лешачиха сгребла его в охапку, прижала к тощей груди. Он, как щенок, тыкался носом и бормотал:

— Да ладно тебе, пусти-ка... Мне бы поесть... картошечки...

Так ясным летним вечером возвратился к матери он.

Под яблоню притащили стол, свет из окон падал на белую, яркую скатерть, на молодое лицо Лешачихи. Толклись и гудели зеленые незлобивые комарики. Угрюмо, недоверчиво посматривал Женька и на братьев, и на Жучку, и на комариков.

Лешачиха, отозвав Бабкина, шепнула ему:

— Спроси, может он искупаться хочет?

— А то нет? А то не хочу? — взъерошенно откликнулся он. — Думаешь, сутки трястись приятно? На верхней полке!

Бабкин взял мыло, полотенце, чистое белье и сказал:

— Пошли на пруд, отмывать тебя будем!

Ворча и обижаясь, Женька побрел за братьями.

Лешачиха заторопилась с ужином.

Забухали шаги. Мощно размахнув калитку, во двор не вошла — ворвалась тетка.

— Пашка! — закричала она с порога. — Вылазы! Все равно найду! Не помилюю!

Жучка забилась в конуру и носа не показывала, пока гостя бушевала во дворе. Тетка, окинув взором стол, криво усмехнулась.

— Приваживаешь работников? Хи-итрая. Только Пашку ты зря сманиваешь: от него никакого толку, сама мучаюсь.

— Праздник у меня, — тихо отвечала Лешачиха, посветлевшая лицом. — И ты, немилая моя подружка, оставь-ка хулу да садись к столу.

— Ишь ты, Настя-сочинитель! — сердито удивилась тетка и выкатилась за ворота.

Она села на скамейку, перед этим покачав доску руками — не подгнила ли? Но столбы крепко врыты, доска, тоже новая, не качалась. Тетка внимательно посмотрела на свежие латки в старом заборе, на весело покрашенные наличники и, распознав легкую руку Бабкина, вздохнула.

От калитки, посвечивая, убегала в сумерки чистая тропинка. Она ныряла в лютики да в одуванчики, мелкая кашка мигала по краям ее, над ней перехлестыва-

лись высокие, ясные травы. По этой тропинке ушел ее Павлуня.

Тетка, уперев взор в свои галоши, надетые на босу ногу, расслабленно слушала. Во дворе Лешачиха ласково разговаривала с Жучкой. На пруду кричали ребята, и громче, беззаботнее всех звенел голос Павлуни.

— Расшумелся, будто получку большую получил,— пробормотала удивленная тетка и поджала губы.

Вот от пруда пошли гуськом по тропинке — босые, лапчатые, утираясь по-мальчишески майками, — Боря Байбара, Женька, Бабкин. Павлуня брел последним с улыбкой на ясном лице. Узнав мать, он опал и съежился.

— А вот я опять здесь... — начал Павлуня, и ему вдруг захотелось поведать матери о том, как страшно приходиться в чужой непонятный цех. Ему захотелось растолковать ей, что человеку не нужно ни больших денег, ни громкой славы, а только было бы над головой пусть серенькое, но зато свое, родимое небо. Ему захотелось объяснить, что завод, пусть и самый хороший на свете, но не для него. Там шум и пахнет железом, а он любит, когда пахнет землей — хоть и самой сухой, хоть и мокрой.

Но ничего путного не мог выдать из себя Павлуня, только переминался с ноги на ногу да жалобно глядел на мать.

— Эх, ты! — горько сказала тетка и уже махнула рукой, чтобы влить в бесталанному сыну привычно звонкий подзатыльник, но тут ладонь ее размякла и упала на колени.

Павлуня подождал да и пошел на Лешачихин двор, втянув голову в плечи.

Тетка осталась совсем одна под луной, спешить ей было некуда. Во дворе у нее хозяйничали дачники и за рубль в сутки брали от жизни все: купались, загорали, ходили по совхозу в плавках, танцевали всю ночь при луне и не давали покоя ни тетке, ни ее пестрому боровку, который худел на глазах и смотрел тоскливо.

Когда мягко, без скрипов и жалоб, растворилась промазанная калитка и праздничная, подобранная Лешачиха еще раз пригласила тетку к столу, та с досадой ответила:

— Дайте человеку отдохнуть в тишине!

...Перебивая друг друга, ребята спорили, куда же определить Женьку.

— Слушай, давай к нам, а? — теребил его Павлуня. — Будем вместе морковку выращивать! У нас звено!

— Да ну вас с вашей морковкой, с вашим звеном и со всем вашим совхозом! — махнул рукой Женька и полез на сеновал.

— Зачем же ты так? — сокрушенно сказала ему вслед Лешачиха. — Разве тебя там ничему не научили? — Она произнесла теперь с особым выражением суровое и дальнее слово «там».

За столом наступила тишина. Женька слушал, как за рекой, на испытательном стенде, горячо и убедительно гудит мощный дизель. «Может, в завод податься? — сонно подумал он и натянул одеяло на голову. — Ну его к бесу, этот завод! Ну ее к бесу, работу! Отдохнуть надо!»

— Павлуня, домой! — услышал он теткин голос.

«У, злодейка!» — Женьке захотелось разозлиться на тетку, но злость не получалась.

— Домой, Пашка! Хуже будет! Домой!

Женька сладко поежился, засыпая: «Дома...»

Когда Бабкин и Лешачиха остались одни перед остывшим самоваром, звеньевой поднял на хозяйку глаза, чтобы сразу и окончательно решить вопрос, когда ему убираться в общежитие. Мудрая Лешачиха разгадала Мишкину муку.

— Никогда, понял?

— Но ведь он вернулся, — кивнул Бабкин на сеновал.

Долгим взглядом посмотрела на него Настасья Петровна:

— Один сын прибавит морщин, двое сыновей — больше слез у матерей... Ложись и спи спокойно.

НАКАНУНЕ

Утром, как Женька ни брыкался, мать растолкала его, умыла и повела к директору. Всю дорогу он недовольно ворчал:

— Ну чего, чего идешь за мной! Я пути не знаю, да? Я что, ребеночек?

— Опора ты моя стальная,— потянулась мать поправить узластый галстук на его тонкой шее.

— Отлипни! — приказал Женька, ныряя в теннисную аллею. Он торопился, вострый, узкоплечий, а ей сквозь туман чудилась в нем королевская походка да богатырская стать.

Женька подскочил к двери, с трудом оттянул обеими руками тугую пружину, прошмыгнул.

Лешачиха почувствовала, что сильно устала. Но возле конторы скамеек не было: Ефим Борисович приказал их не ставить, дабы народ не рассиживался в горячее рабочее время. Лешачиха сломленно опустилась на траву и засмолила успокоительную ядреную папиросину.

Женька шел по конторе. Там стыла тишина. Ефим Борисович не любил, когда агрономы и зоотехники сидели по кабинетам. Люди на рабочих местах — кто в поле, кто на ферме, кто на пастбище. Бухгалтерия — на прополке капусты, даже личная секретарша — на свекле. Только у рации дежурит диспетчер, да сам директор, забежав на минутку, подписывает какую-то срочную бумагу.

Перед кабинетом Ефима Борисовича Женька быстро привел себя в порядок, а когда вошел, директор с любопытством уставился на него: мальчишка стоял разлохмаченный, словно ранний кочан, до пупка распахнуты и куртка, и рубаша, печально торчала из петли галстука сиротская шея. «Ну?! — как бы спрашивал весь его вид. — Мораль мне читать? Вальяйте!»

— Сядь! — сказал Ефим Борисович. — И застегнись — не на пляже.

Женька стоял, а директор ждал в кресле, постукивая карандашом по столу. Наконец мальчишка сел — колючий и прямой, как гвоздь, на самый краешек стула. Скосил глаза на директора: у-у, как растолстел! Щеки налитые. И лысый совсем, как яйцо. И три волосинки ишь как закрутил!

— Ты чего смеешься? — хмурился директор.

Женька сразу обиделся:

— А что, уж и смеяться нельзя? Ладно, можем и заткнуться!

— Послушай, чего ты хочешь? — спросил его директор. — Я тебя звал? Зачем ты ко мне пришел?

Женька подумал, почесал затылок и сказал нерешительно:

— Насчет работы я...

— Ну вот это другой разговор! Значит, ты хочешь у нас работать? А куда желаешь?

Женька дернул плечом.

— В звено к Бабкину пойдешь?

Женька опять дрыгнул узким плечом:

— Все равно!

Ему и впрямь было все одно: что землю пахать, что сапоги тачать. Ни то, ни другое, ни какое третье дело не выбрало пока легкое Женькино сердце. И директор понял это.

— Ладно,— сказал он.— Иди в отдел кадров.

Женька вскочил и пошел едва не посвистывая от собственной молодости да беззаботности. Директор грустно смотрел ему вслед.

В коридоре Женька получше застегнулся и пригладил вихры. Возле конторы Лешачиха метнулась навстречу:

— Ну, как?!

Женька тронул галстук, кашлянул.

— Нормально,— сказал он усталым голосом.— Что он без меня сделает? Людей-то у Ефима не густо! Каждый на вес золота!

— Золото ты мое,— вздохнула Лешачиха.

Женька выпятил нижнюю губу.

— Пойду, пожалуй,— небрежно проговорил он.— Погляжу на это звено.

Бабкин приветливо встретил его в поле. Женька со знанием дела осмотрелся. Щит с обязательствами несколько облупился, буквы на нем выгорели, зато морковь славно зеленела и кудрявилась. Женька сразу выдернул десяток желтых хвостиков, обтрепал землю о штаны, захрупал мелко, как кролик.

— Сладенькая! — удивился он. Женька с детства любил сладкое. В школе, на улице постоянно грыз карамельки, поэтому, наверно, и не вырос.

— Через недельку будем дергать на пучок,— сказал Бабкин.

— А чего ждать-то! — размахнулся Женька.— Давай сейчас и начнем. Раз-два — и готово! Или завтра, а?

— Нет,— разумно проговорил Бабкин.— Завтра нельзя. Завтра мы все на хлеб.

Женька нахмурился.

— Не хочу на хлеб! Я сюда нанимался, к тебе! Тут у тебя и речка, и девки загорают! Зачем мне твой хлеб!

Молчаливо смотрел на него Бабкин. Подошли климовские бабушки и тоже уставились голубенькими, как лен, глазками. Сердито шевеля губами, собирався что-то сказать Павлуня. И тогда Женька, опережая всех, зашумел:

— Я на морковку оформился! А вы меня на зерно, да? Плевать я хотел на ваше зерно!

— Ну чего расшумелся? — примирительно сказал Бабкин и отвернулся от Женьки.— Не хочешь — не надо. Мы тебя не зовем. А нам некогда: хлеб, он не ждет.

Хлеб не ждал. Он вымахал уже по грудь директору, и Ефим Борисович, ныряя в колосьях, растирал их на ладони, озабоченно брал на зуб. В тревоге агрономы: не прозевать бы. Похудевший Боря Байбара заранее приклеивает на персональном комбайне широкий плакат собственного сочинения: «Убирая зерно золотое, ни минуты, товарищ, простоя!»

Машины хвалятся высокими вымытыми кузовами. В баках по самую горловину налито горючее. Молодой и сноровистый районный газетчик разгонисто строчит в блокноте: «Завтра бой!»

В такие дни людям некогда болеть, и в коридоре совхозной больницы с утра ни шепота, ни кашля. В палате все семь коек аккуратно заправлены.

Совсем не время отлеживаться и Бабкину. Он решил впрок запастись какой-нибудь мазью для своей больной ноги, которую в неумной работе здорово растер и намял. Бабкин смело проковылял мимо пальм в коридоре, а возле знакомой двери затомился и заскучал. За матовым стеклом тишина. Бабкин вытер пот и постучался.

— Да! — откликнулся милый голос.

Бабкин открыл дверь. Запахло гуталином. На табуретке, спиной к нему, сидел больной. Начищенные туфли его блестели. Чижик, не обращая внимания на больного, собирала в чемоданчик бинты и вату — она тоже готовилась к уборочной.

— Ну чего ты от меня бегаешь? — качнулся больной.

Бабкин по голосу, а больше по волосу узнал механика и закаменел лицом и телом.

Обернувшись на стук двери, механик радостно вскочил.

— Это ты! — закричал он, хватая Бабкина за руку. — Вот здорово! Вот кстати! Помоги! Я, честно говоря, не знаю, Бабкин, чем ее прогневил! Я же перед ней чист, как стеклышко, — пылинку видно! — Он встал перед окном, укоризненно посмотрел на девушку. — А ты «уходи»...

— Уходи, — тихо сказала она. — Совсем уходи.

Механик посмотрел ей в глаза и, пожав плечами, направился к двери. Тихо жаловались его туфли. Берясь за дверную ручку, он сердито спросил:

— Но почему?!

— Ох, мама... — досадливо поморщилась она, и механик выскочил в коридор. Долго за дверью стояла тишь, потом еще дольше слышался затихающий кожаный скрип, потом хлопнуло.

— Вот и все, — вздохнула девушка, отряхивая ладони. — И вся любовь!

В ее глазах застыло недоумение. Бабкин шевельнулся.

— Это я? — неуверенно спросил он. — Я виноват?

— Ты? — Чижик покачала головой. — При чем тут ты? Ты зачем, собственно, явился? — Брови ее сдвинулись. — Больничный тебе продлить, что ли? Давай устрою, по знакомству!

Она брезгливо усмехнулась. Бабкина скривило.

— Эх, ты! — задохнулся он и стал шарить по карманам. Посыпались на пол гайки, наконец Бабкин нашарил смятый, заляпанный синенький листочек. — Вот твой больничный! — И разодрал его в клочки. — Ты мне нужна, а не твой больничный, балда!

Бабкин выкрикнул все это одним духом и так хлопнул за собой дверь, что с минуту звенела в шкафу какая-то пугливая медицинская склянка.

Бабкин доковылял до Лешачихино дома. Он не чувствовал ни тепла, ни холода, даже боль в ноге доходила до сознания тупо и приглушенно. Открывая калитку, он хотел одного: чтобы во дворе было пусто.

Во дворе было полно народа. Вокруг стояли Боря

Байбара, Павлуня, Лешачиха и Жучка. В середине, на табуретке, высился, словно монумент, Женька. Он в новой куртке, рассеченной вдоль и поперек «молниями», в шортах, в огромных темных очках. Лешачиха, взяв на сегодня отгул, готовила сына к завтрашнему трудовому дню.

Одежда была заметно велика, богатырская куртка спадала с ребячьих плеч, но мать будто не видела этого и озабоченно спрашивала каждого:

— Не маловата, как думаешь?

Увидев Бабкина, Настасья Петровна повернулась к нему:

— Дождалась,— сказала она, поднимая сухой палец.— Дожила я до светлого дня!

ТИТ ИДЕТ МОЛОТИТЬ

На заре ласковая мать разбудила Женьку.

— Вставай, ясный сокол, пора.

Женька приподнял голову. Окна только-только синевато теплились. На столе ожидал завтрак. Над столом висел календарь с красным числом.

«У всех выходной, да, а у меня работа!» — по привычке обиделся Женька на весь свет, однако к лепешкам подсел — прямо с кровати, не ополоснув лица. Чистоплотной Лешачихе это не понравилось, и она прогнала его умываться, чем вызвала новую порцию ворчания.

Торжественные, праздничные возвышались над столом Настасья Петровна и Бабкин. Звеньевой был в чистом комбинезоне, Лешачиха — в светлом платье. Даже мокрая от росы Жучка казалась умытой и причесанной.

В калитку робко стукнули.

— Здравствуйте! — остановился на пороге наглаженный Павлуня, комкая в руках новую кепку.

— Садись,— приветливо сказала Лешачиха.— Садись рядом с моим.

— Нет уж, не сяду с теткин сыном! — быстро отозвался Женька.

Завтракали молча, а потом Женька сказал:

— Вы, люди, идите, я догоню.

— Ты недолго,— предупредила Лешачиха.

Женька остался один со своими обидами. После сды ему захотелось пить, с питья потянуло в сон. Все еще ворча на кого-то, Женька подошел к постели и, постояв над ней в самом малом раздумье, сердито завалился. Жучка взбrehнула.

— Ты еще тут! — крикнул Женька. — Уж и лежать нельзя, да? Брысь, теткина скотина!

Когда Женька проснулся, солнце уже четко пропечатаало на ковре всю оконную раму. Женька вскочил.

— Разбудить не могли, да? — разозлился он. — Ну и ладно! Обойдусь без вас!

Он вышел за калитку. Посмотрел направо, посмотрел налево. Вокруг было пыльно и пусто, только с реки доносились голоса. Женька постоял, подумал и подался купаться.

Речка встретила его рокотом движка, который дымил на понтоне. Сам моторист Саныч стоял далеко на дороге и к чему-то напряженно прислушивался.

— Самолет? — задрал голову Женька. Над ним плыли вольные облака.

— Машина, — вздохнул Саныч. — Весь народ теперь там. — Он стал заглядывать в Женькины зрачки. — Жень, а Жень! Побудь за меня, а? Я мигом обернусь.

Женька замахал руками:

— Я к тебе нанялся, да? Я тебе рыжий? Я, что ли, разве рябой?

— Ты хуже! — убежденно сказал Саныч и стал отступать к понтону.

Женька нахраписто лез на него. Говорить он уже не мог, а только клекотал, как беркут, набивший клюв волчьей шерстью.

— Излуплю! — наконец продохнул он.

Саныч убежал от него за дизель, а Женька, назло всем, забрался в парную воду, стал там шуметь и плескаться. Он представил себе, как на крутой берег выбежит Бабкин, или нет, лучше Павлуня, и начнет бабьим голосом стыдить и обзывать. «У меня право на отдых есть? Для меня разве Конституция не писана?» — врезал бы ему Женька.

Но приходили все чужие и гуляющие. Они сразу кидались в воду, чтобы, насидевшись в ней до синего озноба, греться потом на берегу, на бумажках да окурках.

Женьке стало скучно. Он оделся и побрел к Санычу, который уже выключил движок. Саныч убежал от него на дорогу.

— Не трону,— лениво сказал ему Женька.— Подожди, что ли. Одному плохо мне.

— Псих-одиночка! — сердитым высоким голосом вскричал Саныч, и Женька, мигом распаляясь, тоже завопил:

— На коленки перед вами, да? Не жирно ли будет? Сиди тут один, а я на уборку пойду!

— Тит, иди молотить! — ехидно откликнулся Саныч.

Женька не погнался за ним, он только потряс кулаком и двинулся к лесной полосе, за которой явственно гудели моторы.

Солнце кусалось. Дорога была горячей сковородки. На Мишином поле подсолнухами торчали головы мальчишек. Увидев сердитого Женьку, они, как воробы, прыснули к реке, поддерживая на животе набитые морковкой майки.

— Небось пионеры, да? — закричал Женька. Он немножко побегал за мальчишками, успокоился и зашагал по дороге, норовя наступить на голову собственной тени. Опомнился возле лесной полосы. На него бросали редкую тень омытые дождевалкой березы. Женька полез через крапиву туда, где сквозь заросли светилось высокое золотое поле. На нем рокотали моторы.

Женька продрался сквозь кусты и остановился. Ослепительное рыжее поле расстилалось перед ним далеко и широко. Оно было залито солнцем, над ним млело томительно-голубое небо с белыми кипящими облаками.

Женька заморгал, зажмурился, а потом стал осторожно, бочком, пробираться по стерне в самый жар, в самую работу, туда, где, покачиваясь, плыли красные самоходки. Четко крутились их мотовила, поблескивая лопастями, подбивая под ножи колосья. Комбайны были похожи на диковинные корабли с толстой трубой-пушкой на боку. Они шли развернутым строем — один чуть сбоку и позади другого, захватывая широкую полосу хлебов и оставляя позади себя ровные копешки соломы. Одна за другой подваливали к

боку комбайнов высокобортные машины, пристраивались рядом и принимали зерно.

Комбайны надвигались на Женьку. Он видел, как бьется в мотовилах острая, блестящая пыль, слышал, как трещит солома.

Мимо проплывали на высоком капитанском мостике такие гордые Бабкин с Павлуней, что Женька не вынес. Он побежал следом за комбайном, выкрикивая:

— А я виноват, да? Сами не разбудили!

Проплыл на персональном комбайне Боря Байбара. Вместе с ним на мостике, вцепившись в перила, стоял невесть как сюда поспевший Саныч — лозинка в синей маечке. Он показал сверху Женьке язык — острый и злой.

— А я! — закричал несчастный Женька, карабкаясь на комбайн к Бабкину.

Бабкин притормозил. Женька, жмурясь от летевшей в глаза колючей пыли, шумел:

— Убежали, да? Позабыли, позабросили человека!

Бабкин, стряхивая со лба пот вперемешку с соломенной пылью, разлепил серые губы.

— За водой сгонял бы, а то сейчас некому.

— А думаешь, не сгоняю? — обрадовался Женька, поспешно скатываясь с комбайна и бросаясь к своей кобылке на обочине. Теперь у него было дело, занявшее и руки, и язык. Руки суматошно отвязывали кобылку, язык бездумно молотил. — Застоялась, да? Ничего, теперь мы поедem, теперь понесемся!

Кобылка тронулась, бочка легонько загремела. Женька ожег лошадь вожжами:

— Что ты, кляча, мышей не ловишь!

Бочка загремела повеселей.

По дороге на полевой стан Женька нагнал Павлунину мать. Проклятая тетка была одета в рваную кофтенку, мужские брюки засунуты в сапоги, на голове, низко на бровях — платок.

— Хороша, — усмехнулся Женька, тормозя кобылку. — Ты, часом, не побираться?

— Так ведь уборка, — смиренно ответила тетка. — Подвез бы? Все ноги отколотила.

Тетка умела просить. Женька помнит, как она выклянчила у него тот чертов комбикорм — ни дна ему ни покрышки! Как всучила за это паршивую Жучку —

собачонку вредную и к хозяину непочтительную. Да еще и напоила! Да и посадила!

«Зато я тебя не посажу!» — решил Женька.

— Лошадь не тянет! — ответил он тетке.

Тетка не разозлилась, не закричала, а только сиротливо сказала:

— Все меня гоняют...

— Бедная! — в тон ей поддакнул Женька. — Так тебе и надо! Садись! Чтоб ты лопнула!

Они поехали, и скоро в знойной дрожи возникли навесы на столбах, белые печи, цистерны, машины.

Девчата из школьной бригады готовились везти в поле обед. Они заворачивали в чистую бумагу хлеб, ложки. Повариха помешивала черпаком в котле. Подле нее горбилась на коленках Лешачиха, усердно раздувая огонь.

Женька, не показываясь на глаза матери, вырулил сивую кобылку прямо к воде.

Тетка неуверенно приблизилась к Лешачихе и спросила:

— Мне дело какое найдется?

Настасья Петровна поднялась с колен, посмотрела и сказала:

— А у нас сегодня праздник.

— Да-а, — ответила тетка, пряча драные локти, — замараешься, — земля все-таки.

— Землей не замараешься, — сказала Настасья Петровна. Еще раз поглядела на теткин наряд и усмехнулась: — В каких таких дворцах ты выросла?

— Здесь я выросла! — своим всегдашним крикливым голосом ответила тетка. — И помогать я пришла! Совсем бесплатно!

— Спасибо тебе, — насмешливо поклонилась Лешачиха. — За все твои бесплатные дела низкий поклон.

Тетка замахала было руками, но повариха сказала:

— Помогай-ка. Только сперва я тебя одену. Пошли!

Она обрядила тетку в привычную для нее столовскую одежду, и на глазах у всех та превратилась вдруг в красивую, ладную женщину. Только из-под белого халата торчали ржавые солдатские сапоги.

— Дайте Золушке хрустальные туфельки! — не утерпела Лешачиха.

Нашли, однако, тапочки, тетка сунула в них ноги и уверенно встала к плите.

Тем временем Женька налил воду в бочку, сам накачался до веселого бульканья в животе и погнал сивку по жару.

...Вечером Лешачиха вышла на дорогу встречать его. На обочине стояла круглая девушка и тоже смотрела в ту же сторону, откуда должна приехать смена комбайнеров.

— Не видать? — сощурила Лешачиха зоркие глаза. Чижик смутилась.

— Я никого не жду, — тихо сказала она.

Они сели за длинный стол. Загорелись фонари на столбах. Тетка явилась со стопкой мисок и начала ловко метать их по выскобленным доскам стола, по полированным сучкам. С веселым стуком легли ложки, на места встали солонки.

— А ловкая ты! — невольно залюбовалась Лешачиха.

— А ты думала! — откликнулась тетка. — Я и косила не хуже тебя! — Тетка скрестила на груди выбеленные водой руки: — Готово! Запускайте народ!

Вдали задымилась дорога.

— Едут! — вскочили девчонки из школьной бригады.

— Едут. — Лешачиха посмотрела на Татьяну и торопливо стала запихивать под платок седые космы.

Подкатила одинокая телега. На пустой бочке, неловко вытянув ногу, сидел Бабкин.

Он сполз с бочки и опустился тут же, возле копыт сивой кобылки.

— Водички бы...

Лешачиха подала ему запотевшую кружку, Бабкин выпил, отвалился на солому. Небо плыло, колыбалось над ним, в ушах рокотало.

Чижик присела рядом.

— Я тебя сегодня ждала, — сказала она, и Бабкин затаил дух. — Я хотела тебе сказать... Ну, я, наверно, и вправду балда... Ты на меня не обижайся, а?

Бабкин крепко зажмурился, и тотчас над ним прошелестело легкое, как вздох.

— Спишь?

— Нет, — ответил Бабкин. Видно, за день в глаза налетела колкая пыль: она щипала, резала, выжимала слезу.

Чижик охнула и зазвенела своими ядовито-паху-

чими склянками. Бабкин поспешно сел и забеспокоился:

— Ничего мне не надо! Все прошло!

— Да ведь нога у тебя! Ох, какая же я!..

Бабкин заглянул в милые, такие испуганные глаза и, отворачиваясь, закричал:

— Настасья Петровна! Тетя! Да налейте вы ей скорее борща! самого жирного!

Счастливый Бабкин сам есть не стал, он лежал и слушал, как гремели миски, как отбивалась Чижики:

— Да куда мне столько! Я и так толстая!

Лешачиха в ответ напевала:

— Ты пухленькая, ты беленькая, вот и посуда тебе не меленькая.

Все засмеялись, улыбнулся и Бабкин. Потом на него, покачиваясь, стало наплывать солнечное поле. Летела из-под мотовила соломенная сверкающая пыль, шуршало зерно, падая в высокий кузов машины.

По шагам, по дыханию Бабкин понял: подошла Лешачиха и стоит над ним в нерешительности. Не открывая глаз, он весело сказал:

— Женька молодец, он на комбайне. Вместе с Пашкой. Я ему свои очки отдал.

Лешачиха задышала, потом ломко выговорила:

— Миша, давай, пожалуй, пустим к себе студентов? Места у нас много, а народ они хороший...

ПРАЗДНИК

Из дальних мест так не ждала сына Лешачиха, как ждала его в этот вечер. Выходила на дорогу, всматривалась. А в поле мигали, дрожали и двигались большие и малые огни, жили моторы. Слушая этот гул, мать представляла себе, как появится сейчас ее он. Какой придет Женька, она не знала, но то, что он будет особенным — в этом Настасья Петровна не сомневалась. Она верила, что он, в своих шортах и «молниях», явится ни на кого не похожий, он скажет ей светлые, красивые слова.

Дорога загудела: ехала смена. Слишком ярко горели фонари, и Лешачиха убежала в тень. Сердце ее не унималось.

Подкатила машина, и сразу с нее стали прыгать

парни в одинаковых комбинезонах. Они говорили громко, оглушенные за день моторами. Толкаясь и торопясь, совали ладони под краны, фыркали, потом с грохотом сели к столу: и свои, совхозные, и заводские шефы, но все одинаково незнакомые ей.

В наступившей тишине слышался частый стук ложек. Лешачиха напрасно вертела головой, отыскивая Женьку, — она не видела его среди этих пропыленных и пахнущих машинами ребят.

Один из них поднял голову и засмеялся:

— Ма, это же я!

— Он! — только и сказала Настасья Петровна.

— Садись с нами! — похлопал Женька по лавке.

Сердце ее наполнила горячая кровь.

Речистая Лешачиха ответила:

— Ладно уж... Я уж тут уж...

И смотрела, смотрела, отойдя в сторонку, на своего Женьку. Был он хоть и без куртки, и без «молний», в чем-то стареньком, не по росту комбинезоне, а все равно лучше всех.

Разделавшись с ужином, смена завалилась в сладкую соломенную постель под звездное одеяло. Лешачиха сидела над сыном, отгоняя веткой комаров. Но комаров было много, и сыновей много, поэтому матери пришлось неустанно ходить над ними, обмахивая всех, оберегая их сон.

Сон прокатился короткий и крепкий. На рассвете прибыла новая смена, такая же оглушенная, чумазая, шумная. Не успела мать оглянуться, как Женька вскочил в машину и уехал. Лешачиха на крыльях полетела на ферму.

Через неделю поле опустело. Остались стоять по жнивью, словно золотые избы, теплые скирды.

В клубе собрались победители. Лица их опалены, брови выгорели, рубахи выглажены. Они дули пиво в буфете, курили на крыльце. И вместе со всеми так же важно тянул пиво Женька. Настасья Петровна в новой кофте растерянно бродила по клубу и, опасаясь подойти к нему, молча гордилась издали.

Загремели звонки, все повалили в зал. Захлопали стульями, уселись, замолчали, разглядывая сцену, красное сукно и на нем — каравай. Он возвышался на расписном блюде, поджаристый, хрустящий, огромный.

— Вон он,— осевшим голосом сказал в зале Трофим,— вот он, хлебушек наш.

— Наш! — живо ответил ему Женька. — Общий!

— Товарищи! — взбежал на сцену парторг Семен Федорович. — Предлагаю избрать в президиум тех товарищей, которые своим трудом куют славу родного совхоза! — Все захлопали, а когда установилась тишина, секретарь продолжил: — Так попросим же сюда, к этому караваю, лучших наших механизаторов!

Зал колыхнулся и затих. Семен Федорович пошуршал бумажкой и зычно стал читать, делая значительную остановку после каждой фамилии:

— Авданин... Авдеев...

Смущенно покашливая в кулак, ссутулив плечи, пошли на сцену совхозные парни.

— Бабкин! — громко произнес парторг.

Кто-то засмеялся:

— Это который?

— Это наш! — тут же отрезал Трофим. — Климовский! Иди, звеньевой!

— Двигай, Миша! Вали! — спешил показаться народу Женька. — А то сам пойду! — И он захлопал что было сил.

Люди подхватили. Бабкина выпихнули в проход, и он, сердитый, пошел на сцену, глядя под ноги.

Женька вертелся, толкался, ему было тесно и жарко в просторном зале, где справа сидел Павлуня, слева — Боря Байбара, а впереди и сзади — все свои, свои.

Когда стали давать премии, Женька отхлопал все ладони, чтобы только не сидеть без движения. И Павлуня отхватил грамоту. Женька закричал:

— Бери ее, Пашка! На стеночку ее, в рамочку!

Закручивая грамоту, Павлуня деревянно и кособоко побрел на место. Багровые огни плясали по его щекам.

— А другим премии, — шепотом просвистела тетка.

Павлуня на ровном заплелся ногами, погремел в проход, ломая грамоту. Женька захохотал.

— Эй, листок подбери! — крикнул он не со зла, не по глупости, а просто, чтобы все его услышали.

И в тот же миг тетка ядовито отбрила:

— А у тебя и такой нету, тюремщик!

Вокруг зашумели. Женька вскочил, побежал к выходу.

— Куда, куда! — встал на сцене Ефим Борисович. — Мы еще не все сказали, сядь! Да подержите его кто-нибудь!

Женьку схватили, притянули к сиденью — из железных лап трактористов не вырваться. Секретарь парткома прочитал:

— «Партком, дирекция, рабочий комитет, комитет ВЛКСМ, отмечая хорошую работу товарищей, объявляют благодарность...»

И тут Женька, не ожидавший уже от жизни ничего путного, услышал свою фамилию! Он начал медленно подниматься, открывать рот, но его опять усадили. Тогда, развалясь, он стал расслабленно шуриться на красное сукно, на каравай. В голове пошли малиновые звоны. Воровато поведя глазами, Женька увидел расплывающееся лицо матери и совсем размяк.

В перерыве Женька томно слонялся по клубу, испытывая непонятное желание: спрятаться от людей и остаться наедине со своими мыслями. А народ путался под ногами, шумел, плясал под оркестр, шелкал бильярдными шарами.

Женька толкнулся в дверь.

Праздник широко разгуливался по совхозу. Светились окна, вопил пьяную песню Иван Петров, заслуженно отдыхали люди, чтобы с зарей снова выйти в поле.

Женька забрел в Климовку — здесь было потише. Молчали и не шумели телевизионными голосами раскрытые окна домов. «Спят старушки», — успокоился он, усаживаясь под окошком Веры Петровны. Над сплетенными кронами тополей размахнулось светлое, в частую золотую крапинку летнее небо. Поглядывая на него, Женька стал баюкать и лелеять свою неожиданную радость. «Как это парторг сказал? — медленно перебирал он в памяти. — «За хорошую работу объявить благодарность...» Женька закрыл глаза: да, приятно. И не то хорошо, что благодарность, а то замечательно, что все слышали, особенно тетка проклятая!

— «Ромашки сорваны, завяли лютики», — послышалась песня. Это из клуба возвращались три сестрицы из звена Бабкина.

Женька вскочил — даже в Климовке не осталось тишины! Куда податься?

Женька посмотрел на берег: там мотался хвостатый рыжий костер. Возле него мелькали тени. И Женьке вдруг так захотелось к людям, что он тут же побежал к ним — напрямик, не разбирая дороги. Колоски подорожника свистели по его ногам, следом дымились лопухи.

Он разыскал Бабкина и Павлуню. Братья сидели сычами и смотрели, как у костра танцует с ребятами Чижик.

— Толстая, а прыткая! — сказал Женька, бросаясь рядом с Бабиным на траву.

Никто ему не ответил. Братья любовались девушкой, не осмеливаясь появиться перед ней в резком, прыгающем свете костра.

Зато не сиделось Женьке. Он подскочил к Татьяне, схватил ее за руку и молча повел куда-то.

— Куда ты? — взмолилась девушка, но Женька напористо подпихивал ее к тому месту, где сидели Бабкин с Павлуней.

Оба вскочили перед Татьяной. Устало отдуваясь, Женька сказал ворчливо:

— Гулять за вас я буду, да? Провожаться, что ли, мне идти?

Девушка засмеялась. Бабкин посмотрел на Павлуню и не увидел, а почувствовал его просящий взгляд.

— Холодно, — поежилась Чижик. — Домой пора.

Она пошла берегом, белея в темноте кофточкой. Бабкин провожал ее отчаянным взглядом.

— Ой, мама! — вздохнул Женька.

Бабкин обернулся к брату:

— Пашка! Ты тут посиди. Я пойду.

Павлуня не ответил. Бабкин махнул рукой и пустился догонять девушку. С минуту было видно, как они рядом шли берегом реки, потом только едва белела во тьме ее кофточка.

— А я? — тихо выговорил Павлуня, глядя на это пятнышко. — Я как же?

— Найдем и тебе! — беспечно отозвался Женька. — Мало ли толстых на свете!

Он завалился носом к кузнечикам, стал слушать их. Но Павлуня мешал ему: все сопел и хлюпал над головой.

— Помереть спокойно не дадут! — проворчал Женька.

Поднялся и пошагал домой. Он услышал за спиной торопливые шаги. Оглянулся: его нагонял Павлуня.

— Ну чего тебе?

— С тобой, — забормотал братец. — Одному плохо...

— Валяй! — милостиво разрешил Женька и, жалея Павлуню, подумал: «А верно! Чем одному — лучше в омут головой!»

БУДНИ

Наутро у сторожки собрались все: загорелые бабушки в клеенчатых фартуках и кедах, хмурый, бледнолицый Павлуня в майке и соломенной шляпе, жизнерадостный Женька в одних плавках.

Бабкин опаздывал — такого с ним еще не случилось. Все тревожно поглядывали на дорогу.

Но вот звеньевой появился. Он брел не от Лешахиного дома, а откуда-то со стороны речки, лениво помахивая прутиком. На него коршуном набросился Павлуня:

— Ты всю ночь где-то, а за тебя переживай! Понимать надо о людях!

— Ладно тебе уж, — улыбнулся Бабкин. — Ящики привез?

— Я тебе что — лошадь? — огрызнулся Павлуня. — Варвара я тебе? Я один разве все могу? И ящики надо, и трактор вон заправить... — Павлуня и сердился тоже длинно, нудно, не как все люди.

Бабкин послушал-послушал, потом пошел в сторожку и завалился в сено. Бабушки переглянулись. Женька шмыгнул следом за звеньевым, затормошил его:

— Где были-то? Рассказывай! О чем говорили?

— Да ни о чем. — Бабкин засмеялся в сено. Он был весь мягкий, добрый, податливый. — Гуляли мы...

— Чудак ты! — недовольно сказал Женька.

Бабкин слушал, как за фанерной стенкой Павлуня визгливо ругает мальчишек, и удивлялся, что голос братца так здорово напоминает теткин у сварливую глотку.

— Шумит! — кивнул Женька.

— Шумит — это лучше, — ответил Бабкин. — Ты уйди, пожалуйста, дай мне отдохнуть минутку.

— Сильна любовь-то, — покачал головой Женька. — Такого парня свалила!

Он постоял, подивился и вышел на солнце. Перед ним тянулись грядки, длинные да скучные. Бабушки ловко дергали морковные хвостики, вязали их в пучки, укладывали в ящики. Это было только самое-самое начало, и до сплошной уборки еще не дошло.

— Когда же она, проклятая, совсем-то вырастет? — встревоженно спросил Женька.

Климовские бабушки с гордостью отвечали:

— И-а, когда! Знаешь, как ее, родимую, растить-то!

— С толком надо! — врезался в разговор сердитый Павлуня. — С чувством, а не так — лишь бы! Давай вставай!

— А ты мне командир, да? — заволновался Женька. — Я тебя испугался?

Но тут он вспомнил красный зал и себя в этом зале, раскисшего от счастья, и такие слова парторга, каких раньше Женьке не говорил никто.

— Ладно уж, — пробормотал он. — Попробую...

Женька встал на свою нескончаемую грядку, нагнулся и пошел. Уже через час соль разъела ему глаза и лоб, силы поредели, захотелось ругаться. Он часто останавливался, смотрел на ушедших далеко вперед бабушек и вздыхал. То ли дело вчерашняя работа на хлебном поле! Она по душе Женьке, веселая, огневая, через край. А тут не поймешь, где конец и где начало. Там — праздник, здесь — сплошные серые будни. Там — комбайны, тут — бабушки. Когда-то они все передергают!

Женька, зевая, ушел в тень сторожки.

Тоска! Хорошо хоть, Павлуня для разнообразия шумит на все четыре стороны насчет того, что некому позаботиться, некому ящики подвезти, а он не лошадь, чтобы все один да один.

Из сторожки показался Бабкин. Молчком сел на шассик и укатил. Павлуня, журавлем выхаживая по канаве, что-то выдергивал, кого-то ловил.

— Развелись, окаянные, — бормотал он, помахивая перед Женькиным носом пучком какой-то скучной тра-

вы.— А это вот — блоха, рядом, на свекле, прыгает.— И совал в лицо Женьке щепоть.

— Отвяжись ты со своей блохой! — отпихнулся мальчишка локтем.

Над ним стоял Павлуня и бубнил что-то насчет культивации и опрыскивания, а Женька мрачно думал о том, сколько еще будет поливов, рыхлений, мучений, пока морковные хилые хвостики нальются силой да сладостью.

— Помогай! — крикнул ему Бабкин. Он привез ящики. Следом на автобусе приехали студентки.

Ящики скинули, студентки вылезли сами, заохали, разглядывая грядки.

Девчата были рослые, гладкие, как лошадки. И Женька оживился, увидев в скучной Климовке такие красивые, веселые лица. Его голосишко жавороном взлетел над полем:

— Девочки, милые! Догоняйте бабушек!

— У-у-у! — отвечали девушки.— Где уж нам уж!

— Ты серьезней и без этого! — нахмурился Павлуня и стал объяснять девчатам норму и зарплату.

Так хорошо закончился для Женьки тяжелый день понедельник. Но за ним потянулись длинные, как эти грядки, вторники и среды. И во вторник продергивали морковку на пучок, и в среду тоже продергивали. Девчата из студенческой бригады, попривыкнув, стали уже убегать далеко вперед бабушек, а Женька тащился позади всех, ни к какой работе не приученный, ничего делать не умеющий. Его никто больше не подгонял, и, сидя на ящике, он потерял даже охоту шутить с девчатами. Голос у него пропылился, глаза стали маленькие, злые.

В четверг, когда перед обедом все пошли купаться, тихий Женька внимательно следил за Саньчем. Потом спросил:

— Слушай, этому твоему делу долго учиться?

— Это смотря какая у тебя голова, — ответил Саньч.

— Понятно, — пробормотал Женька и побежал к директору.

Ефима Борисовича он разыскал в мастерской. Здесь же стояли Бабкин с Павлуней, Трофим, инженеры — все глядели на диковинную машину с решетчатым барабаном сзади и острыми ножами впереди.

«Комбайн какой-то?» — метнул взгляд Женька, однако ему совсем не до комбайнов — у него своих забот по горло.

— Ефим Борисович! — сказал он таким тоненьким обиженным голоском, что все повернулись к нему. — Не могу я больше! Не тянет меня к земле. Пошлите к воде, на понтон!

Только за мгновение до этого вопля у людей в мастерской были такие хорошие светлые лица, но вдруг сделались они скучные и серые.

— Земля, говоришь, не интересует? — спросил Трофим, и его деревяшка угрожающе застучала по цементному полу.

— Да! Никакого к ней интересу!

— А что ты знаешь про землю-то? — наступал Трофим.

— А чо про нее знать-то? — пятился Женька. — Только вот что: не пошлете на понтон — совсем из совхоза сбегу! Не больно-то хотелось в грязи ковыряться!

Трофим зашумел:

— Да ты знаешь, как раньше мы эту землю поднимали?! На коровах пахали!

— А раньше, говорят, и лаптем щи хлебали, — не удержался Женька. — И портянкой утирались!

— Возьмите его! — сказал Трофим. — Я за себя не отвечаю!

— Погуляй! — приказал директор и отвернулся к машине.

Женька постоял, постоял, потом побрел к выходу. Когда он проходил мимо Трофима, старый солдат не удержался:

— Дезертир! Мы таких на фронте!..

Женька выбежал во двор мастерской. Посмотрел прямо, посмотрел по сторонам — поля да поля. А что в них такого? Весной земля обманчиво черная, жирная, летом — в траве, осенью — в грязи, зимой — под снегом. По Мишиной морковке наискосок шагают стальные мачты электролинии, завод осыпает ее гарью, дорога — пылью.

Пока Женька стоял, люди закончили свои дела, вышли из мастерской, закурили, не обращая на него внимания.

«Ничего! — подумал Женька. — Еще попросите!» Ему известно, что рабочих в совхозе не густо, а рядом,

через речку, дымит и манит завод. А возле проходных, на щите,— «требуются, требуются, требуются...». Все это знает грамотный Женька, поэтому он дерзок и спокоен и на вес золота ценит свои белые ладошки.

— Ну, ты чего тут? — наконец-то увидел Женьку директор. — Иди на понтон, к Санычу!

«Нужен!» — понял Женька и искося посмотрел на своих. Бабкин темен. Павлуня показывает кулак. «Ну и ладно!» Женька решительным взрослым шагом направился к реке. Его не окликнули, не догнали, не стали просить да удерживать, как он ни прислушивался и ни замедлял шаг.

В небе загремело. Женька поднял голову. Клубилась, завивалась тяжелая туча.

— И ты тоже, да? — в сердцах погрозил он туче кулаком.

Где-то хлопнула рама, зазвенело стекло, и вдруг шумно, радостно хлынул прямой четкий дождик. Встали над землей молодые, уже с весны забытые травяные запахи.

Женька пришибленно согнулся под грозой. Из широких ворот мастерской смотрели Трофим с ребятами. Женька, нзло всем, зашагал, не пригибаясь, по дороге, которая вся засветилась голубыми лужами.

НА ПОНТОНЕ

Тучи уползли, волоча за собой обрывки дождя. Все вокруг облегченно посветлело: и небо, и деревья, и одуванчики. Сумрачен был один лишь Женька. Он одиноко брел по теплой дороге, а сбоку из распаренных полей наступали повеселевшие сорняки.

На понтоне исходил испариной дизель. Ему кланялся маленький Саныч в большой телогрейке, в сапогах на босу ногу, с масленкой в руках.

— Приветик! — помахал ему Женька.

Саныч посмотрел на него и отвернулся.

Женька нехотя прошелся по песку, из-под его тапок гулко зашлепались в воду упитанные лягушки. Он побросал в них земляными комьями, потом подергал леску донной удочки.

— Н-но, балуй! — окликнул его Саныч. Он уже стоял по пояс в воде и выдирал тину из сетки насоса.

— Трудно одному, да? — очень весело спросил Женька и совсем радостным голосом закончил: — А я к тебе, в напарники!

— Сдался ты мне, — пробормотал Саныч, вылезая из реки. Сидя на корточках, тощий и бледный, он шаривал в кармане брюк сигареты. Закурил и сквозь дымок с усмешкой посмотрел на напарника.

— Ты чего? — уже не так весело спросил Женька. — В нос, что ли, захотел?

Бойкий Саныч откликнулся:

— Во-во! От тебя только и жди!

Женька посмотрел на Саныча. «Такого на ладонь положи, прихлопни — одни уши останутся!» Он вспомнил, что Саныч — единственный сын и кормилец больной матери.

— Не трону, не волнуйся, — пробормотал Женька и побрел в будку. Здесь, в чужом углу, он сел на хромую табуретку возле остывающей печки и пригорюнился.

А день катился своим чередом: светило солнце, бежала река, стрекотала трава. Мишины бабушки набивали ящики пучками моркови. Павлуня, сдвинув брови, присматривал за студентками, Бабкин едва успевал подвозить тару. Когда Бабкин вернулся из очередной поездки, он увидал, что бабушек стало на одну больше. В самой высокой он узнал Лешачиху. Настасья Петровна, глядя из-под руки, сказала:

— Я прямо с фермы, пришла на сокола своего взглянуть.

Сестрицы тонко и значительно поджали губы. Павлуня брякнул:

— Сбежал твой Женька! Пыльно ему тут!

— Ну-ну, ты не завирайся, — нахмурилась Лешачиха. Она искоса посмотрела на бабушек — те еще выразительней подобрали губки. — Где? — глухо спросила Настасья Петровна.

— Во-он, — показал Павлуня. — На реке загорает!

Женька сидел в будке все в той же позе и горевал о загубленной молодости. Воспоминания шли одно другого чернее: то как его, малого ребенка, собака укусила, то как тетка самогонкой поила. Зелье гадкое, в рот не идет, но как не выпить, если тетка рядом стоит и посмеивается: «А еще мужиком называешься!» Вот тебе и мужик!..

Женька вздохнул, вспоминая, как сидел перед сле-

дователем. Следователь был молодой, с цыганскими волосами и пронзительным взглядом. Он разговаривал с Женькой вежливо, смотрел мимо, а тот, не отрывая взгляда от его головы, все время чувствовал свою срамную, обритую макушку. Это ощущение так мешало ему, что Женька держался скованно, отвечал тускло, и следователь с усмешкой заметил: «Геройство вместе с хмелем растерял?»

Женька ожидал неторопливой, душевной беседы, а с ним обошлись, ему показалось, как с напроказившим щенком — торопливо и назидательно. И Женька обиделся: сперва на следователя, потом на суд, а потом уж на весь белый свет.

Тихо в будке. И Женьке все равно, кто там ходит и шуршит травой и чьи голоса раздаются на поле. Он только едва повернул голову, когда Саныч загородил свет. Саныч так торопливо дышал, что Женька спросил его, не пожар ли где случился.

— Твоя мать несется! — выпалил Саныч, поеживаясь от возбуждения. — Держись!

Мальчишка, как и многие на деревне, остерегался черного глаза Настасьи Петровны. Поэтому когда Лешачиха поспела к будке и темновато поглядела из-под ведьминских бровей, Саныч поспешно отступил к берегу. Однако долго сидеть в неизвестности он не мог, — минут через десять бочком приблизился к будке и, затаив дыхание, заглянул в дверь.

Лешачиха с Женькой тесно сидели на его единственной табуретке — спина к спине. Видно, что они только-только отговорились: Настасья Петровна часто дышала, вытирала лоб платком, Женька, остывая, дымился, как пулемет.

— Людей бы постыдился, Евгений, — с тихой укоризной заговорила мать.

А он, дернувшись, пошел выбрасывать слова:

— Что мне люди! Чихал я на людей! С высокой трубы, с громадной колокольни! Чего они мне хорошего сделали?!

— А сам-то? — так же тихо и боязливо возразила Настасья Петровна. — Ты ведь сам виноват перед ними.

Сын зашелся визгливым обиженным криком. У Женьки в сердитые минуты слова выпрыгивали впереди мыслей, поэтому он не мог уследить за ними.

Когда он перевел дух, Лешачиха попыталась заглянуть в его глаза:

— Женька, Женька... Да куда же ты весь вышел?

— Это все ты! — бездумно откликнулся сын. — Сама набаловала!

Она кивнула:

— Набаловала, это верно... — И вдруг, наклоняясь, что-то подняла с пола. (Женька настороженно следил за ней.) — Сама, все сама, — бормотала Лешачиха. — Я тебя все водицей розовой, а надо бы кашей березовой!

Настасья Петровна подхватила березовый прут, и, едва свистнуло, Женьку вымахнуло за дверь. Лешачиха кинулась за ним, размахивая прutom.

— Я тебе покажу, поганец бессовестный! Я тебе дам, как меня пред людьми срамить!

Саныч, распахнув рот, издали наблюдал эту невиданную картину. Сперва Женька бегал вокруг будки, выкатив глаза и высоко задирая коленки. Лешачиха, бухая сапогами, густо вздымала пыль. Она покраснела, со свистом дышала, волосы разлетались из-под платка. Наконец она остановилась. Встал и Женька, тяжело поводя боками. Он похватал ртом воздух и вдруг захохотал.

— Вот потеха! — в восторге закричал Женька, приглашая к веселью и мать, и Саныча. — Прямо концерт по заявкам!

Он испуганно замолчал: Лешачиха, отбросив хвостину, зашагала прочь. Женька побежал следом, время от времени взывая:

— Обиделась, да? Да ладно тебе! Подумаешь! Ма!

Потихоньку он отстал, постоял немного и вернулся к будке встревоженный. Глаза его в недоумении пошарили по берегу, метнулись на Саныча.

— Видел? Как она за мной сиганула... Страх...

Саныч ехидно передразнил Лешачиху:

— Ах, Евгений, ты мой гений! — И своим голосом: — Тунеядец!

Женька погнался за ним, подшиб. И уже навис над Санычем быстрый неразборчивый кулак, да вдруг Лешачихино сына словно озарило: ясно вспомнился ему живой, дышащий зал, и красное сукно, и слова секретаря парткома... Женька опустил руку и сказал плаксиво:

— И ты тоже, да? Тоже такой же?! Чего я вам сделал?! Чего вы ко мне привязались?!

Саньч поднялся с земли и, сплевывая, проговорил:

— У-у, злой...

— Не злой я совсем,— прибито ответил Женька.— Я какой-то не такой, и все меня учат. Видишь, вон Бабкин хромает, тоже небось учить торопится! Да нет же, хватит!

Женька сбежал вниз, к дизелю, и бросился ожесточенно выдергивать шнур пускача. Лопатки его сердито дрыгали. Пускач с треском пошел выхлестывать выше ивняка синие частые кольца.

Саньч отпихнул Женьку, что-то втолковывал ему, беззвучно и смешно шевеля губами. Он остановил движок, и Женька расслышал только последние его слова:

— ...закон не писан!

— Ну и ладно! — ответил он, присаживаясь на берег рядом с Бабкиным. Он чувствовал себя совсем выпотрошенным — ни мыслей, ни желаний, пусто, как в старой бутылке.

— Ну? — спросил Бабкин, морщась и потирая ногу.

И Женька, глотая слова, кинулся жаловаться на судьбу, на людей, на длинные грядки, от которых тошно становится на душе. Бабкин не перебивал.

— И все ругаются, а за что? За то, что я и сам не знаю, чего хочу! За то, что я такой уж неудельный! — так закончил Женька свою не слишком толковую, но искреннюю речь. Скулы его заострились, на носу выступил пот.

— И на понтоне, значит, не сладко? — вздохнул Бабкин.

— Совсем нет,— опустил голову Женька.— Куда податься — не ведаю. Ну скажи! Какая дальше мне судьба-то?!

— А я тебе что — гадалка? — нахмурился Бабкин.— Ты сам присматривайся — не маленький!

Проводив Бабкина, он долго стоял на берегу. На его детский лоб, как волны на гладкий песок, набежали первые морщинки — человек задумался.

ЖЕНЬКА ПРИСМАТРИВАЕТСЯ

Женька сощурил, как Бабкин, глаза и стал внимательно присматриваться: направо была свекла, налево капуста, за дорогой виднелись крыши Климовки, над крышами — антенны, выше — облака. Женька обернулся и увидел Саныча.

— Что-то ты хилый, — присмотрелся он. — Есть надо больше.

— Сам-то, — хмыкнул мальчишка, спускаясь к дизелю.

Женька посмотрел, как Саныч возится с мотором, обтирает да гладит его, и ему самому захотелось засучить рукава и броситься в работу. Он схватил ведерко:

— Я солярку заливать буду? А?

Саныч хотел что-то отмотать в ответ, но увидел сверкающие глаза Женьки и проговорил, пожимая плечами:

— Валяй...

— Эх, и делов мы с тобой наделаем! — многозначительно сказал Женька и совсем было уже собрался заняться делом, но тут зашуршала на бугре сухая глина, и к воде скатился сбежавший с поля механик.

— Ну и жарница у вас, — сказал шеф, скидывая на ходу рубаху и залезая в воду.

— А у вас? — ехидно спросил Женька, наблюдая за механиком.

Тот вел себя как-то странно — не шумел, не плескался, а когда вылез из воды, то печально уселся на травку.

Саныч застучал ключом по какой-то звонкой трубе. Механик оглянулся:

— Сердитый.

— А то! — отозвался издали Саныч. — Кто же лодырей любит! — и опять забарабанил по железке.

Женька, как советовал ему Бабкин, внимательно присмотрелся к механику. Он увидел рыхлые плечи, весело углядел уже заметный животик, обтянутый резинкой трусов, и не удержался:

— Вот странно: как лодырь, так жирный!

Механик встал, живо натянул брюки, рубашку и приказал Женьке:

— Пойдем!

— Нет уж,— отвечал осторожный Женька.— Я уж тут лучше!

Механик невесело рассмеялся:

— Чудак человек. Не бойся, пойдем!

Женька и сам видел: не ударит, но на всякий случай некоторое время следовал в отдалении, мимо свеклы, мимо брюквы.

Механик рассеянно смотрел по сторонам. Над капустой развеялся диковинный флаг.

Он спросил:

— Кто это? Романтики редиски?

— Ребята, кто же! — ответил ему Женька.— Школьники!

Который год работают в совхозе школьные бригады. Их с охотой берут в любое отделение. Девчонки в купальниках и мальчишки в плавках жарятся на солнце, остывают под душем дождевалки или в реке, грызут, как зайчата, капусту да морковку и наперегонки таскают полные корзинки. У них свой лагерь, где на палатках нарисованы смешные звериные морды, на щите выведены цифры серьезных обязательств, а высоко на мачте, на виду у всех, гордо реет бригадный флажок, хорошо платит Громов помощникам.

— Надо же,— покачал головой механик, проходя мимо школьников.— Работнички! А это вон кто? Ваши, что ли?

— Наши! — сурово отвечал Женька.— А вон — городские.

— И тоже вкалывают,— скривился механик.— Герои...

— Да уж, не спят! Не лодыри, как ты!

— И ты так думаешь про меня? — прямо спросил Женьку механик.

Женька пожал плечами.

— Народ говорит... Ему виднее.

Механик задержал шаг. На свекле гнулись студентки, баржу с овощами разгружали заводские, студенты в зеленых робах строили домики. Механик спросил, тыча пальцем:

— Это чего тут растет? Кабачки?

— Турнепс,— едва глянул Женька и небрежно пояснил: — Кормовая репа.

— А-а,— удивился механик.

— Вот так,— усмехнулся Женька.

Рабочий поселок встретил их тишиной и шелестом тополей. Бродили по тени куры, сидели на скамейке старухи.

— Лодырь, говоришь? — остановился вдруг механик, и голос его так зазвенел, что Женька понял: влип.

Он повертел головой: куда бы в крайнем случае кинуться, но механик уже крепко взял его за локоть, подвел к скамейке.

— Народу, говоришь, виднее? А вот мы народ и спросим! — Он обратился к старушкам: — Мамаши, вы меня знаете? — Те согласно закивали. — Скажите тогда: я — лодырь?

— Да что ты, милый! Господь с тобой. Что ты такое говоришь! — Старушки зашумели все сразу.

— Понял? — торжественно спросил механик Женьку. — Двигаем дальше. В мою хату.

Хата оказалась высокой, с самодельными колоннами. Они ступили на широкий двор, выложенный плиткой. Из-под шиферной крыши будки скалилась породистая собака. За оградой шумели яблони, кроны их были перетянуты широкими резиновыми поясами.

— Зачем? — настала очередь удивляться Женьке, а механик, как ребенку, пояснял ему:

— Чтобы ветром не разодрало, не сломало. А вот это — трактор, сам собрал, по гаечке.

— Ишь ты! — Женька уселся перед двухколесным трактором, который был ростом не выше мотоцикла.

Над трактором и над Женькой величественно вышагал механик.

Женька сунулся в огород — там ровно и густо рос чеснок да чеснок.

— Зачем столько? Лучше цветы!

— Ты прав, — согласился механик. — Весной цветы — это рублики! Только тепличку построить... Тогда на базаре и встать не дадут! — Он подмигнул: — Это тебе не турнепс — кормовая репа!

Женьке стало скучно. Он рассеянно обзирал железную крашеную крышу над поленницей, дачный туалет цвета слоновой кости. Спросил:

— В доме газ, а зачем дрова?

— Что же, выбросить, раз было куплено!

Женька колупнул краску на туалете — не сиделась.

— Все на совести! — хвалился механик. — Это, брат, особый лак, такого не купишь! Между прочим, туалет для дачников. Для себя — в доме, настоящий.

Женька не выдержал.

— Пойду я, — сказал он, поворачиваясь к воротам, но механик отворил туалет и показал внутренний опрятный вид, где все на месте — и крючок, и крышечка.

— Ты и невесте это показывал? — спросил Женька, хороня улыбку.

— Она бы хозяйкой была, горя не знала, — задумчиво проговорил механик. — Я ведь все сам да сам, я все умею...

Он печально замолчал, молодой да красивый. Глядя на его мощные плечи, Женька вслух подумал:

— Да, прогадала девка. Такое счастье упустила.

— Ладно уж тебе, — махнул рукой механик. Он повел гостя на веранду, вытащил бутылку вина. — Выпьешь?

Женьку перекосило: после теткиной выпивки и сейчас голова болит.

— Нет, — покачал он головой. — Печень! — И ткнул себя в живот, в самый пупок.

Механик не очень-то огорчился. Он быстро спрятал бутылку и пошел провожать Женьку.

Они медленно шагали к мосту. По дороге механику кивали старики, кланялись со скамеечки старушки, одобрительно поглядывали молодичи с авоськами, а он шагал, важный, гордый, по самой середине улицы.

Загудел завод. Механик остановился и сказал Женьке:

— Давай здесь народ переждем, ну его!

Они стали в тень, а мимо повалили заводские — старые, молодые, разные.

Женька повертел головой, выбрал одного, седоватого, подбежал к нему и, кивая в сторону механика, сказал:

— Папаша, минуточку! Вы его знаете?

Седоватый всмотрелся и, как механик ни отворачивался, разглядел его. Хмуро ответил:

— Кто ж его не знает, лодыря!

Все течет, все меняется: темнее стала река, беспокойнее ветер, задумчивей Женька. Он часто вылезает на высокий берег под низкие облака и глядит на Мишино поле. Там бегают шассик, шагает важный Павлуня, суетятся бабушки.

— Чего ты тут сидишь? — спрашивает Женьку Саныч. — Чего ты высидишь? Иди к Бабкину!

Ушел бы Женька, да совесть не велит. Вот все бы, казалось, ладно выходит у Женьки: работа не пыльная, начальство далеко, никто жить не учит, а тошно. Подойти бы к Бабкину и прямо сказать: «Не могу один, примите в компанию!» Но как вспомнит Женька длинные грядки — так страх берет.

Однажды Женька увидел на Мишином поле народ и машины. Гудел апельсиновый трактор, скобой выпихивая морковку, на дороге выставились первые мешки. «Началось!» — понял Женька и со всех ног побежал к людям.

Видно, дело только налаживалось: скоба подрезала первые грядки, на которых густо валялись оранжевые сосулины с лихой гривой. За трактором шли девочки и парни, одни дергали морковку за хвост и клали ее в кучку, другие рубили вершки, третьи собирали в корзинки сладкие корешки, набивали мешки, забрасывали их на машины.

Видно, работа только расходилась: народ еще много шумел, перебегал с места на место, бузил, и все вокруг хрустели морковкой. Борозда, трава, поливная канава — все засыпано свежей ботвой.

Женька тоже ухватил морковку за хвост и, прополоскав ее в канаве, с азартом откусил. И опять удивился тому, как это получилась морковка сладкой, когда Бабкин выхлестал на поле столько всякой горечи.

— Становись, — сказал ему Бабкин таким тоном, словно Женька никуда и не убежал.

Тот благодарно и торопливо закивал, схватил корзинку, но в эту минуту Павлуня повернулся к нему и заговорил:

— На готовенькое все горазды, а раньше все убежали, раньше не хотели к земле-то, замараться боялись, раньше...

— Стоп! — остановил его Бабкин. — Притормози!

Женька, выпустив корзину, понуро возвратился на свой немилый понтон. Сел на берегу. Понтон не работал — поливать нечего. Саныча не было возле движка — он давно крутился рядом с Бабкиным. Женька остался один. И было ли оно, то золотое поле, или приснилось?.. Назвал ли его тогда парторг по имени-отчеству или послышалось?..

— Чего один сидишь? Пошли обедать!

Женька поднял похудевшую тоскливую мордочку. Наверху широко стоял Бабкин, а чуть позади него — Саныч и Павлуня.

— И сажу! А вам-то что? — по привычке отвечал Женька, поспешно вылезая к ним.

Бабкин протянул ему крепкую руку.

Ребята двинулись вдоль по деревне. Усталые, молчаливые, пыльные. Встречный народ уважительно сторонился, провожая их глазами. Женька невольно пошел таким же развалистым шагом и так же забросил пиджачишко на острое плечо.

Они миновали уже и большие совхозные здания, и маленькие дома, и совсем тощие избенки, брошенные хозяевами Климовки, и пришли на самое дальнее, скрытое за лесной полосой ничейное поле. «А обед?» — подумал Женька, увидев на поле те же корзинки и те же мешки.

Только машина на грядке была новая. Женька видел ее однажды в мастерской: спереди у нее ножи, а позади — барабан.

Возле машины стояли люди: директор, инженеры, Трофим и еще какие-то озабоченные незнакомцы.

— Начнем, пожалуй, — сказал Ефим Борисович, и машина на мягком резиновом ходу двинулась по грядке. Ножи срезали ботву, а лопасти, похожие на железные руки, подгребали к себе землю вместе с морковью и отправляли ее на транспортер и дальше — в барабан. Барабан крутился, очищая морковь от грязи.

— Вот это дело! — сказал Женька. — Это здорово!

— А кто такой корнеплод купит? — ехидно спросил Трофим, поднимая морковь, разрезанную пополам.

И все увидели, что машина работает плохо, она слепо режет ботву то высоко, то низко, то вместе с

морковью. Когда машина покалечила половину грядки, ее остановили.

— Руками, видать, надежней,— сказал Трофим.

Но Женька не согласен руками, когда есть техника.

— Нет! — сказал он твердо. — Верить надо в новое!

— Правильно,— поддержал Женьку какой-то незнакомый человек в комбинезоне. — Верить нужно!

— А то! — запальчиво крикнул Женька. — Попробовали бы руками!

Он уже не отходил от машины, гладил ее бока, заглядывал в барабан и больше всего на свете боялся, что люди отзовутся о ней плохо. Он настороженно посмотрел на «опытного седого» Ивана Петрова, который пришел позже всех и не сказал еще ни слова, а только ходил да покачивал головой. Вот он присел на корточки и взглянул вдоль грядки. На него с недоумением смотрели люди. Наконец он поднялся, отряхнул колени и сказал, ни к кому не обращаясь:

— Не пойдет здесь машина. — Остановил движением руки метнувшегося к нему возмущенного Женьку и продолжал: — Здесь не пойдет. Агротехника не та.

Иван указал на поле. И тут все увидели, что, и верно, не было за полем хорошего ухода — бугры да комья, грядки идут волнами.

— А машина хорошая,— с одобрением сказал Петров, и Женька с благодарностью улыбнулся ему. — Тонкая машина! Не для этого поля.

— Лучше у нас нету! — упрямо возразил Трофим.

— ЕСТЬ! — сказал директор. — У Михаила Степановича!

«Это еще кто такой?» — подумал Бабкин, но Ефим Борисович, выводя его вперед, уже представлял инженерам:

— Знакомьтесь! Бабкин! Михаил Степанович, наш молодой механизатор.

— Поле у него — скатерть,— добавил Иван Петров. — Сам глядел. Ему не в Климовке работать...

— Ну, полегче насчет Климовки,— сказал Трофим и похромал к Варваре.

А Бабкина взял под локоток заводской конструктор и, отведя в сторону, сказал:

— Очень приятно, товарищ Бабкин. Моя фамилия Перов. Я эту машину доведу со своей группой.

Конструктор Перов был молодой, белобрысый и худенький, он сразу понравился Бабкину, и Бабкин с удовольствием ответил:

— И мне очень приятно.

«И шут с ним, с обедом! — решительно подумал Женька. — Зато такая техника!» И он пожалел, что комбайна не было тогда, когда он маялся на грядках.

Обеда не было, не было и ужина. Вместо ужина Бабкин и молодой конструктор Перов потащили в мастерскую заваривать какую-то лопнувшую штурковину.

— Ну, что ты с нами маешься? — сказал Саныч Женьке. — Вон домик — поспи.

Сколько он проспал, Женька не знал, только очнулся от шума мотора. Протирая глаза, вышел из низкой двери. Светало. Над полем бежали облака. Накрапывало. Сильно пахло осенью. По морковке полз ярко-глазый дракон, сопя и гроыхая.

— Идет, идет! — слышался в темноте голос Павлуни.

Женька перешагнул через яркий световой луч и очутился рядом с теткинм сыном. Комбайн, обдавая его громом и пылью, прошел мимо. Вертелся барабан, сыпалась из него земля. На комбайне сидел Бабкин — горячий любитель новой техники, рядом с ним, у руля, стоял конструктор Перов.

Цепкий Женька обезьянкой полез наверх. Хоть тесно на капитанском мостике, но приняли и его.

Стало совсем светло. Женька качался наверху и видел все поле от реки до дороги. Видел лесную полосу, крыши совхоза и Климовку и радовался, что так далеко видит. Оглянулся назад — позади чернели борозды, сбоку валялась ботва. Грядка была хоть такой же длинной, как всегда, но уже не такой страшной, как раньше.

Остановив комбайн у дороги, ребята лазили по земле, копали ее руками, выбирали и подсчитывали морковь, оставленную машиной. А Женька, привалясь спиной к теплomu мотору морковного комбайна, думал о том, что после такой славной машины он ни за что не пойдет по полю пешком.

Утром счастливая Лешачиха привезла усталым механизаторам лепешки с кислым молоком. В чугушке дымилась картошка.

— Ешьте, соколы, наработались,— потчевала она ребят, с уважением глядя на Женьку.

Павлуня открыл рот, чтобы сообщить ей, что Женьку, собственно, и кормить не за что — не сеял, не пахал, только всю ночь проспал. Но Саныч дернул его за руку, и Павлуня рот закрыл.

Ребята стали есть. Бабкин трудился с чувством, с толком, молча, Женька успевал и жевать, и слушать, и говорить, и вертеться. Конструктор Перов не отрывал глаз от своего комбайна.

— Техника — это сила! — сказал он. — Куда вы без нее!

И Женька горячо с ним согласился.

Бабкин доел картошку, допил молоко и ответил: — Куда она без нас!

И Женька, поглядев на Бабкина, так же горячо согласился и с ним.

Когда появилось солнце, к Мишиному полю подкатили с разных сторон директор и управляющий. Ефим Борисович — на «козлике», Трофим — на тележке. Они спешили, потрясли руки ребятам, Настасье Петровне и пошли глядеть и шупать поле да комбайн, морковку да ботву.

— Вот это да! — сказал Ефим Борисович, оглядев пустые борозды. — Не комбайн — орел! Красавец!

— А сколько таких орлов и красавцев вы нам пришлете в ближайшее время? — спросил хитрый Трофим.

Молодой конструктор Перов пояснил, что комбайн — пока опытный образец, проходит полевые испытания. Что же касается серийного выпуска машины...

— Понятно, — сказал Трофим. — Созывай завтра, Бабкин, побольше студентов, готовь побольше кошелок.

Ефим Борисович, похлопывая комбайн, уверенно сказал:

— Нет уж! Завтра у Бабкина будет без кошелок!

КОНЕЦ ПЕСЧАНОГО КЛИНА

Директор совхоза Ефим Борисович Громов во всем и везде любил быть только первым, даже на почетное второе место не соглашался. Первый огурец — его,

первый кочан капусты — песковский. Первым он придумал направить в город колонну машин с первыми овощами. Сам проверял, как уложены в ящики белая капуста, красная морковка да темная свекла, посмотрел, хорошо ли прибиты к бортам флаги и далеко ли виден плакат над головной машиной: «Принимай, трудовой город, подарок песковцев!» Сам проводил колонну до понтонного моста.

В лучший новый магазин товар шел без задержки — прямо на прилавок. А над магазином надпись: «Здесь продаются овощи совхоза «Песковский».

— «Песковский»? Знаем, — уважительно говорили покупатели. — Это за рекой. Это лучший совхоз.

Два дня спустя такие же плакаты приколотили к магазинам и остальные совхозы района, но хозяйки посмеивались: «Хватились!» — и, взвешивая на ладони полновесный кочан, недоверчиво морщились и про- сили:

— А песковской капусты не привозили еще?

Вот что значит быть чуть впереди, и Ефим Борисович, хозяин хитрый, отлично понимал это.

Первым в районе он вовсе стал проводить реконструкцию своих полей — выравнивал их, засыпал старые оросительные каналы — рассадники сорняков и вместо них прокладывал трубы в земле. Не слушал нытиков, действовал решительно и жестко: нужно тянуть трубы по Климовке — будет тянуть! Мешает Климовка — долой ее, старую! Скоро и Мишино поле перевернет упорный директор, а пока доживает оно последние дни.

Павлуня высох и почернел. Он бегал по грядкам, пересчитывал мешки и теткин тонким голосом ругался с весовщицей. Женьке поручили подвозить на своей кобылке тару. С этой работой он справлялся весело. Успевал еще привозить обед в поле, следить за тем, чтобы была вода в бочке. Бабкин отвечал за все свое беспокойное хозяйство в целом.

Пока морковный комбайн проходил полевые испытания и часто стоял на грядке, приходилось нажимать на собственные руки. А когда наступала передышка, Бабкин спешил к чудо-машине, как ехидно называл комбайн Трофим, возле которой в поте лица трудился конструктор Перов со своими товарищами.

— Понимаешь, Бабкин, — говорил ему Перов, — мы

в эту машину вложили столько сил, столько крови...

Бабкин молча брал из его рук ключ и, забывая про все на свете, копался в железном брюхе комбайна. Часто сообщая они все-таки запускали машину и прогоняли десяток-другой метров по морковке, а потом «летела» какая-нибудь ось, лопалась цепь, и мучения начинались сначала.

Наконец морковку убрали. Уехали студентки и шефы с завода, ушли в школу ребята. Конструктор Перов со своими помощниками уехал в столицу до будущей весны. Он увез с собой ящики с перекорезанными деталями машины и кучу исписанных журналов испытаний.

— До скорой встречи! — со значением сказал ему на прощание Ефим Борисович.

Перов крепко пожал руку Бабкину и сказал задумчиво:

— Спасибо тебе за все, старик! Ты настоящий друг!

— Приезжай скорей, — ответил Бабкин. — Дел у нас с тобой — во!

Опустели полевые станы. Спущен флаг с мачты в лагере труда и отдыха школьников. Тишина на дорогах. Зато шумно стало в конторе совхоза.

Но до поры до времени запираются экономисты, таинственный вид у плановиков. Вперевалочку ходит совхозный кассир Зоя — таскает к директору ведомости на заработную плату. Рабочий комитет втайне готовит какой-то особенный вечер в честь завершения уборки. Вид у всех и праздничный, и немного недоуменный: неужели все?

Поля перепажаны, продискованы, очищены и подготовлены к снегу. Озимые посеяны и густо зеленеют среди черноты полей и серых туч. Фермы утеплены. Кроме климовской, которую наконец-то будут ломать. И Мишино поле осталось развороченным, неопрятным, и Трофим ходит, словно сирота.

Сегодня на песчаном клине заревели землеройные машины, стали рыть траншеи да канавы. Привезли длинные толстые трубы и бросили их возле бугров. Засветилась сварка.

Нож бульдозера давно нацеливался на старую климовскую ферму, которую Бабкин караулил в полдень.

Климовские бабушки не захотели глядеть, как падет их бревенчатое жилище, они на совхозном грузовике отбыли в новый дом, где и газ, и горячая вода, и чужие стены. Трофим истуканом, видно, решил простоять до самого конца, до последнего бревнышка. Невесело ему будет глядеть, как прямо через Климовку, через садишки да огородишки, по печкам и лавочкам пройдут траншеи, а в них — трубы, трубы, трубы, до самых дальних совхозных полей, до последнего захудалого клена.

Все это разумом хорошо понимал Бабкин, а душой ему жаль старого Трофима, который понурился рядом с верной своей Варварой.

Прибежали ребята. У них веселые лица, веселые глаза.

— Вот ты где! — издали закричал Женька. — Чего ты тут потерял? — озираясь на Трофима, зашипел: — Скорей давай! Переодевайся — и в клуб! Вечер там! Забыл, что ли?

— Погоди, — медлил Бабкин, еще раз оглядывая поле и обреченную деревеньку.

— Разворотили! — проворчал Женька. — Но ведь так нужно, да? Верно?

— Жалко, — сказал Бабкин.

— Жалко, — согласился с ним Павлуня, косясь на Трофима.

— Жалко! — Беспечный Женька помахал рукой растерзанной земле: — Прощай, наше поле!

— Спасибо тебе, — без улыбки проговорил Бабкин.

А Женька больше ничего путного не выдумал. Он шел позади братьев, сбивал прутиком пыль с лопухов и твердо верил в хороший завтрашний день.

ПРЕМИЯ

Задумчивые, шагали ребята по совхозу. Уже собирався под светлые колонны клуба народ. Шли из соседних деревень, из города. Молодежь знала: уж если директор пригласил оркестр, то только военный, если уж танцы — то до утра.

Возле теткиного дома Павлуня, ковыряя носком землю, пробормотал:

— Миша, зашел бы, а то все мимо, мимо...

— Ладно,— согласился Бабкин.— Зайдем.

Тетка не изменилась: она такая же широкая и красная. На ней все то же домашнее изодранное платье, галоши на босу ногу. И прическа на голове «рабочая» — осенняя ржавая копешка в шпильках. «Как будто и не уходил никуда», — удивился Бабкин, глядя на тетку.

Перед ней тарахтела старая стиральная машина. Увидев Бабкина, тетка выдернула шнур, вытерла руку и, подавая ее, белую, распаренную, всем по очереди, сказала своим обычным, тонко натянутым голосом:

— А, племянничек пришел! Проходите в комнату!

«За руку со мной, как с чужим», — отметил Бабкин.

— Проходите, проходите, — повторяла тетка.

Ребята переглянулись: пройти мимо нелегко — двор перехлестнут веревками, на которых болтается белье.

— Дачников проводила, — громко объясняла тетка. — Теперь вот стираю. Замучилась. А что поделаешь — рубль на дороге не валяется. Да вы проходите, я сейчас, только достираю, только белье повешу...

Но она не стирала, не вешала, а говорила, говорила. Так же громко, как раньше, но только непривычно много и все об одном — о пестром боровке, который — вот горе! — сбежал куда-то от дачного шума.

Бабкин углядел седину в ее волосах и беспокойство в лице.

— Мы пойдем, пожалуй. Не станем мешать.

И опять тетка подала ему руку, а потом — Женьке. Лешаихин сын принял подарок с кислой миной.

Ребята шагали к калитке, а тетка, поспевая за ними, на весь двор рассказывала про боровка.

— Тоска зеленая, — поежился Женька, когда они очутились на воле.

Бабкин сощурился на теткино деревянное солнышко, изрядно полинявшее.

— Ты чего? Опоздаем! — торопил Женька.

Бабкин посмотрел на него и толкнул калитку:

— Погоди-ка.

Тетка стояла перед стиральной машиной, совсем одинокая, уже не молодая.

— Бросайте все, Марья Ивановна, — вежливо сказал ей Бабкин. — И одевайтесь. У нас в клубе вечер.

— Устарела я по вечерам-то! — сердито отозвалась она. — А дефицит привезут?

— Привезли. Приходите.

Перед началом торжественной части народ разбрелся по просторному клубу. Каждый нашел дело по душе: кто сидел в буфете, кто покупал книжки.

Климовские бабушки устроились в удобных креслах и вязали, как у себя дома, нацепив очки на нос. В этих очках три сестрицы еще больше были похожи одна на другую.

Разошлись и ребята: Бабкин увидел Татьяну и сразу побежал к ней сквозь танцующих и пляшущих. Павлуня побледнел и сел к бабушкам — поглядеть, как вяжут. Женкин петушиный голос раздавался из бильярдной.

Тетка, едва появившись, сразу побежала в фойе, где были разложены всякие товары. Растолкав народ, пробралась к прилавку и отхватила дешевый чайный сервиз. Счастливая, ходила с коробкой по клубу, натываясь на людей. Потом коробка стала мешать ей, и тетка начала думать, куда девать добычу.

— Ты в раздевалку сдай. Обнялась! — сказала ей Лешачиха.

— Разобьют! — нахмурилась тетка под ее насмешливым взглядом, но сдала все-таки сервиз в раздевалку.

А потом ей не сиделось в зале, и все представлялось страшное: разбитые в куски чашки да блюда.

— Покарауль место! — сказала она соседке, одной из климовских бабушек, и побежала относить покупку домой.

В маленькой комнатке, за сценой, мучился Ефим Борисович. Закрыв уши ладонями, он сидел над столом, уткнувшись в лист бумаги, и бубнил вступительную речь. Лицо его выражало скорбь и покорность судьбе. Везде любил директор быть первым, но речи говорить он бы с удовольствием согласился последним.

— Начинаем, Ефим Борисович, — заглянул к нему парторг.

Директор позади всех тяжело побрел на сцену. Огляделся. Сбоку сидел красный, сердитый, словно чем-то недовольный товарищ Бабкин. Ослепительно выделялся белый воротничок рубахи на бронзовой шее. На

его лбу директор заметил капельки пота и сочувственно подумал: «Тоже мается!»

Тут же было объявлено, что с докладом о работе совхоза выступит Ефим Борисович Громов. Директор сутуло пошел на трибуну. Поднял глаза — в лицо жарко дышал набитый зал...

Ко всему может притерпеться человек — даже к голоду, но вот боязнь зала не проходит и у таких смелых, решительных людей, каким был директор. «Господи, благослови!» — вздохнул Ефим Борисович и, опустив глаза к бумажке, погнал по кочкам.

Все в докладе как надо: сперва успехи, потом — недостатки, все это в меру пересыпано цифрами. Через сорок минут перед его взором пошли наконец строки: «...в новом году пятилетки мы приложим все силы, чтобы с честью выполнить свои высокие социалистические обязательства». «Vcel!» — понял директор и, выжатый как лимон, побрел на свое место.

В ушах у него гудело и звенело, в глазах прыгало.

Посидев минут десять, директор пришел в себя и повернулся к Бабкину:

— Как я говорил? Ничего?

— Нормально, — прошептал звеньевой. — Только вы меня называли звеньеводом.

— А, — вспомнил Ефим Борисович. — Это когда смеялись? А еще чего?

— Настасью Петровну в бригадиры произвели.

— Не соврал. Будет она на центральной ферме бригадиром.

— Правильно, — сказал Бабкин.

Между тем вслед за речами наступило самое хорошее время: выдавались премии. Деньги по итогам года выплачивались немалые: на них можно и мотоцикл купить, и еще многое. Народ свои премии знает, доплаты подсчитал, а все равно тянет шею. Кто первый? Чего там медлит и хитрит рабочком?!

— Бабкин Михаил Степанович! Получил самый высокий по совхозу урожай моркови. По итогам года ему начислено...

Не дышит зал, слышно, как чирикает на люстре воробей.

— ...восемьсот двадцать пять рублей! Кроме того, — продолжал председатель рабочего комитета, — по итогам соревнования Бабкину присуждается первое

место среди овощеводческих звеньев и денежная премия в сумме трехсот рублей!

Не успели ожечь ладони первые хлопки, как в дверях появилась тетка и, выискивая свое забронированное место, пошла по залу.

— Марья Ивановна, — зашумели трактористы, — и ты за премией?

— Я за своим местом! — отрезала та, плюхаясь в кресло.

Бабкин получил толстый конверт. Зал хлопал, гудел, каждый ждал своего часа. Чуть смолкло, послышался резкий теткин голос:

— Сколько там ему?

— Восемьсот двадцать пять и еще триста! — отвечали ей механизаторы.

— Господи, за что же такую кучу?! — удивилась тетка.

Но еще больше удивилась она, когда вслед за Бабкиным стали валом идти на сцену люди и получать свои деньги — кто семьсот, кто девятьсот, а кто и того больше. Простучал своей деревяшкой Трофим, прошел белый, с закушенной губой Павлуня, сам себе не веря, а тетка все думала: «За что?!» Она давно не была в клубе, мало знала о делах совхоза, о его доходах. Неужели так она продешевила в жизни, так прогадала.

Уже и соседки ее, климовские бабушки, одна за другой прошлись до сцены и обратно, уже и заводские шефы, и студентки, и Женька получили каждый по заслугам: кто много, еле в карман впихивает, а кто, как механик, удивленно шелестит трема красными бумажками. Уже и грамоты роздали, и благодарностями осыпали, устал шуметь и хлопать зал, и раскрыли окна в тихую славную ночь, а тетка все шевелила губами. А когда подсчитала, сколько могла бы заработать в совхозе за десять лет да с ее ухваткой, то вспотела.

— Надо же, как вышло, — пробормотала несчастная Марья Ивановна и увидела, что сидит совсем одна.

Гулянье выплеснулось на улицу. Оркестр громычал под звездами, каблуки простучали асфальт. Под навесом, в электрическом свете, стояли столики. Тетка увидела за столиками и своего Павлуню, и Бабкина, и Трофима, и самого Ефима Борисовича. Тетка под села по соседству, наострила уши, однако разговоры были ей непонятны. Даже своего Павлуню тетка не мог-

ла понять и думала с раздражением: «Ишь разговоришься!»

А разговор за сдвинутыми столиками шел важный: директор предлагал Бабкину принять овощное звено на центральном отделении, а Бабкин хмурился. Женька уверял его со всей силой своего петушиного горла, во всю мощь красноречия:

— Боишься, да? Беспокоишься? А мы-то на что?!

Павлуня уговаривал по-родственному, напирала и Настасья Петровна, а Бабкин все сомневался. Спрашивал, каковы площади, да сколько техники, да что и когда посеяно в прошлом и какие планы на будущее. Ефим Борисович отвечал, поглядывая на непроницаемое лицо Трофима — тот один не сказал ни слова ни «за», ни «против».

— Ну? Что тебе еще нужно? — спросил наконец директор.

— Я бы согласился, пожалуй, — отвечал Бабкин в раздумье.

— Ну и хорошо! — отвалился Ефим Борисович. — Вон твои помощники сидят — целое молодежное звено! Женьку не отпускай далеко — за ним глаз да глаз нужен! И Санычу хватит на понтоне прохлаждаться! Хватит! Принимайте, братцы, наши заботы на свои плечи!

— Точно, — пробормотал Трофим. — Не все вам на стариках кататься.

Покрякивая, полез за кисетом старый солдат. Ребята поскущели.

— Ну и будет! — сказал директор. — Танцуйте!

Бабкин поднял голову и покраснел: под белой березой стояла Чижик, тоже в светлом, и ждала его, видно, давно.

— Прости уж, — сказал Бабкин, приближаясь и теряя по пути свое красноречие. — А мы вот тут все...

— Понятно, — засмеялась девушка, беря его под руку.

Из-за забора полыхала шевелюра механика, блестели его глаза. Подойти и сказать что-то статный да красивый не посмел.

...Когда они вдвоем беспечно шли берегом реки, позади послышался стук колес и топот лошадки. Их нагнала Варвара. В тележке в сене сидели все ребята из бабкинской компании. Но в этой тесноте люди еще по-

теснились, нашлось место для двоих. Бабкин с Татьяной уселись, Трофим серьезно сказал:

— Трогай, Варварушка.

И Варварушка побежала. Сперва по климовской пыли, потом по щебенке, потом по асфальту центрального отделения. Направо и налево темнело перепаханное поле, взрыхленная, мягкая земля.

— Твое,— сердито сказал Трофим, тормозя Варвару.

Ребята высыпали. Бабкин приложил ладонь. Поле было холодное, влажное, тянуло прелью. Сырая осень уже стояла за рекой, в двух шагах. Тускло светила луна. А Бабкин, сощутив глаза, увидел вешнее небо и молодое солнце, услышал трели жаворонка.

Сбереги мою лошадку

НЕВЕСЕЛЫЙ НОВОСЕЛ

Когда наконец-то взялись ломать Климовку, первым примчался поглядеть Женька. Потирая руки и пританцовывая от азарта, он ожидал великого треска и грохота. Но обреченная деревенька погибала тихо, только похрустывали плетни, когда вползал на огородинки ворчливый приземистый бульдозер. Покорно падали под его ножом корявые вишни, гнилые скамейки и горькие стены заколоченных домиков.

Женька скривил губы:

— Лучше бы подожгли Трофимову богадельню!

Его больно толкнули в бок.

— Тихо! — прошипел Миша Бабкин.

Женька оглянулся. Позади сутулился сам Трофим. Скомкав в кулаке кепку, Шевчук стоял горестно, будто на погосте, и глядел, как рушат его бывшее хозяйство.

Побегав плутоватыми глазками по битым кирпичам, по деревянной ноге Трофима, Женька бодро воскликнул:

— А, это вы! А мы тут уж! Все уж вынесли, видите?

Он показал на холостяцкий скарб, который парни Мишиного звена вытащили из избы, пока Женька любовался погромом. Сваленные наспех, как при пожаре, все эти старые стулья да скатанные половички выглядели очень небогато.

— Грузить, что ли? — рискнул поднять голову Женька и наткнулся на взгляд Трофима.

Старый солдат и раньше не отличался кротким нравом, а теперь и вовсе смотрел сурово.

Самая острая совхозная молодежь — какая молодежь — зелен! — стояла перед Трофимом. И ей, этой

зелени, директор Ефим Борисович Громов доверил лучшее поле — пойменное, удобное, доходное. И технику дал мощную.

Павлуня, поеживаясь от ветра, прятал руки в карманы телогрейки. Нос его посинел. Ежился хлипкий Саныч, замерзший зяблик. Женька приплясывал, подняв плечи. Только Бабкин подставлял непогоде медное лицо. Ворот у него распахнут.

Женька кивнул головой на раскиданные вещи:

— Таскать, что ли?

Трофим усмехнулся.

— Хозяева! — сказал он. — Ну, валяйте.

— Ага! — обрадовался Женька и, скинув телогреечку, принялся шуметь да командовать.

Парни, посмеиваясь над ним, стали наваливать на грузовик нехитрую мебель.

— Мальчишки! — крикнул Трофим. Он повернулся лицом туда, где трактор крушил в прах его милую Климовку, в которой он прожил семнадцать лет до войны, а после фронта и все остальные годы.

И колодец у магазина, и забор вокруг выгона — все это его дела, его заботы, не понять Бабкину, Женьке не оценить.

Трофима разбирала обида. Тут за его спиной раздался быстрый Женькин шепот:

— К ферме поехали! Сейчас грохнет!

Что-то и впрямь стукнуло, зазвенело. Трофим крунулся на своей деревяшке. Аховые грузчики впопыхах стукнули хлипкое зеркало шкафа о крепкий борт грузовика и глядели теперь виновато.

— Кокнули, — пояснил Женька, с улыбкой прибавя: — К счастью.

— Доколачивайте, чего там! — хмуро ответил управляющий.

Забыв про парней, он глядел, как завалилась горбатая, латаная ферма и трактор, седой от известки, принялся неторопливо растаскивать стропила.

— Триста лет, — бормотал Трофим, — триста... и никому не мешала...

Он вспомнил, как мирно стояла его Климовка на краю песчаного поля, в самой середине России. Покачивала себе тонкими шестью скворечников да поднимала над трубами на заре с десяток теплых розовых дымов.

«Выбирай любой этаж», — сказал вчера директор Трофиму. И тот сумрачно ответил: «Один для меня этаж остался — подземный!» Потом, слегка поостыв, попросил себе в бетонной коробке самую нижнюю квартиру, «чтобы траву было видно, а не ворон в небе».

Пока Трофим смотрел да вспоминал, грузчики взяли за его книжки. Он обернулся:

— Полегче уж.

Парней не учить: они-то знали, как трясется Трофим над книжками, поэтому уложили их ровно, на чистый брезент, а сверху прикрыли пленкой — на случай ливня. Потом еще раз обошли комнаты — не забыто ли что. Пустой дом гулко отзывался на шаги и голоса. По темным обоям на месте снятых фотографий светились ровные прямоугольники.

— Тоска! — сказал Женька и выскочил во двор.

Заглянув на минуту в сарай, он скоро выбежал оттуда с какой-то корзиной, которую наспех накрывал тряпичей и обвязывал обрывком веревки. Вид у Женьки был лукавый. Не доверив корзинку никому, вскарабкался в кузов и тут же зашумел сверху:

— Готово, Трофим Иванович!

Парни шикнули на него и хотели было терпеливо дожидаться хозяина, но тот махнул кепкой. Машина поехала, Трофим остался. К его домику подползал бульдозер, выставив тяжелый нож...

Когда упало последнее бревно и Климовка перестала быть, он надел кепку и похромал к ласковой лошадке Варваре, которая тихо ждала его под облетевшей березой. Долго усаживался, наконец, выставив деревяшку, поехал.

— Ну и куда же? — бормотал он. — На пенсию?

Лошадка весело помахивала хвостом...

Пятиэтажный дом гудел и стонал. В нем было больше грома, чем в Климовке, и Женька встрепнулся. Муравьями лезли новоселы, трещала мебель, сердились жены, а взбудораженные дети бегали по лестницам, высовывались из окон, кричали с балконов. Такая кутерьма Женьке по сердцу.

— Вперед! — скомандовал он, выпрыгивая из кузова со своей корзиной и бросаясь в квартиру. Он побегал по комнате, повертел на кухне все краны, попил

из горсти водицы, заглянул в туалет, потом стал давать указания, куда ставить мебель.

Когда приехал хозяин, его пожитки были свалены посреди комнаты, а грузчики отдыхали на полу. Яростней всех утирался и громче других сопел Лешаихин сын.

— Квартирка — вó! — поднял он большой палец, вскакивая навстречу Трофиму.

Тот стоял и оглядывался. Неизвестно, за какой стенкой, и непонятно, на каком этаже, с визгом высверливала уши электродрель, и весь дом отзывался звенящей дробью.

Женька вертел головой, слушал с удовольствием.

— Давайте я буду вам дырки долбить!

— Потом, — рассеянно ответил новосел. — Спасибо.

Бабкин задержался на пороге:

— Если что — мы поможем.

И вот уже под окном зазвенел беззаботный Женькин голос, ему вторил Саныч. Пошли вольные разговоры, в которых не нашлось места для Трофима: молодежь забыла про него, едва выскочила из подъезда.

Трофим остался один среди гуда и топота. Он увидел корзину в углу и с недоумением приподнял тряпку. На свет вылезла его кошка.

— Совсем забыл про тебя, — виновато сказал он, поглаживая кошку у себя на груди.

Потом пустил ее на пол, и она, подрагивая хребтом, пошла обнюхивать старую мебель и новые бетонные углы. Дрель, затихшая было, взвизгнула опять — кошка опрометью кинулась к хозяину, прижалась к его живой ноге.

— Видишь, дом какой звонкий, — пробормотал Трофим, поднимая глаза к потолку. — Помереть не дадут.

И Трофиму вдруг очень поверилось, что он еще пригодится Бабкину, Павлуне и всем другим из молодежного звена. Он вспомнил лукавое лицо Женьки, непроницаемого Бабкина, его тощую тень — Павлуню. «Хорошие ребята, только без опыта». А опыт у него да у Громова — стариков в совхозе мало.

— Может, уживемся? — вслух спросил сам себя Трофим и со стуком зашагал по комнате с кошкой на руках.

Остановился перед осколком зеркала: сердитый, обгорелый за лето мужик смотрел на него. «Этак ре-

бят распугаешь!» — отвернулся он от зеркала. Сбросил плащ, кепку, пригладил волосы, умылся. И только расставил свои четыре стула по углам, как пожаловало все молодежное звено да еще с комсоргом во главе, чернявеньким.

— Садитесь! — пригласил Трофим.

— Ничего, — сдержанно отозвался Боря Байбара. — Мы только уточнить.

— Правда, что вы у нас за старшего будете? — высунулся Женька, и парни придержали дыхание.

— Был такой разговор, — сказал Трофим, сиюсь заглянуть в душу этих непонятных людей, которые минуту назад были веселы и беззаботны, а сейчас явились будто по государственному делу.

Разговор такой шел сегодня утром. В кабинете у Громова. Сильно шумел там главный агроном Василий Сергеевич Аверин. «Такое поле да пацанам отдать!» Трофим тоже понимал: поле славное. Проложены в нем трубы для полива, протянута дорога к самой борозде. Склад близко, ферма под рукой — навоз только вози. Поле и в плохие годы выручало совхоз, а в хорошее время на его морковке озолотишься. Но Аверин шумел, а Трофим тоже сильно сомневался про себя: а вдруг жара? Или дождь без продыху? Вдруг заморозки либо снег? Поможет ли тогда вся та мощная техника — прицепная, навесная, гусеничная и колесная, которую Громов так неразумно отдал мальчишкам?

И когда агроном ушел, Трофим поделился своими сомнениями с директором.

— Ладно, — ответил Ефим Борисович. — Я подумаю. Может, правда, взять тебе над ними шефство, приглядеть...

Вот и весь разговор. И сейчас Трофим смотрел на «зеленое» звено с интересом.

— А что случилось? — спросил он осторожно.

Боря Байбара оглянулся на своих и сказал тихо, с перерывами:

— Мы звено создали. Комсомольское. Мы надеялись, а нам, выходит, не доверяют! Няньку дают!

— Мы можем и разбежаться! Не больно хотелось! — подал звонкий голос Женька.

Трофим смотрел на парней и не различал их — все на одно лицо: глаза сердитые, губы сжатые, брови суровые. И в эту минуту он почувствовал щемящую боль

где-то в глубине живота. Она приходила уже не раз, внезапная, пугающая. Словно завелся в живом теле холодный червячок и по временам оживает, впи-
вается.

Прижав пятерней уязвленное место, Трофим глухо спросил:

— Я вам, значит, не пара? И мой опыт уж ни к чему?

Женька ухмыльнулся коротко и весело. Лешачихин сын вспомнил, как сиднем сидел Трофим в своей Климовке, ничем не удивил совхоз, не обрадовал, не обогатил.

Женька пробормотал смущенно:

— Почему же... мы ничего...— и оглянулся в поисках спасения.

А Боря Байбара сказал прямо, как по больному месту стукнул:

— Нам климовский опыт ни к чему.

Трофим долго молчал, все устали ждать ответа и подпирали стенки. А когда он заговорил, голос у него срывался:

— Ладно. Управляйтесь сами, хозяева.

Парни подождали, не добавит ли он еще что-нибудь, но Трофим молчал.

— Спасибо,— серьезно сказал Боря Байбара.

Все вышли, неловко застревая в дверях. Бабкин потоптался у порога.

— Простите.

Трофим отвернулся. Боль не унималась, росла.

ЖЕНЬКА СУЕТИТСЯ

Загустели тени по углам, пора выгонять их, но Трофим не зажигал огня. Он сидел, прижав руки к животу, смотрел перед собой. На окошке — ни тряпицы, ни цветка, прет в него, в широкое, вся улица, с криками, с весельем, с непутевой пляской по черному необтопанному асфальту.

Подала голос лошадка. Трофим очнулся, доковылял до подоконника. Заждалась Варварушка хозяина, не берет хлеба, не хочет леденцов — напрасно наперебой протягивают ей ладони мальчишки и девчонки. Хоть ребята они совхозные, а, словно городские, редко

видят близко настоящую лошадь с грустными большими глазами и длинными ресницами. У их отцов и старших братьев все трактора, грузовики да мотоциклы. Хорошо проехаться в запыленной горячей кабине самосвала, славно пролететь в коляске мотоцикла, но почему-то очень хочется им сейчас погладить, потрогать теплую мягкую лошадку.

— Не бойтесь, она добрая,— сказал Трофим, появляясь на улице в своем длиннополом грубом плаще.

Барвара потянулась к нему навстречу. Ласковый народ во все глаза смотрел с завистью, как лошадка осторожно приняла с корявой ладони кусок хлеба, пересыпанного солью и махрой. Подталкивали один другого: «Гляди, ест!»

— Садитесь, что ли, прокачу,— неожиданно предложил Трофим.

Сыпанули, как воробьи на мякину. Тележка заколыхалась.

Редко кому позволял Трофим кататься на лошадке. Он жалел ее и по мере сил старался облегчить ей работу: нашел новую тележку на бархатных рессорах, смастерил резиновые колеса на подшипниках. Механизаторы ухмылялись: «Теперь твой вездеход по любой грязи пройдет!» Хозяин отмалчивался. «Барварушка, чай, не трактор, беречь ее нужно».

Сейчас тележка шла с перегрузом. По тому, как напругалась лошадь, было видно: ей тяжело. Трофим, однако, довез «воробьев» до совхозной больницы и только тут остановился.

— Ну, вот и все. Домой идите. Скажите: Шевчук прокатил.

Сидел, кивая в ответ на все звонкие и тихие «спасибо».

— Поздновато, Трофим Иванович! — встретил его с улыбкой седенький доктор. — Что стряслось?

Не был дипломатом старый солдат, не стал молоть про погоду — сразу бухнул, сунув палец в больное место:

— Тут дрянь завелась, изводит. Так и помрешь невзначай, а у меня дела.

Замолк, угрюмо поглядывая на доктора. Тот попросил еще раз и подробней рассказать про боли, потом уложил, раздетого, на кушетку, долго мял живот, зая-



вив в конце, что настоятельно рекомендует показаться специалистам.

— Может, сами, а? Порошков каких? — пробормотал Трофим, крепко затягивая ремень на брюках. Месяц назад те же брюки легко держались и без ремня.

— Настоятельно рекомендую, — тихо повторил старик.

Он выписал направление. Трофим повертел бумажку: неразборчивые каракули ни о чем ему не говорили.

— Когда показаться? — хмуро осведомился он.

И доктор сухо, как незнакомому, ответил:

— Чем скорее, тем лучше.

Больной сказал «до свидания» и похромал к своей лошадке. Он так долго взбирался на тележку, что даже терпеливая Варвара оглянулась с удивлением. Хозяин сидел, повесив голову. Она подала негромкий голос, как бы спрашивая, куда ехать.

— Куда-куда! На свалку! — проворчал Трофим.

Покачиваясь на мягких рессорах, он в недоумении размышлял, когда же это высыпалось его здоровье из потрепанного тела, как зерно из дырявого мешка.

«Куда это я заехал?» — опомнился он вдруг.

Лошадка его брела по привычной климовской дороге, а в десятке шагов перед нею стояла с поднятой рукой длинная, тощая Лешачиха.

— Я тебя везде искала, все поля обскакала, — сказала она ласковым голосом, разглядывая Трофима из-под насупленных бровей.

Трофим очень удивился, увидев на Лешачихе яр-

кий платок, из-под него высывались седые, хорошо закрученные волосы. «Прическу навела, Джульетта!» — хмыкнул он про себя, подвинулся, освобождая ей место. Настасья Петровна крепко уселась, повернула к нему горбатый нос:

— Дуй по этой стежке под мои окошки.

— А зачем?

— Да ведь проводы у меня, аль забыл?

Трофим усмехнулся: никто не приглашал его на встречи и проводы, и на свадьбах ему, такому веселому, делать нечего. С какой радости вдруг он так спешно понадобился?

— Я ведь не гармонист!

Лешачиха, не отвечая, взяла у него вожжи и по-мужички гаркнула на лошадку — та вздрогнула от грусти, но пошла.

Они свернули с узкого климовского проселка на широкую главную дорогу. Подковы четко защелкали по асфальту, зашуршали резиновые шины. Трофим дышал горьковатой осенней прелью, смотрел на мокрые поля, которые потихоньку съедала подступившая темнота.

Лешачиха опустила печальное лицо. «Сына провожает — легкое ли дело», — осторожно взглянул Трофим, но ничего не сказал: не придумал слово, которое утешило бы мать.

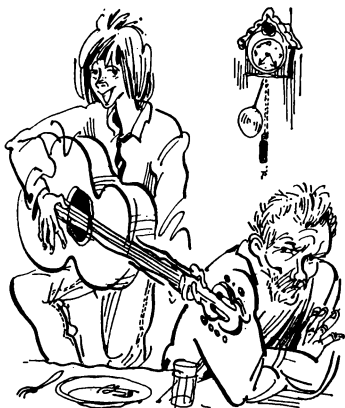
В тепле, в желтом электрическом свете, сидела за большим столом вся милая компания: Миша Бабкин, Павлуня, Саныч и Боря Байбара. Ребята вели себя солидно, руками не махали и не снимали торжественных пиджаков.

Зато Женька успел за всех наспешить и набегаться: лицо его горело, лоб взмок. Пиджак он давно скинул и носился в рубахе, галстук — на плече.

Когда на пороге появилась сумрачная фигура в плаще, на деревянной ноге и хмуро оглядела присутствующих, сидящие за столом застыли. Один Женька не задумался. Он бросился к гостю, на бегу выстрелив словом: «Вот он!» Размахивая белыми рукавами, на которых молниями сверкали новые запонки — подарок доброй матери, — он повлек Трофима прямо к столу.

— Раздеться помоги! — сказала мать.

И Женька живо раздел Трофима, усадил, принялся расторопно наваливать ему на тарелку картошку, ка-



пусту, шпроты, колбасу и сыр. Потом, мелькая огненными запонками, налил всем вина, сел, вскочил, опять сел, опрокинул бутылку.

— Да что с тобой! Уймись! — негромко сказала Настасья Петровна, которой сегодня особенно хотелось видеть сына степенным и взрослым.

Женька на минуту затих, утирая лоб пахучим платочком. Но он словно боялся тишины и порядка — тут же снова вскинулся, обегая всех торопливым взглядом:

— Чего сидеть-то? Давайте!

Никто не шевельнулся. Ребята смотрели на Трофима.

— Скажи им, — попросила Настасья Петровна.

«Нашли оратора!» — вздохнул Трофим, поднимаясь с тонкой рюмкой в крестьянской руке, искоса поглядывая на Женьку и вспоминая его суматошную жизнь. Пожелать бы ему одуматься, набраться разума и вернуться в совхоз путным механизатором, как Мишка Бабкин. Нет, не получится из него путного!

Трофим так и сказал вслух, как подумал. Настасья Петровна крикнула в ответ на такие невнятные речи, сунула в рот папироску.

— Не получится! — выкрикнул Саньч. — Точно!

Он поднялся, побледнев, желая еще что-то сказать, но тут Женьку как вымахнуло из-за стола. Схватив гитару, недавно купленную ему матерью, он забренькал и запел. Голосил Женька не очень мотивно, зато лихо и громко. Парни, ожив помаленьку, стали подпевать ему, прихлопывать. Один Саньч не веселился со всеми, сидел сердитый, как сын. А после песни сказал:

— Эх ты, пташечка!

Женька, перебросив гитару Боре Байбаре, ударился в такой огневой пляс, что зазвенели испуганные рюмки.

— Непутевый, дай людям поест! — говорила Настасья Петровна, а сама глядела на Трофима влажными глазами: «Каков, а!»

Гость, дивясь лихому Женькиному плясу, припомнил многие таланты Лешачихино сына. В работе, в жизни ли был Женька такой же пороховой, да мигом остывающий.

«Бедная! — взглянул Трофим на мать, плавающую в счастье. Он подумал, скольких трудов стоило Лешачихе поднять сына, выучить, одеть, накормить. — Стол ему собрала, оценит ли? — И свежая обида обожгла Трофима с новой силой. — Плясать-то они здоровы!» — думал он, тяжело ворочаясь и собираясь встать, сказать мальчишкам все, что он о них думает. Но тут Лешачиха тронула его за руку:

— Не держи зла на них, они хорошие. За тобой велели бежать, а то, говорят, мы человека обидели.

Трофим засопел, не зная, как вести себя и что говорить. Испуганно взбrehнула Жучка во дворе, прогрели в сенцах тяжелые шаги, упало и покатилося ведро.

— А-а, черт ты раздери! — в сердцах сказала ведру запыхавшаяся Марья Ивановна, возникая в дверях.

Без всяких «здрасте» она визгливо зашумела из полутьмы:

— Пашка! Тебе тут что, медом намазано?! Тебя будто мать не ждет?! — И скакнула ехидными глазами по Бабкину: — У иных-то домов своих нету, иным прости-тельно!

Павлуня сразу полез из-за стола. И в эту минуту раздался укоризненный голос Трофима:

— А им, молодым, ни до кого дела нету. Они сами грамотные.

Павлунина мать, видно, только теперь разглядела Трофима. Заметно смутившись, она не к месту пробормотала: «Во, а этот тут зачем?» — и сделала шаг к свету. Все увидели ее грязную телогрейку и забрызганные сапоги, которые она натянула на голые ноги. Коленки ее посинели, зато налитые щеки горели ярым огнем. Серый платок сбился с головы, из-под него высывались вольные волосы, из волос торчали во все стороны шпильки.

Настасья Петровна, добрая хозяйка, пропела:

— Проходи, Ивановна! Отведай у нас наш хлеб да квас, не побрезгуй.

— Сдалась ты! — Нежданная гостя повернулась, выскочила в сени. Там еще раз гроыхнуло пустое ведро. — Ты еще тут!.. — вскричала Марья Ивановна и, наверное, наподдала ведерко ногой — оно покатилося, жалобно позванивая.

Павлуня виновато проямлил:

— Пойду я, а то как бы чего бы...

— И мне пора, — встал Трофим, чувствуя, как ожил в нем червячок.

Парни не спорили, они только все вывалились во двор — провожать. Там, в темноте, дожидалась хозяйна Варвара. Она смирно хрупала сено. Дождь недавно кончился — запахи были еще влажными: пахло мокрой лошадьё, мокрым забором, мокрым листом — всем понемножку.

— До свидания, отъезжающий! — сказал Трофим. — Где твоя лапа?

Он протянул руку, ее на лету цепкими пальцами схватил Женька, потряс, отпихнул. Зубки его поблескивали, раздавался острый голосок:

— Знаю, знаю, что скажете! Насчет учебы! Завещаю партком и дирекцию: не подведу коллектив!

— Трепло! — крякнул Саньч.

Женька пихнул его локтем.

Трофим с Павлуней уселись в тележку.

— Спасибо, что пригласили, — сказал старый солдат. — Нас, ветеранов, редко приглашают. Спасибо.

Парни смекали: шутит Трофим, обижается или издевается. Женька на всякий случай ответил:

— Да чего там...

— Не бойтесь,— продолжал Трофим.— Я к вам не полезу — сами грамотные, пляшете лихо. Хозяйничайте, ваяйте. Без пенсионеров вам вольнее.

— Вы не так поняли,— сказал Бабкин.

— Да уж понял, Миша!

Им открыли ворота, и они выехали на улицу, под неясную луну.

Павлуня в испуге поднял голову: Трофим сполз с тележки, доковылял до Лешачихиной скамейки, скорчился на ней.

— Ой! — сказал Мишин братец.

Со скамейки раздался сипловатый, болью перехваченный голос:

— Поезжай, я дойду...

Павлуня стал было трясти головой и махать руками, но Трофим приказал:

— Ну!

Павлуня задержал вожжами, поехал, часто оглядываясь.

Трофим остался наедине со своей болью. В доме не гремели Женькины песни, не мучилась гитара. Трофиму было холодно в мокром плаще, он ежился, не мог согреться.

Во дворе Настасьи Петровны слышались голоса, хорошо различимые в ночи. Один — Женькин, его узнаешь за версту, хоть и шипел Лешачихин сын сейчас по-змеинному:

— Пикнешь — голову отвинчу!

Ему отвечал Саныч:

— Совести у тебя нету! Матери тебе не жалко! Прав Трофим: дурак ты!

— А тебе-то что за дело?! Ты мне партком? Или, может, дирекция?! Я сам себе хозяин!

— Дурак ты! — еще раз повторил Саныч.

И в ответ Женька, разом вспыхнув, вскричал:

— Чего вы в мою частную жизнь лезете?! С галошами!

Во дворе кто-то охнул, кто-то крикнул. Трофим распахнул калитку и с минуту не мог ничего разобрать: у его деревянной ноги катались, пыхтели и ругались.

— Встать! — крикнул он.

Картина прояснилась: верхом на Саныче, крепко в него вцепившись, сидел взъерошенный Женька в белой измызганной рубахе и обиженно блажил:

— А чего он сам-то!..

— А я все равно скажу! — глухо выговаривал из-под него Саныч, стуча по земле каблуками и норовя выкарабкаться.

Женька отпустил его, парни встали перед Трофимом, с присвистом дыша.

— Говори! — велел он Санычу.

— Говори, говори! — завелся Женька, не давая товарищу и рта раскрыть. — Все выкладывай, чертов предатель! Я тебе одному, а ты — всему базару! Валяй, предавай!

Саныч, не отряхиваясь, поплелся со двора. Леша-чихин сын и в спину ему все шумел:

— Рассказывай, иудин племянник!

Саныч задержался у калитки и горько проговорил:

— А ты — птичка божия!

Стукнула калитка, Саныч ушел, Трофим обернулся к Женьке — тот пятился, словно рак, уползал в дом.

— Стой-ка!

Ни вдоха в ответ.

«Эх вы, хозяева!»

Трофим побрел в свою новую квартиру. Не сделал он по асфальту и сотни шагов, как послышалось фыркание лошадки. На тележке горбился Павлуня. Мишин братец простуженно объяснил:

— Дожидаюсь я, а то он опять вроде...

Как всегда, парень не дотащил до конца фразу, бросив на полпути.

Трофим поднял голову: опять моросил дождь. Он с удовольствием забрался к Павлуне в тележку, усаживаясь, пошуршал сеном. Подковы зацокали, зачистили, зашипели по мокрому асфальту бойкие колеса, полегче стало на душе.

Возле дома Трофим сказал Павлуне:

— Отведи, брат, Варвару, устал я.

Тот горячо ответил:

— Вы не думайте! Я все как нужно!

Трофим кивнул и пошел в новое жилище, где наверху играет баян, за одной стеной гремит пианино, за другой — плачет ребенок.

Утром Трофим проснулся рано: червячок грыз, грызли заботы. Он поморщился, встал. Дальше, бывало, раскручивалось заведенное колесо: быстрое умывание, чаепитие в два глотка, пальто застегивалось уже на улице. Сейчас спешить вроде и некуда: человек в отпуске и к тому же пока без должности — Громов обещал подыскать подходящую. Трофим оделся и поел быстро, накормил и выпустил проветриться кошку, вышел сам.

На улице он, как всегда, постоял, глядя вверх и смекая, каков будет день. Для него неважно, красивая ли вставала заря, голубое ли радовалось небо — он прикидывал, сгодится ли это добро в хозяйстве. Для крестьянского дела нужны и снег, и дождь, и звезды. По звездам он узнает погоду: они растекаются в оттепель, тают в туман и ярко горят к морозу.

«А зачем они мне теперь? — подумал он грустно и посмотрел на звезды просто так. И покачал головой в удивлении: — Красивые, черти! — Но тут же упрямо подумал: — А у нас лучше!» И во тьме, возле бетонной стены, он принялся вспоминать милую деревянную Климовку. Из какого славного бархата было сшито небо над ней! Звезды там висели с кулак, а луна — с дыню. А как пели петухи по утрам! Трофим прислушался — ни коров, ни кочета. Далеко за домами, на краю усадьбы, желто светятся окошки длинной фермы. Трофим представил себе свою ферму — не комплекс на четыреста голов, продувной, огромный, с трубами под потолком и гудом машин, а маленькую, домашнюю, свойскую. Там пахло не железом, а молоком, там, в живом, надышанном тепле, стояли гладкие смиренные коровы.

Трофим вздохнул и похромал в конюшню, где ждала его верная Варвара.

— Куда в такую рань? — спросил заспанный сторож, отворяя ворота.

— Закудыкал, — проворчал Трофим, выводя лошадку.

Он с обидой слушал жалобу старых ворот. Директор Громов отгрохал недавно новый гараж, где для каждой машины свое стойло, а тут и лошадей-то осталось десятка два, а внимания к живым тварям нету.

Трофим, размышляя так, подъехал к дому Леша-чихи в самый раз: из калитки вылезал Женька, с трудом протаскивая огромный чемодан.

— Садись!

— Не! — Женька спросонья говорил сипло. — Нам не по пути.

— Садись, говорят! — прикрикнул Трофим.

Женька завалил чемоданище в сено, уселся сам.

— А мать?

Женька ответил:

— Я не велел. Слезы будет лить, а я нервный.

Возле моста стоял Саныч. Он, видно, ждал давно: танцевал от холода, тер уши. Увидев его, Женька поглубже засунул голову в поднятый воротник толстого зимнего пальто. Эту одежду Настасья Петровна напялила на сына, чтобы, упаси бог, не застыл в пути от совхоза до электрички.

Трофим довез парней до станции и, пока они вместе ждали поезда и рассвета, пытливо заглядывал в глаза то Санычу, то Женьке.

Когда подошла электричка, Женька с облегчением, как показалось Трофиму, убежал от него в вагон. Мимо медленно пошли окна. Проплыла беззаботная Женькина улыбка. Удивленно смотрел на нее Саныч — большие глаза, серьезный рот. Потом окошки начали мелькать быстрее, слились в светлую полосу — и все. Поехал Лешачихин сын в столицу, за глубокими знаниями, за синим дипломом.

— Ну! — требовательно поглядел Трофим на Саныча. — Чего он надумал?

Паренек быстро взглянул в лицо старого солдата и ничего не ответил.

— А я вот прямо к директору сейчас! Пускай проверит, куда этот вертопрах нацелился!

— Проверяйте, — пробормотал Саныч, и глаза его сузились.

Он нырнул в толпу и пропал.

— Ну и ладно! Глядите сами теперь, — обиделся Трофим и подался по холодку в районную больницу.

Привязав лошадку к столбу, он побродил по коридору, сунул направление в окошечко, и ему указали кабинет. Трофим прочитал табличку на двери и, ослабев, опустился на стул...

Его осматривали разные врачи — молодые и сред-

них лет, и у всех были одинаково непроницаемые лица и одни несладкие слова: «Ложиться на обследование».

— Когда же? — тоскливо спросил Трофим.

Ему ответили точно так же, как говорил старенький совхозный доктор:

— Чем скорее, тем лучше.

Трофим, глядя в упор, с гвардейской прямоотой бухнул:

— Рак, что ли?

Ответили уклончиво: нет, мол, пока оснований для таких заявлений.

...Неизвестно, сколько просидел Трофим в больничном скверике. Не видел людей, не слышал говора — думал. Думал о той страшной последней схватке, что выпала на его долю, о боли и слабости, о медленном умирании в душной палате среди белых стен и проклятых запахов. Проклянулись первые звездочки, он зашевелился:

— Помрешь — никто не заплачет.

И ему так вдруг захотелось, чтобы заплакала хоть одна живая душа, чтобы вспомнила. Но друзей у него не было, родных не водилось, и Трофим принялся впопыхах перебирать всех своих знакомых, кому без него стало бы тошно. Таких не оказалось. Знал: случись что — пожалеют сообща, проводят всем совхозом до последней оградки, вспомнят, скажут хорошие слова — и все. И никто не проснется среди ночи в тоске. Спать будет совхоз крепко.

Трофим вскочил, вытащил кисет с махоркой, задымил, норовя дымной горечью заглушить горькие думы, — не вышло. «Вот ведь как дыряво прожил, — казнил себя Трофим. — В одиночку, седым волком — бिरюком». Жениться побоялся, считая себя уродом, калекой. Учиться посылали, не поехал: в стариках ходил с тридцати годов, опомнился — впрямь дедом стал, голова пеплом посыпана. Осталось одно: на молодых ворчать да в Климовке сидеть, носа не высовывать. А что высидел? Кому теперь нужен?

— Вам плохо, товарищ?

— Ничего.

Вот так всегда: на доброе слово не нашлось ответа. Человек, поглядев, пошел своей дорогой — к дому, к семье. А Трофим доковылял до Варвары. Погладил

лошадку и возле нее, теплый, немного успокоился: «Ничего, поскрипим еще!»

На другой день он надел под новый плащ свой парадный, с медалями, пиджак и тихонько, без свидетелей поехал в Москву. Женькино училище нашел без труда. Позванивая медалями, прошагал в кабинет к директору.

— Нет,— сказали ему.— Такой в списках не значится.

Трофим потребовал еще раз и подробно пересмотреть списки. Опять ничего. Женька пропал.

— В милицию? — спросил директор училища.

Трофим, подумав, ответил:

— Нет. Теперь в деревне он, у тетки. Не первый раз. Извините.

Он ехал домой в электричке, думал о Женьке, вспоминал все его выверты и в конце пути решил: мальчишку нужно взять в такие ежовые рукавицы, чтобы не пикнул. «Тогда вспомнит и спасибо скажет».

Трофим даже улыбнулся, представив, как нагрянет к старой Женькиной тетке в дальнюю деревню.

«А вам какое дело?!» — запетушится пацаненок.

«Я те дам какое дело! — скажет ему Трофим.— Даром, что ли, я за вас, таких, воевал? Даром, что ли, совхоз возводил, ферму строил? Даром, что ли, жил на белом свете?!»

Трофим повеселее взглянул на голые березки за окном, на краснощеких парней, что громко разговаривали и хохотали в конце вагона, на малыша, который самозабвенно грыз яблоко, на красивую молодую маму его — она с улыбкой читала книжку, вытянув ладные ножки в сапожках.

Трофим посмотрел на вагонную дверь: в нее протискивался Женька, в том же тяжелом пальто и с тем же нелегким чемоданом, с каким его проводили за знаниями. Лицо его осунулось, шапка дымилась.

— Здравсте! — уселся он напротив Трофима, грохнув чемодан у ног.

— Здравствуй,— ответил Трофим и больше ничего не мог сказать — не придумал.

А Женька кротко помаргивал в окошко и, видно, не собирался разговаривать с попутчиком.

— Ну и как? — не вытерпел тот.

Женька покосился: старый солдат глядел сочувст-

венно, как свой. И Лешашихин сын со вздохом признался:

— Паршиво. Конец жизни моей.

— Это ты брось, это ты зря,— тихо сказал Трофим.— Жизнь у тебя вся впереди.

Он говорил и видел: грустит паренек — доходят, значит, умные слова. Он пересел на Женькину лавку, обнял его за плечи.

— Не нужно, чего там. Поедем с тобой в училище — так, мол, и так, виноваты, мол. Документы примут, я это дело устрою. Я у директора лично был.

Женька вывернулся из-под ласковой руки, рот его сжался в тонкую, злую полоску.

— Ты что? — испугался Трофим.

— Ничего! — отрубил Женька.— Нечего за меня хлопотать — сам большой! — И, как всегда без раздумий, он, распаясь, начал бросать слова: — Я сам знаю! Я жить хотел! Как другие! Чтобы и деньги были и не надрываться! Не вышло! Сам виноват! Сам дурак! Конец мне теперь, крышка! Жить не желаю!

— Как это? — осторожно спросил Трофим.

И Женька быстро отозвался:

— Так! Утоплюсь!

Он отвернулся к окошку и молчком просидел до самой последней станции. Когда зашипели двери, он прыгнул в гущу народа, работая локтем, острым, как бронебойный снаряд.

Трофим взобрался на перекидной мост и с высоты увидел только Женькину шапку. Крутясь, плыла она по толпе, как по бурной реке. Вот мелькнула за углом, пропала.

Трофим поспешил к стоянке такси. Он уже садился в машину, когда снова увидел Женьку: Лешашихин сын и шофер совхозного грузовичка раскачивали чемоданище, чтобы забросить его в кузов. Забросили. Женька вытер пот и легко вонзился в тесную кабину. Грузовичок тронулся.

— Давай за ними,— сказал Трофим таксисту, чем-то смахивающему на Женьку.— Только не обгоняй.

— Это почему же?

— Надо!

— Как знаешь, батя! — дернул плечом мальчишка в кожаной шоферской фуражке. И с недовольной

гримасой потащился на новой легковой машине позади скрипучего грузовичка.

Помаленьку миновали мост над озябшей рекой, поднялись на горку, свернули к пруду. В нем который год полощут свои печальные волосы старые ивы.

— Стой-ка! — приказал Трофим.

Водитель тормознул. Повернулся к странному пассажиру, который никуда не спешил, хоть и взял такси, и спросил с неожиданной робостью:

— Вам куда все же?

Трофим вглядывался в осенний мелкий дождичек. Грузовичок покатился дальше, а возле пруда осталась одинокая фигура в толстом пальто и с тугим чемоданом.

— Погоди-ка! — Трофим вылез вслед за своей деревянной ногой и заковылял к пруду.

Под ивами торчала лохматая шапка. Вдруг она пропала. И Трофим, тяжело топоча, побежал. Рядом с ним поспевал легконогий таксист в своей кожаной фуражке. Они увидели странную картину: по холодной воде у берега яростно, с брызгами, шагал Женька без пальто и шапки. Ботинки валялись на сырой траве. Дождь вовсю осыпал неразумный затылок.

— Ошалел?! — вскричал, отдуваясь, Трофим и, накрываясь, за руку вырвал Женьку из воды. — Обуйся, босяк!

Тот обратил к нему мокрое лицо, запричитал:

— А вам-то что?! Это мое личное дело! Захочу — простужусь! Пожелаю — сдохну! Радуйтесь!

Трофим размахнулся, и Женька схватился за свой затылок.

— Обуйся, голодранец паршивый! — зашипел Трофим и уставился на него такими страшными глазами, что Женька, сопя и прыгая, принялся торопливо совать ногу в ботинок. — Садись в машину!

— Ну и сяду! — потихоньку огрызнулся Женька, залезая в такси. «Ишь, старый, разошелся!»

Женька бормотал, потирая голову, но смотрел с уважением. А Трофим подумал: «Был бы я твоим отцом!»

— Поехали, что ли? — спросил таксист.

— Жми! — важно приказал Женька. Он согрелся и обрел всегдашнее нахальство.

Женька ненадолго примолк. Едва подъехали к арке с названием совхоза, он потребовал:

— Высаживай! Я сам!

Вынырнул из дверцы, засеменял, кренясь в сторону чемодана. Сзади не отставал упрямый Трофим. Таксист, посигналив чудным пассажирам, уехал.

Возле первых домов Женька остановился и, усаживаясь на чемодан, заявил:

— Я домой не пойду!

— А куда?

— Я один не пойду!

— Ладно,— сказал Трофим после краткого раздумья.— Пойдем вдвоем.

Женька приободрился. А когда Трофим молча взял и как будто без натуги понес его чемоданище, парень едва не засвистел. Однако его безмятежности хватило на сорок шагов, пока не показалась вдали мастерская. Женька начал тянуть шаг, а потом и вовсе встал:

— Там народ!

— Везде народ.

— Там Бабкин и другие всякие...

— А ну пошли! Некогда мне с тобой! — притопнул Трофим, и Женька нехотя подчинился.

Как раз механизаторы закончили трудовой день и расходились. Женька очень надеялся, что в подступающих сумерках его не разглядают. Но не тут-то было: первый же встречный остановился перед ним.

— А-а, уважаемый Евгений! — раздался голос Ивана Петрова.

Нынешний день начался для Ивана плохо: рука зажила, гипс сняли и выписали его на работу. А так еще хотелось побродить забинтованному по мастерской, раздавая дельные советы желающим.

Иван весь день проходил мрачный, все хотел с кем-нибудь поругаться, но ни одного слабого рядом не было. И, увидев понурого Женьку, он повеселел.

— С приездом! — крикнул Иван громко.— Опять удравши? Где словил-то, Трофим Иванович?

Петров на правах «опытного седого» обожал читать нравоучения молодежи.

Он подступил вплотную к бедному Женьке и, с удовольствием разглядывая его сиротское лицо, изрек:

— Говорил я неоднократно: явно не получится из тебя механизатор — нос не дорос!

— Ну и хватит! — оборвал его Трофим. — По здоровью он, понял? Эй, Бабкин! Забирай человека! Видишь: еле стоит!

Покачивая плечами, подошел Бабкин — ни о чем не спросил и Женькиной протянутой руки не заметил. Он поднял его чемодан и понес. Беглец побрел следом. Позади шествовал Павлуня.

Иван Петров хотел крикнуть вдогонку несколько веских слов, но, опасаясь Трофима, смолчал. Зато Павлуня колол Женькину спину:

— Эх, ты! Опять ты... И не совестно?

— Совестно, совестно! — быстрым шепотом отозвался тот. — Все понял, осознал, только заткнись!

Возле родимого дома он затормозил. Долго и очень внимательно рассматривал какую-то скучную доску в заборе, потом принялся задумчиво изучать калитку, за которой давно повизгивала и скреблась Жучка. Когда собрался пощупать, крепко ли ввинчено кольцо, Бабкин подпихнул его плечом, и Женька, споткнувшись, шагнул на просторный двор.

Навстречу метнулась лохматая собачонка. Только бросилась она не к хозяину, а к Бабкину с Павлуней. Бабкин сдержанно погладил Жучку, зато Павлуня обнимал ее от души, ласково трепал за уши.

— Не трогай! Добрая будет! — ревниво оглянулся Женька.

— Вот и хорошо, — сказал Павлуня.

— Чего ж хорошего! Зачем мне добрая?

— Иди! — сказал Бабкин.

Женька медленно стянул с головы шапку, поскреб подошвы о рогожку, ступил на отчее крыльцо, словно попрошайка.

— Миш, слышь, давай ты первый, а? — попросил он.

Бабкин пошел первым, за ним — Павлуня, позади всех обтирал стенки блудный Лешачихин сын.

На кухне остывала широкая русская печь. Пахло жареной картошкой. Настасья Петровна, мелькая в горнице, что-то напевала.

— Ты, Миша? — услышала она шаги квартиранта. — На почту не забегал? Что-то от моего письма нету.

Она появилась — босая, в узком тренировочном костюме, с тряпкой в тощей руке: видно, мыла полы.

— Привет! — сказал Женька, деловито покашливая в кулак. — Пахнет у тебя вкусно.

Тряпка шлепнулась на пол. Сама Настасья Петровна привалилась костистой спиной к печке.

— Что ж это такое? — едва сумела прошептать она, глядя не на Женьку, а на его чемодан.

Сын, вскидываясь, зашумел:

— Покричи, покричи — совсем из дому сбегу!

Смелая Лешачиха беспомощными глазами посмотрела на Бабкина.

— Ничего, — успокоил ее Павлуня. — Живой ведь. Ведь вернулся.

А Бабкин ничего не сказал — молча прошел за ширмочку мыть руки, прихватив с собой Павлуню, которому очень хотелось послушать, какими словами станет ругать Лешачиха беглеца.

— Тебя долго ждать? — спросил Бабкин Женьку.

И тот, схватив полотенце, с удовольствием юркнул к ребятам: ему было страшно оставаться с матерью — та ни о чем не спрашивала, ничего не говорила, а только смотрела скорбно, словно с иконы.

Бронзовый Бабкин, голый по пояс, побрякивая, обливался холодной водой. Павлуня без криканья мыл только руки и слегка лицо. Женька брезгливо прикасался черным пальцем к струйке.

— Мойся! — Бабкин отдал ему скользкий кусок пахучего мыла.

Сам крепко растерся мохнатым полотенцем, вернулся к Настасье Петровне и деловито начал собирать на стол, братец ему помогал. Уже появилась румяная картошка, заскраснели помидоры, влажно блеснули зеленью огурцы, а Женька все еще возился возле умывальника.

— Иди, дачник! — позвал Павлуня.

— Сам ты!.. — ответил строптивец, однако к столу подсел и, ворча и обижаясь, набросился на картошку.

Буйный день укатал его. После вкусной картошки и горячего чая с вареньем теплая сладость разлилась от живота по всему телу. Отнялись ноги, закрылись глаза, в ушах тихонько зазвенело. «Сейчас зава-

люсь!» — блаженно подумал он, но Бабкин растолкал его.

— Завтра поедешь в училище!

— Лучше удавлюсь! — мигом проснулся Женька.

Он смотрел в лицо Бабкину такими круглыми злыми глазами, что Настасья Петровна тяжело вздохнула. Сын обернулся в ее сторону.

— И не думай, не надейся! — закричал он. — Не поеду, хоть размолотите!

Бабкин сунул ему ручку, положил перед ним на стол бумагу:

— Пиши!

— Чего еще? — нахмурился Женька.

— Пиши! — Бабкин начал диктовать: — «Директору вечерней школы сельской молодежи».

Женька послушно гнал по бумаге корявые строчки, клевал носом. У него не осталось сил спорить и ворчать. Это дело он перенес на завтра, на свежую голову. Бабкин, перечитав его заявление, исправил в нем пяток ошибок и засунул бумажку в карман.

— Учиться будешь все равно. На комитете завтра решим, кого к тебе прикрепить.

Павлуня крепко подумал, сказал важное:

— Ему бы парня, посильней.

— Девку лучше, — с трудом выговорил вконец сомлевший Женька.

Через минуту он уже посвистывал в своей постели.

Уронив на колени руки, сидела бедная Лешачиха. Бабкин налил ей чаю, густого и пахучего. Павлуня толсто намазал хлеб маслом, от души наложил в блюдечко вишневого варенья, которое сам любил до сладкой дрожи в желудке, и, пододвигая все это хозяйке, сказал:

— Пейте, а...

— И не волнуйтесь, — подхватил Бабкин. — Мы ему шею ломаем!

— То-онкая, — жалобно протянула Настасья Петровна.

— Чего? — не понял Павлуня.

И она, сквозь слезы, с дрожащей улыбкой пояснила:

— Шея у него то-онкая...

СБЕЖАЛА ЗАПРАВЩИЦА

Утомленный, Женька спал крепко, дышал ровно и проснулся в самом боевом настроении. «Ну, куда поведут?» — приготовился он к драке.

Вошли одетые по-рабочему Бабкин, Павлуня и Саныч. Братья смотрели на Женьку буднично, словно он никуда и не отлучался, а Саныч не глядел никак, только презрительно кривил губы.

— Вставай! — сказал звеньевой, и Женька сморщился: столько в это «вставай» было упрятано не-вкусных дел — одевания, умывания, ходьбы и другой скучной работы.

— Помереть не дадут! — больше по привычке, чем от сердца, ворчал беглец, шлепая босиком по комнате и разглядывая рассвет за окном: серенький, весь в дожде.

Сперва его повели в контору, где директор Ефим Борисович Громов без особой охоты, больше по обязанности, прочитал ему дежурную нотацию. «Господи, и надоед ты мне!» — было написано на его лице. Женька посмотрел на красные знамена, на торжественный стол в кабинете и подумал: «Перезимуем!»

— Куда мне его теперь?! — вырвалось вдруг у Громова.

— К нам, куда ж еще, — ответил Бабкин.

— Ладно, бери пока в звено, а там придумаем что-нибудь.

«Утро начинается с рассвета», — пел репродуктор на столбе у мастерской. Утро в совхозе начиналось отсюда: здесь, под навесами, оживали трактора, разъезжаясь во все концы большого хозяйства.

Женька настороженно огляделся. Никто не смеялся над ним. Механизаторы возились возле своих тракторов, на длинной «курительной» скамейке сидел некурящий Иван Петров.

Рядом с выцветшим Иваном присел на минутку его румяный сын с пышными бакенбардами овсяного цвета. Сын этот ступал по земле чинно, а знакомясь, представлялся с солидностью: «Модест!» Однако народ посмеивался, называя его Модей либо Пузырем. Он и верно походил на пузырь: росту был невеликого, имел животик, сытые щеки и нос картошкой.

В работе Модест толк знал. Он любил сеять да

пахать вдумчиво и не носился по полю, как его родитель. Отличался механизатор внезапной, почти ребячьей обидчивостью: назовут Пузырем — надуется, запыхтит. Уживался он с людьми плохо, переменял не одно звено и наконец пришел к Бабкину. Здесь ему неожиданно понравилось: Модест оказался самым старшим, успел в свои двадцать три года и жениться и детей завести. Это давало ему право неторопливо рассуждать о трудностях воспитания, и его слушали не перебивая. Модест был очень доволен, ходил важный, в новом ватнике, в крепких стеганых штанах, из кармана торчали зеленые, только со склада рукавицы.

Иван Петров получил спецодежду вместе с сыном, но, как человек запасливый, припрятал ее пока и красовался в таком одеянии, какое и на чучело постыдились бы напялить. Брюки на коленях разодрались, ключьями вылезала вата.

— Идет, деятель! — проворчал он, увидя Бабкина. — Не ценят у нас опытных.

— Ничего. Оботрут, — сказал Модест.

Он выражался короткими, рублеными фразами, Иван же Петров, любитель узорчатой речи, ответил сыну такими словами:

— Разве они являются ведущей частью? И позаслуженней имеются.

— Точно, — отрубил Модест, и оба замолчали, потому что Бабкин подошел близко и мог услышать.

— Привет товарищу звеньевому! — с ехидством сказал Иван. — А Евгению особый привет!

— Здорово! — ответил Женька, плюхаясь рядом с ним на скамейку. — Что суров, Иван Петров?

Иван понял, что сейчас Женьку лучше не задевать. Он поспешно отвернул лицо — без бакенбардов, с редкой щетиной, но с таким же, как у Модеста, фамильным носом. Женька, однако, не унимался. Он проскакал глазками по дырам на его одежде, и молодой голос вознесся над тракторами, заглушая репродуктор:

— Ты что, по колючей проволоке елозил? Аль гуси тебя щипали?

— Ты не очень-то, — нахмурился Иван. — Помолчал бы.

— А мне не молчится! У меня аппетит на разговоры! — Женька решил доконать Ивана за вчерашнее.

Тот понял это и, вскочив, пошел к Бабкину. Сапоги

у него так скособочились, что казалось, он идет на голенищах. Женька захохотал.

— Звеньевой! — засвистал Иван, подступая к Бабкину. — Уйми своего! Иль я до Громова дойду! До парткома доберусь.

Когда Ивана задевали за живое, он высказывался просто и понятно.

Бабкин посмотрел на Женьку. Тот забормотал, бегая глазками:

— А я чего, я ничего! Делать-то мне чего?

А дел у совхозных механизаторов и осенью и зимой по самую маковку.

Только Женьке хоть бы что! Смотрит, улыбается. Ни интереса в глазах, ни тревоги — пустота. Словно не на земле родился — на облаке, будто не крестьянский сын, а мотылек.

— Ветошь бери, поедem на заправку, — сказал Бабкин, подавив вздох.

— Мне думается, скоро мы не заправимся, — неопределенно высказался Иван Петров.

А сын его пояснил, опустив глаза:

— Вики нету. Ушла.

— Опять? — неизвестно чему обрадовался Женька. — Ловка!

— Спокойно, товарищи! — убеждал механизаторов молоденький озабоченный инженер. — Заправщицу найдут! Через десять минут!

— Жди ее появления не ранее, чем завтра, — сказал Иван, а Модест согласно кивнул.

Женька потер руки:

— Нароботались! Пойду пока с прессой ознакомлюсь! — и помчался галопом набираться ума.

Павлуня, осмелев при Бабкине, вдруг выступил из-за его спины и монотонно, без точек, запятых и прочих знаков препинания произнес:

— Безобразие это нельзя же так она же не первый раз нужно директору сказать...

— Во-во! — отозвался Иван Петров. — Сбегай, ежели ты такой очень сильно ретивый!

Павлуня ушел за Бабкина и больше не высказывался.

Звеньевой неторопливо двинулся в красный уголок. За ним нехотя подался Модест без головного убора — он до самых морозов хвалился пышными ру-

сыми кудрями. Побрел от нечего делать Иван Петров, позади всех потопал Павлуня.

В просторном красном уголке по стенам висели плакаты и лозунги, лежали на столах шашки, шахматы и стопки журналов. Возле окна красовался бильярд размером с футбольное поле, такой же зеленый. Обычно в рабочее время шары запирали в шкаф, но сейчас они звонко щелкали, катались по гладкому полю. У бильярда, словно рыцари на турнире, стояли друг против друга с киями в руках взъерошенный Женька и взлохмаченный инженер.

— А там трактора ждут,— набычившись, сказал Бабкин.

В это время Женька точным ударом вогнал шар в лузу и подскочил от азарта. Инженер с раздражением крутнулся к Бабкину:

— Я же сказал: побежали за ней! Не ясно, что ли? Женька, прицеливаясь кием, брякнул:

— Пузырь за ней всю жизнь бегают — никак не угонится!

— Ты! — начал наливаясь кровью Модест.— Ты что сказал?! Да я тебя!..

Неизвестно, что сотворил бы Модест с неразумным Женькой, если бы не вошел главный агроном и первый заместитель директора Василий Сергеевич Аверин.

— Собрались? — спросил он тенорком, обегая всех взглядом.— А техника стоит?

Василий Сергеевич вырастил нынче небывалый урожай капусты и после этого стал говорить громко, других не слушая, и в голосе его появилось раздражение.

Легкого Женьку выдуло в коридор, и он, высываясь, делал знаки остальным.

— Ну, а ты, не наигрался? — повернулся Василий Сергеевич к Павлуне, что смиренно отирался у стенки.

Павлуня, косолапя от смущения, зашагал к двери — в нее уже успели проскочить, как намыленные, и тощий Иван Петров, непревзойденный в речах, и круглый Модест, солидный в движениях. Они стояли в коридорчике, тянули шеи, слушали.

Инженер присел к шахматному столику и что-то быстро писал. Вид у него был такой деловой, что надо бы ходить на цыпочках и говорить «тссс!».

Аверин бросил на него подозрительный взгляд, потом поглядел на Бабкина и своим новым, недавно приобретенным раздраженным голосом спросил, думает ли звеньевой вообще сегодня приступать к работе или он собирается и дальше гонять шары.

Инженер улизнул, сунув бумажку в карман и покачивая головой. В красном уголке остались только Аверин да Бабкин, не считая народа, торчащего в дверях.

— Вика сбежала, — начал было объяснять Бабкин главному агроному.

Но Василий Сергеевич, не дослушав, зашумел:

— Это не твоего ума дело! Твое дело — указания выполнять! Вот и выполняй!

Бабкин, потемнев, подошел к телефону, поднял трубку.

— Директора можно? Ефим Борисыч, Бабкин это. У нас трактора стоят, а мне говорят: не мое дело.

Главный агроном выхватил из рук звеньевого трубку и сказал в нее сердито:

— Ефим Борисович, мы эти мелочи сами уладим! Что? — Он послушал и, сведя брови, закричал так, как мог позволить себе кричать только мастер высоких урожаев: — А я считаю, что не всякому нужно лезть в дела руководства! Полагаю, что данный случай вообще не касается дирекции! Здесь инженер разберется! Что?! Может, мне лично бегать за всякой заправщицей?!

Трубка задребезжала. Василий Сергеевич отодвигал ее все дальше от покрасневшего уха, морщился: когда Громов сердился, он гремел. И главный агроном, заметно сникнув, стал отвечать потише, но все еще с раздражением:

— Хорошо, я дам указание! Да-да, прослежу лично! Конечно, это и меня касается! Да, понимаю, не маленький.

Он положил трубку, потом медленно надвинулся на Бабкина, встал над ним, огромный, как Змей Горыныч. Бабкин, подняв лицо, смотрел прямо в его глаза, не моргая, не бледнея. Крепким боровичком врос он в землю — не сквырнуть просто.

— Чего смеешься? — хмуро спросил Аверин. — Рад?

Бабкин чуть усмехнулся:

— Доволен. Здорово он вас.

Василий Сергеевич трахнул кулаком по зеленому бильярду — подпрыгнули шары. Отдуваясь и остывая, Аверин удивленно смотрел на звеньевского:

— А ты пробивной. Прямо таран!

Инженер, появившийся снова тут, тоже смотрел на Бабкина с изумлением.

— Ну зачем же так сразу-то? — пробормотал он, обращаясь к Аверину за поддержкой. — Можно и без паники. Если каждый да прямо к директору!.. — И он покачал головой.

— Давай сюду Вику-чечевику! — зашумел на него Василий Сергеевич. — Я из нее гречку сделаю!

Инженер ответил обиженно и звонко:

— Я дал указание, чего еще! Не самому мне за ней бегать — я не спринтер!

Голос его сорвался, инженер замолчал. Аверин наступал на него, тот пятился, но глядел упрямо.

— Я слетаю! — вызвался Женька — он уже застоялся и жаждал действия. Пробегая мимо Бабкина, дернул его за руку: — Молоток!

Модест тоже сдержанно похвалил звеньевского, когда они вышли на воздух и Аверина поблизости не было.

— Молодец! — сказал он. — Врезал. Пусть не рычит. Капустник.

Модест когда-то жил по соседству с Авериным, поэтому считал себя вправе говорить о нем за глаза всю правду, пусть самую горькую.

Павлуня подошел к брату, поглядел синеоко и высказался:

— Как ты его! Он даже весь...

Звеньевой молчал. Брови у него были сведены, рот комочком, а глаза — острее лезвия, только чуть поблескивали. Если у Бабкина лицо вырублено из неподатливого темного камня, то у брата его оно сработано из бледного воска. Синие глаза Павлуни кажутся чересчур яркими на этом воске.

— Бежит, — сказал Павлуня, приглядываясь.

По дороге тяжело топал Женька с чемоданом. Он подбежал к Аверину, плюхнул ношу на землю, прерывисто доложил:

— Поймал! На остановке! Она — ни в какую, а я

вещички хватать! И — деру! Теперь никуда не денется. Тут будет!

И верно: минут через десять из осеннего утреннего дождичка выплыла Вика.

— Иди, иди, я тебя сейчас!.. — таким голосом пообещал главный агроном, что Женька даже поежился от возбуждения: будет крупный разговор, а может, и целый скандал.

И вот она появилась. В светлом плаще, в легких сапожках, с карамелькой за щекой.словно лебедушка проплыла мимо замасленных медведей, ни на кого не глядя, не опуская гордой головы. Трактористы, видно, так здорово накричались, что теперь весь запал у них потух, и они встретили красавицу только тихим ропотом. Главный агроном, нагнав ее и торопливо шагая рядом, начал:

— Что это вы, однако! Столько народа ждет!

Статная Вика посмотрела на Аверина своими загадочными, в меру подмалеванными глазами.

— Лоб грязный.

— Чего? — Василий Сергеевич поспешно вытащил платок, стал тереть свое лицо.

— Да нет же! — отобрала она платок, мазнула по нему кошачьим острым язычком и принялась у всех на виду оттирать лоб главного агронома и первого зама.

Народ захихикал. Модест проворчал:

— Работать надо. Заправляться пора.

— Миленький! — со смехом ответила ему Вика. — Да я тебя в первую очереди! Подъезжай скорей!

«Нет уж, пусть Бабкин вперед!» — решили и молодые и старые механизаторы, до которых докатился быстрый слух о Мишиной смелости в разговоре с Громовым.

Возле мастерской затрещали пускachi, низко загудели дизели. Бабкин на синем колеснике передом поехал к заправке. Следом сунулся было Павлуня, его осадили.

— И постарше народ в наличии имеется! — веско сказал со скамейки Иван.

Павлуня спорить не посмел: Бабкин был далеко, у самой заправки, а без него храбрость брата таяла, как легкий утренний туман.

Новоиспеченный разнорабочий Женька весело под-

прыгивал в кабине Бабкина. У Павлуни ему делать нечего: он терпеть не мог тащиться в хвосте. С трактора дальше видно, чем с земли. Он подмигнул сверху заправщице — та в ответ показала кулак и тут же засмеялась, обнажив славные зубки. Вика скинула плащ да сапожки и теперь, в валенках с галошами, в халате, не казалась белой лебедушкой, а стала просто красивой девчонкой. На нее можно и поворчать, что и делали сейчас механизаторы. Вика огрызалась весело.

— Моя мать несется, — вдруг сказал с недоумением Женька. — Чего она тут потеряла?

К мастерской широкими шагами шла Лешачиха. Она остановилась у ближнего трактора, спросила о чем-то механизатора, тот показал пальцем в сторону Бабкина.

— Тут мы! — высунулся Женька, размахивая шапкой.

Настасья Петровна подошла к парням, протянула звеньевому листок. Это была повестка из военкомата.

ТАНКИСТЫ

Василий Сергеевич, прочитав повестку, сказал:

— Та-ак! Значит, уходишь. — Досадливо посмотрел на Бабкина, словно тот в чем-то провинился. — Говорил ведь я! Не послушались! Вот и прощай, твое звено!

— Ничего не прощай, — возразил Бабкин. — Народ-то вот он, весь тут.

Он показал на своих: на чумазого Саныча, что в растерянности стоял с ключом в руках, на важного Модеста — тот согласно кивнул, подобрав губы, на Женьку — Лешачихин сын суетливо ему подмигивал. Бабкин посмотрел на братца — Павлуня испуганно покрутил головой:

— Нет, я тоже! Мать небось уже получила.

— Ну, милый, в дальнюю, значит, дорожку? — сердечно сказал Иван Петров, поглядывая на звеньевого ласковой, чем на родного сына.

Бабкин похлопал свой трактор по теплому боку:

— Берегите моего коня.

Иван, хоть его и не спрашивали, бойко ответил, что он большой мастак «по части различных агрегатов»,

повидал их на своем веку немало и знает их железное нутро не хуже своего. Так что Бабкин может ехать спокойно и не сомневаться.

Павлуня тоже похлопал свой колесник и попросил:

— И вы, если что, тоже... Пожалуйста...

Ему четко ответил Модест:

— Я возьму. Под контроль. Личный.

Женька давно уже танцевал на месте:

— Хватит трепаться! Кидайте свое железо! Обнялись!

— Иди рассчитывайся,— сказал Аверин.— Чего там...

...Бабкин задумчиво брел по улице. Шагая с ним рядом, Павлуня пытался, как Миша, сдвинуть брови и принять гвардейский вид. Но мягкое лицо его не хотело взростеть, как ни нагонял он на лоб морщины.

У заборчика стояла круглая девушка в светлой курточке и белой шапочке: медицинская сестра Татьяна Чижик уважала этот стерильный цвет.

Увидев ее, братья сразу стали неловкими и пошли к ней деревянной походкой.

Первым, однако, поспел Женька. Схватил Татьяну за руку, затряс:

— Привет, старушка! Как здоровье? Не похудела?

Девушка улыбнулась, показав ямочки на щеках. Татьяна смотрела сейчас только на Бабкина.

— Уходишь?

— И я! — ревниво покосился Павлуня.— В танковые!

Но девушка не услышала слов Павлуни, и догадливый Женька оттащил его подальше, зашипев:

— Не мешай, балда!

Они минут двадцать очень медленно двигались до конторы и уже успели многим рассказать про повестку и танковые войска, а Бабкина все не было. Павлуня недовольно ворчал:

— Прощаются! Белым днем-то!

— Не волнуйся, они и на вечер оставят,— успокоил его Женька.

Павлуня тяжело засопел.

Наконец Бабкин нагнал их, и они все вместе вошли в контору. Пока ждали директора, Женька сообщил секретарше новость, а сердитый Павлуня на сей

раз ничего не добавил. И очень вовремя: секретарша, грустно глядя на братца, пожалела его:

— Один остаешься, без Бабкина своего.

— Не-е! — протянул Павлуня, бледнея и оглядываясь на парней. — Мы вместе!

— Тебе отсрочку дали! — сказала секретарша.

Тут вошел директор и подтвердил ее слова. Напрасно Павлуня тряс головой. Ефим Борисович, подписывая Бабкину необходимые бумаги, мягко говорил Павлуне:

— А ты через годок собирайся. Ничего. Подождешь. И мне полегче будет, да и нельзя же всем сразу уходить: у вас такие дела закручиваются!

Бедный Павлуня! С Мишей он хоть на край света, а один и дальше Климовки не дойдет.

— Позвоните, а? — попросил братец. — Пожалуйста! — И губы его задрожали.

Громов нахмурился:

— Чего звонить-то! Решено все. Иди, провожай брата!

У конторы их поджидал отмытый Саньч. И парни вчетвером зашагали по центральной улице, которую Ефим Борисович так утыкал фонарями, что по вечерам в свете мощных ламп меркли звезды.

Было то самое время, когда только по запаху можно отличить позднюю осень от ранней весны. Сейчас весной не пахло ни с какой стороны. Дышала холодом близкая зима. Звуки и цвета приглушены, все неяркое, все чуть-чуть: небо серенькое, поля темненькие, березы в неясную крапинку. Лист на земле померк, прибитый дождями и колесами. Во всем мокром мире жили только веселые зеленя.

— Хорошие хлеба! — бодро сказал Женька, чтобы не молчать.

Саньч кивнул одобрительно: хлеба пока на славу. Теперь бы зимой не вымерзли, не вымокли бы весной, уцелели бы в засуху.

Возле своего нового поля ребята остановились.

Оно разлилось темными вспаханymi волнами от дороги до дальнего синего леса, до самой реки. Как шляпки грибов, белели по нему бетонные крышки колодцев.

У Женьки задрожали ноздри.

— Хватит! — прикрикнул звеньевой. — По домам!

Возле Павлуниного дома первая остановка. Дом был видный, рубленый на века. Над крыльцом приколочено на счастье деревянное, ярко раскрашенное солнце. Под солнцем подбоченилась сама хозяйка.

— Пашка! — закричала она, как обычно, на всю просторную улицу, хотя сын понуро стоял рядом. — Где ты скитаешься? Мне одной треснуть, что ли? Мишкина мадам небось всего напекла-нажарила! А, племянничек бесценный! — Марья Ивановна будто только что заметила Мишу.

С Бабкиным она изъяснялась на низких тонах — он терпеть не мог шума ни дома, ни на улице. Подперев кулаками бока, тетка тихим голосом, злорадно выпрашивала:

— Забрили, говоришь? Это хорошо: может, поумнеешь.

— А вам и армия не поможет, — задумчиво проговорил Женька.

Марья Ивановна взглянула на него, поняла и завелась. Отчесав Женьку как полагается, она приказала Павлуне топать домой и не связываться с «дураками несерьезными». А когда сын заупрямился, Марья Ивановна сбежала с крылечка и погнала его перед собой, подталкивая в спину и что-то бормоча.

— Жалко Пашку, — сказал Женька.

Бабкин ничего не ответил, он поспешил миновать крыльцо с раскормленным солнцем.

Павлуня, пригнув голову под притолокой, вошел в дом и с ужасом увидел столы, застеленные белыми скатертями и покрытые сверху пленкой, которую Марья Ивановна весной стащила у строителей с теплиц. Пленка эта — удобная штука: гости и видят хозяйские скатерти, да никто их не замарает.

Павлуня, переступая, смотрел на столы. Мать весело сказала:

— Провожу тебя не хуже, чем старая! Ничего, как-нибудь одна перебыюсь, зато человеком ты вернешься, хватким! — Она задумалась, но долго делать этого не умела и потому опять заговорила на весь дом: — Держись ближе к Мишке — с ним, чертом, не пропадешь!

Высказавшись, подошла к русской печи, такой же широкой, как она сама. Печь работала вовсю. Из-за горячей заслонки пробивался шипучий пар, по всей

кухне и дальше растекался сладкий дух пирогов. У стены ровной солдатской шеренгой выстроились глиняные горшки, стеклянные банки. Кастрюли, приземистые, как противотанковые мины, застыли у печи. Тяжелые гусятницы ждали команды, чтобы въехать в пекло. И всем этим громом, чадом и огнем умело управляла Марья Ивановна — кухонная генеральша. Лицо ее было красным, вдохновенным.

— Чего остолбенел? Помогай! — отдала она приказ.

Павлуня рискнул пробиться к печи — налетел на противотанковую кастрюлю, чуть не опрокинул бронированную гусятницу. Марья Ивановна с досадой сказала:

— Господи, какой же из тебя солдат, недотепа! — Она хотела, как в недалеком Пашкином детстве, треснуть бесталанного сына по затылку, да времени не было. Поэтому Марья Ивановна только прикрикнула: — Брысь с очей моих!

Павлуня поплелся, но мать остановила его:

— Повестку покажи!

Сын втянул голову в плечи. Марья Ивановна заглянула в его бесхитростные глаза и обомлела:

— Ой, мама! — Она села бы прямо посреди кухни, не будь та заставлена снедью. — Где повестка?!

— Нету! — развел руками Павлуня.

— А Мишке есть?

— Есть.

— А ты мне чего твердил и долдонил?! А?! «Вместе, вместе! В один день!» — Марья Ивановна запричитала: — Опять у тебя не как у всех! Да зачем же я столько денег извела? Зачем столько добра наготовила?! Как же я, дура грешная, так попалась? Кого я теперь удивлю? — Перестав стонать, она с ужасом прошептала: — А Лешачиха? Ой, батюшки! Будет же теперь старая хихикать! Пашка, Пашка, зачем ты меня обманул?

— Мы думали, — пробормотал Павлуня. — В танковые...

— Вот тебе танковые! — не пожалела ладони Марья Ивановна.

Павлуня, почесывая затылок, поплелся в свою комнату. Там, в полутьме и одиночестве, он пустился в неторопливые раздумья. Вспомнил, как их с Бабкиным в

один день и час вызвали на медицинскую комиссию. Крепкий загорелый Бабкин сразу понравился всем.

«Куда служить пойдем, молодой человек?» — зашуршал бумажками доктор.

«В танковые», — поделился заветной мечтой Павлуня, стоя перед комиссией тощий, с цыплячьей грудью и тонкими руками, по которым гуляли синие пупырышки.

Его долго поворачивали во все стороны, шупали затылок и живот, читали медицинскую карту, здорово исписанную, спрашивали, чем болел в детстве и на что жалуется теперь. Павлуня отвечал с удовольствием, вспоминал все свои давние болезни: редко когда его слушали так серьезно, не перебивая. Потом сказали очень вежливо:

«Хорошо, идите. До свидания».

«И вам тоже всего доброго», — проговорил Павлуня и журавлем зашагал одеваться, уверенный, что Советская Армия и особенно ее бронетанковые силы без него никак не обойдутся. Дома на вопрос матери, годен ли сын в солдаты, отвечал кратко, по-военному: «Так точно!» Вот тебе и «так точно» — отсрочка.

Вспомнил Павлуня, как часто в последние дни Бабкин водил его за собой: на учебу звеньевых, на склад, где семена, в поле, к колодцам. Как заводил он речь про самостоятельность и ответственность механизатора — видно, не зря это.

Пока Павлуня вяло размышлял, Марья Ивановна на кухне подсчитывала свои расходы. Скорая на денежный счет, она живо прикинула, сколько рублей выбросила на ветер, и в сердцах пробормотала:

— Дура я полоумная! Колотить меня, да огромной дубиной! — И позвала: — Пашка, явись!

Дверь приоткрылась. Когда Марья Ивановна говорила таким голосом, нужно было ожидать быстрой расправы. Сейчас Павлуня подходил к матери без страха. Остановился перед ней, спросил равнодушно:

— Ну?

Такое безразличие озадачило Марью Ивановну и немного охладило ее, хотя голос и гремел с прежней силой:

— Садись теперы! Садись, милок! Ешь! Для кого я столько добра наворотила?! Ешь! Лопай!

Павлуня уселся, подперев ладонями щеки,

Марья Ивановна с грохотом ставила перед ним кастрюли, сковородки, тарелки, приговаривала:

— Ешь, кушай! Поправляйся! Я-то, дубина, хотела Лешачиху удивить — переплюнуть! Думала: лопнет, старая, от зависти!.. Лопнет! Только от смеха!

Марья Ивановна потчевала сына, гремя на весь большой дом, а безучастный Павлуня сидел и лениво кушал. Мать посмотрела, помолчала, потом спросила отрывисто:

— Вкусный гусь-то?

— Ничего...

— Как так ничего?!

Сама взяла кусочек, попробовала с обиженным видом, да так увлеклась, что расправилась с доброй половиной и поглядела веселей. По лицу ее вдруг пробежала неясная усмешка. Павлуня так удивился перемене, что отложил вилку.

— Ешь, Паша,— задумчиво сказала Марья Ивановна, и сын вытаращил глаза.

Давно мать не называла его Пашей. В сердцах именвала дармоедом, на людях звала Павлуней, в добром духе кликала Пашкой, а распалясь, кричала, что придется, не выбирая слов.

— Мишка, говоришь, в армию идет, а ты, значит, нет...— тихо проговорила Марья Ивановна.— Так чего же я психую, дура?

— Может быть, еще... кто знает...— подал голос Павлуня, но она не слушала, похаживала по кухне, улыбаясь теперь вовсю, как и ее красное упитанное солнце над крыльцом.

Вдруг она подмигнула сыну:

— Пускай теперь, старая, без работника проживет! А мы поглядим. Пускай одна со своим дурнем Женькой останется, а мы посмотрим! Нам с тобой и без Бабкина хорошо будет!

«Плохо будет»,— мысленно возразил ей Павлуня, но вслух ничего не сказал: редко он видел мать такой покладистой и не хотел перечить ей.

ПРОВОДЫ

— Вставай, хозяин!

Павлуня удивился такому обращению и открыл глаза. Они у него, словно у ребенка, и после крепкого

сна остались чистыми, только веки слегка припухли. Возле постели стояла Марья Ивановна. Что-то необычное было сегодня в ней. Павлуня пригляделся: мать красиво причесана. Заметив его взгляд, пояснила:

— Это не для себя, а ради проводов.

«Проводы» — тоскливое слово защемило сердце. Павлуня выпростал из-под одеяла тощие ноги, задумчиво уселся на постели. На спинке стула висела белая рубаша, которую он вчера выгладил, на ней — новый галстук. «Будто праздник», — подумал Павлуня, нащупывая ногой любимые домашние туфли — теплые, с войлочной стелькой. Потом побрел умываться.

— Почисти! — приказала Марья Ивановна, с большим аппетитом поглощая гуся с капустой. — Пусть они видят: не грязнее мы их!

«Они» — это Настасья Петровна и Бабкин.

Накормив сына до отвала, Марья Ивановна только после этого позволила ему одеться. Павлуня пропихнул неловкие руки в рукава рубашки, натянул брюки, ботинки со скрипом.

— Господи, как в церкву собрался! — воскликнула его грешная и совсем не богомольная мать. Она хотела добавить, что рубаша очень идет к синим Павлуниным глазам, но высказала это, как умела: — Дешевенькая рубашка, а видная.

Однако ни рубаша, ни пиджак не сделали сына взрослее. Черное оттеняло бледность его щек, а узел галстука никак не вязался с тощей шеей. Парень смахивал на гусака в пиджаке.

— А ничего ты вымахал! — удивилась Марья Ивановна, похаживая вокруг сына, одергивая на нем костюм. — И когда успел!

Они вышли на улицу.

— Поливает! — рассердилась Марья Ивановна. — Зря прическу сделала, целый трояк извела!

Дождь не поливал, он шипел, тихий, невидимый, надоедливый. Павлуня любил такой дождь: под него хорошо думалось и легко спалось.

— Гляди! — мать пихнула его локтем, и Павлуня увидел Бабкина, Женьку и Лешачиху.

Настасья Петровна шла в теплой середине, а ребята с обеих сторон так ласково вели ее под руки, что Марья Ивановна запыхтела:

— Хрустальная! Расколется! — и тоже велела сыну взять ее под локоть.

— Ладно тебе уж, — нахмурился Павлуня, но все же, просунув руку, неловко повел Марью Ивановну, а та гордилась, словно невеста.

Небо было серое, думы у Павлуни — невеселые. Зато Мишина тетка ликовала: счастье вроде бы показало ей свою раскормленную физиономию: Бабкин уходил, Павлуня оставался, теперь-то она слепит из него все, что захочет.

«Первым делом — к хозяйству за уши притяну!» — мечтала Марья Ивановна, размашисто шагая рядом с Павлуней, и губы ее не расставались с улыбкой.

У клуба стоял автобус, шумел народ.

— Садись! — скомандовал молодой начищенный офицер, недовольно косясь на толпу, которая вся подавалась к автобусу.

Призывники полезли валом, галдя и толкаясь, и тут всем сразу стало видно, какие они еще не воины, а совсем мальчишки.

— Не могли уж два автобуса податы! — громко возмущилась Марья Ивановна.

Офицер оглянулся на нее. Парни уселись. Места хватило всем. Офицер еще раз, теперь насмешливо, поглядел на тетку и легко вспрыгнул в автобус.

— Козлик! — хмыкнула Марья Ивановна, но очень тихо, чтобы тот не услышал.

В окошки глядели глазастые да ушастые. Провожающие все враз испуганно загомонили, стараясь в эти последние минуты выкрикнуть самое необходимое. Бабкин кивнул Павлуне. Автобус покатил. Люди пошли следом, махая руками. Павлуня остался стоять, ссутулясь.

— Распрямись! — хлопнула его по спине Марья Ивановна. — Живи веселей!

НОВЫЙ ДИРЕКТОР

Павлуня ходил из угла в угол. Марья Ивановна шумно пила чай, отдуваясь и покряхтывая. Изредка она с укоризной поглядывала на сына. Наконец напилась и благодушно осведомилась, с чего это Пашка снует по горенке, словно таракан по столу.

— Тоска,— пробормотал Павлуня.

Мать искренне удивилась:

— Тоска?! Господи, с чего же?! Сыт, одет, обут — и тоска? Промнись, тогда и аппетит нагрянет.

Сын послушно оделся, вышел на улицу. Дождик накрапывал так лениво, будто и сам сомневался: разойтись или остановиться. Было то неопределенное время, когда народ только еще возвращался с работы и на вечерний отдых пока не настроился.

Сейчас, осенью, люди шли неторопливо, без шума. Тише стало на улице. Нет на дороге чужих машин — только свои.

— Здравствуй, Павлуня, милок! — улыбались бабушки у магазина.

Этим бабушкам можно улыбаться — они сделали свое: вырастили вместе с ребятами хорошую морковку на бедных песках. Теперь они пока отдыхают до весны.

А механизаторам забот не убавилось: ремонт, учеба, вывозка минералки да органики, тара, семена — да мало ли еще дел оставили на зиму, только-только успеть развернуться до весны.

Павлуне по душе осень: тишина приходит в деревню, и люди по-старинному здороваются с незнакомыми на улице, а со своими останавливаются прямо посередке:

— Как Миша? Что пишет?

И никому нет дела: а как живет на свете несчастный Павлуня?

Он добрел до нового дома. Посмотрел на Трофимовы окна.

«Если что — к Боре иди, к Настасье Петровне», — сказал, прощаясь, Бабкин. Но Боря Байбара в командировке, а к Лешахихе он не пойдет — совестно. Да и с чем идти? Никакой беды не стряслось, только зеленая мусть на душе.

Павлуня постоял у чужой двери, подумал и решил уже поворачивать оглобли, как вдруг скрипнули петли, и появился сам хозяин, сумрачный, черный.

— А-а, это ты, брат! Я думал — кошка. Проходи, проходи!

Павлуня, скинув сапоги у порога, в одних теплых носках прошагал в комнату, сел, убрав ноги под стул, подложив для мягкости руки под себя.

Трофим сглотнул какую-то таблетку, запил водой, Павлуня поморщился.

— Погодка-а,— подал парень слабый голос.

Трофим посмотрел на него и сердито пожаловался вдруг:

— Плохо мне, брат.

Павлуня понимающе кивал:

— И мне... очень...

— Давай тогда чаи гонять!

Чай взбудрил Павлуню, порозовел и Трофим, неотвязная боль вроде бы отпустила, дала вздохнуть. Он начал расспрашивать гостя про жизнь да заботы, а Павлуня тянул одно: тошно без Мишки, скучно.

— Ничего. Вас вон сколько молодых в звене-то,— утешал Трофим.

Павлуня равнодушным голосом отвечал на это:

— Нету звена. Разогнали.

— Кто? Как это? — вскинулся Трофим.— А Женька?

— Что Женька? — не понял Павлуня.— У конторы стоит...

— Пошли! — Трофим быстро оделся и зашагал, долбя асфальт оббитой деревяшкой.

Павлуня посапывал за его спиной. Ему сказано «пошли», он и пошел, а куда, зачем — дело десятое. Главное, впереди есть человек, который знает, куда держать путь, куда вести.

Возле конторы, несмотря на банное время, стоял народ, не спешил расходиться. Павлуня увидел своих: Женьку, Саныча, Модеста. Было много других механизаторов. Они покуривали, помалкивали. Никто не шутил. Не смеялись даже над Иваном, который и в контору-то, под очи начальства, явился в своих обносках.

Трофим кивнул всем вместе, Женьке он в отдельности пожал руку, спросил его:

— Что тут?

Женька ответил с бесшабашностью:

— Да ничего! Столпотворение! Приказы вот повесили!

Трофим, нацепив очки, поискал среди листов на доске, нашел приказ про Мишино звено. Серенькая невзрачная бумажка, хуже курительной, гласила, что звено распускается, а народ «ввиду производственной

необходимости» распределяется по разным бригадам.
— Видел? — кивнул Иван Петров замусоленной шапкой. — Модеста в лес гонят, на дрова. Это при его-то квалификации!

Трофим, не ответив, направился в контору.

— И мы с тобой! — бросился следом Иван Петров.

— Верно! — закричал Женька, которому все равно куда лезть, лишь бы пошуметь и потолкаться.

Он первым успел в приемную. Спросил, хватаясь за ручку директорской двери:

— Тут?

Он знал, что к директору по делам входили запросто в любое время дня и вечера, а по телефону звонили на квартиру и ночью.

На этот раз секретарша осадила его:

— Теперь без доклада нельзя.

— Это кому докладывать-то?! — осерчал Иван Петров и тоже рванулся было к двери, но секретарша отодвинула его, неколебимо встав на пути.

Директор Громов держал самую мощную секретаршу в районе, и отпихнуть Елизавету Егоровну не смог бы и силач Аверин, не то что хилый Иван.

— Тихо, — сказала она рассудительно. — Не нужно толкать старую женщину.

Тогда подошел Трофим и сказал:

— Передай: Трофим Шевчук пришел и хочет войти.

Елизавета Егоровна протиснулась в директорскую дверь, через минуту появилась обратно и с непонятной усмешкой объявила:

— Сам ждет вас.

Трофим вошел с громом, под его рукой успел прыгнуть только Женька, остальных оттеснила Егоровна.

Женька без приглашения плюхнулся в кожаное кресло напротив директора и завертелся.

Трофим уселся за отполированный стол подальше от начальства. Старого солдата не смутил зеркальный блеск — он придавил его тяжелыми кулаками, спросил добродушно:

— Слушай, ты что, с ума сошел?..

«Ого!» — обрадовался Женька и уставился на директора.

Вчера еще в этом потертom кресле сидел, привыч-

но сцепив пальцы на большом животе, Ефим Борисович Громов, хозяин, старый, умный, твердый, который ничего не боялся — ни дождей, ни засух, ни начальства, ни завистников. Говорил он мало, смотрел зорко и всякого понимал.

Сейчас на месте Громова восседал его первый зам Василий Сергеевич Аверин. Озабоченно подобрав нижнюю губу, он что-то быстро писал. Словно не расслышав вопроса, только на миг поднял отуманенный заботами взгляд, рассеянно сказал: «Минуточку!» — и опять заскрипел. Голос его прозвучал так обессиленно, что Трофим недоуменно посмотрел на Женьку, а тот на Трофима.

Аверин писал. Женька разглядывал кабинет, где его не раз распекал Ефим Борисович. Здесь ничего не изменилось: так же стояли в обжитых гнездах красные знамена — награда совхозному народу за труд, за бессонные ночи. Знамена эти переходящие, но который год никуда не переходят из этого кабинета, и все приехали к ним, как к собственным.

За двойными, промазанными на зиму рамами темнели поля, прибранные, вспаханные, мягкие. По низкому небу, по колкому ветру ворохами неслись крикливые галки — эти черные листья близкой зимы. А лето заботливо припрятали в хозяйстве: оно в пахучих тюках прессованного сена, в теплом зерне и в свежих смолистых досках, что лежат на складе у строителей.

Василий Сергеевич наконец отклеился от бумажки, с видимым удовольствием перечитал сочинение, вручил его секретарше для срочной перепечатки и только после этого измученно посмотрел на Трофима:

— Отчеты, отчеты — голова каруселью!

Женька подивился необычайно тихому голосу и кроткому виду главного агронома, который еще вчера шумел и громко разносил всех, а сегодня вдруг ослаб горлом. И он доверительно сказал ему, как другу:

— Народ обижается.

Василий Сергеевич определенно оглох. Он ничего не ответил Женьке, нажал кнопку звонка и, когда в двери боком встала Елизавета Егоровна, сказал ей устало:

— Я же просил никого не пускать постороннего. Попросите товарища выйти.

Женька не стал дожидаться, вскочил сам, метнулся к выходу, бормоча:

— Ничего, Громов-то вернется! Не век он в отпуску-то!

— Я нужна? — спросила пожилая секретарша, глядя в стенку поверх головы Василия Сергеевича. На Громова, с которым она проработала лет пятнадцать, Елизавета Егоровна смотрела с материнской ласковостью.

— Нет, можете идти.— Аверин с той же страдальческой улыбкой обратился к Трофиму: — Надел хомут — выдержи ли месяц...

Тот взглянул на мощную шею, на гвардейские плечи зама и только усмехнулся. Ишь, деятели! Сидит в чужом кресле, как в собственном. Чудит напропалую. Этак весь народ сгоряча за месяц разгонит. А Женька? Куда он его-то определил?

Трофим только хотел в сердцах поговорить с начальником, как тот ласково спросил:

— Как здоровье, Трофим Иванович? Вид у вас того...

— Ничего! Обойдется.

— Отдыхайте, а после мы вам работенку подыщем. Полегче.

— Я никогда легких путей не искал! — отрубил старый солдат.

Он встал, чтобы удобнее все выговорить, но в эту минуту за дверью послышался шум: кто-то ломился, а его не пускали. Дверь рывком отворилась, секретарша, чуть задыхаясь, встала на пороге.

— Ну, что там у вас? — поморщился Василий Сергеевич.

И Елизавета Егоровна с усмешкой ответила:

— У меня там ничего. А к вам Модя рвется.

В дверь просунулись знаменитые бакенбарды.

— Пусть войдет, — разрешил Аверин, и Модест вошел весь.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РАСЧЕТ

Он был в новой рабочей одежде, круглый, румяный, чистый, но с замасленными руками, чтобы сразу видели трудового человека. Губы у него опустились уголками вниз, лоб изрезали морщины, в глазах застыла горькая обида. В руке механизатор держал

грязную бумажку. Переступив порог, Модест с надры-
вом сказал:

— Сергеич, ты ж меня знаешь!

Аверин знал. Ох, как знал он своего бывшего со-
седа!

Сперва был Модест как все нормальные люди: па-
хал, сеял, больше делал, меньше говорил. Но когда
его портреты стали появляться в прессе района, когда
стал парень передовым да знатным, тут-то он впервые
и пришел к директору Громову и выложил перед ним
на стол заявление об уходе по собственному желанию.
Тогда это был чистый, ровно обрезанный листок.

Ефим Борисович знал: если человек приходит с та-
ким листком, он чем-то крепко обижен. Поэтому он
не стал уговаривать и стыдить механизатора, а сразу
спросил:

«Ну, что тебе, парень? Чем недоволен?»

«Нам-то ничего, мы-то всем довольны, только лю-
дям новые трактора дают, обидно это...»

В те времена юный Петров еще не выучился гово-
рить, как теперь, кратко и вместе с тем обстоятельно,
но директор сразу понял его.

«Дам я тебе трактор. Работай, чудак! И бумажку
свою выбрось!»

Модест вспотел, с изумлением поглядел на Громо-
ва, потом на свое заявление, медленно сгреб его со
стола, но не разорвал, а бережно, словно диплом с от-
личием, спрятал в самый дальний карман.

Потом, не без подсказки отца, Модест Петров стал
умело пользоваться своим заявлением, как отмычкой:
выпросил кирпич для гаража, доски для сарая, пленку
для теплицы.

И теперь он стоял с красным от обиды лицом, а
Василий Сергеевич смотрел не на него — на его бу-
мажку, и морщился.

— Слушай, Модя, — вдруг ласково спросил он. —
Погреб тебе сделали? — (Проситель искренне удивил-
ся такому началу разговора и кивнул.) Василий Сер-
геевич продолжал негромко: — Сарай построили, так?
Кирпич дали? Водопровод подвели? Так чего тебе еще
надобно, старче?

Модест подумал и сказал печально:

— Ничего мне от тебя не надо, Сергеич. За кир-
пич не тебе — Громову спасибо. Но он меня понимал,

А ты меня обидел. В первый день. А еще сосед. Бывший.

— Какой я тебе сосед, проходимец! — рассердился Аверин.— Выводитель!

Модест покачал головой:

— Я у тебя гроша не попрошу. А у Громова я первые места брал. По району. Я для него хоть ночь работать буду. Он мне доверял. Большие дела. У нас звено было. Перспективное. А ты меня — в лес?! На зиму?! Нет. Хватит. Подпиши.

Василий Сергеевич растерялся: быть того не могло, чтобы Модест явился без попрошайства. Он усмехнулся:

— Ты брось крутить! Навоз тебе нужен — так прямо и говори! Я распоряжусь. По дружбе. Дадут тебе высшего качества.

Баки у Модеста задрожали.

— Какой ты друг! Навоз! Да я и без тебя!.. Сколько надо!

— Так чего же тебе?!

— Ничего. Подпиши.

Модест тихо положил заявление на стол и удалился.

— Подумаешь, испугал! — с прежней силой загремел вслед ему Василий Сергеевич.— Хапуга!

Трофим отвернулся к окну. Модест стоял внизу, у стенда передовиков, и печально смотрел на свой собственный гордый портрет.

— Одумается, прибежит, Пузыры! — проворчал Аверин.— Какой нужный человек — Модя!

Модест медленно потопал прочь от стенда.

— Выбил ты человека из седла,— сказал Трофим.— Ребят без дела оставил...

— Пусть делают, что велят! — в запальчивости перебил временный директор.— Я знаю, куда их послать! Где мне нужней!

— Силен,— протянул Трофим.— Эх, Васька, Васька! А про них ты подумал?

— Молоды они для такого поля! — отрубил Аверин.— Сам же ты сомневался, забыл?

Трофим помрачнел:

— Много мы чепухи в жизни делаем, а исправлять и времени не остается... Жизнь коротка, Сергенч... Поэтому ошибаться не нужно.

Цветущий Аверин с высоты взглянул на заметно сдавшего Трофима.

— У меня времени на ошибки нет! Я работаю! И некогда мне думать о каждом Моде!

Он зоркими насмешливыми глазами смотрел за окно, в серую даль.

— До свидания, Трофим Иванович. Когда буду свободен — заходите, поболтаем, а сейчас, простите, некогда. И вот что я вам бы советовал: в таком возрасте, знаете, вредно ходить по конторам. Полежать вам нужно. Если вы понадобится — я обязательно вызову. Если понадобится.

— Что-о? — привстал Трофим.

Аверин улыбнулся:

— Погода, говорю, хорошая!

Трофим с трудом дохромал до приемной. Здесь сегодня рано зажгли свет: было пасмурно от налетевшей тучи. Дождь шелестел по стеклам.

В приемной стояли механизаторы, скребли затылки, переговаривались меж собой:

— Да-а...

— Вот тебе и да!

Иван Петров тыркался то к одному, то к другому:

— Сына выгнал! А за что? Где он еще такого найдет?! Скромного, безотказного! Эх, скорей бы Громов вертался, дорогой Ефим Борисыч!

Он мрачно плюнул в кадку с фикусом и тут же опрометью кинулся прочь от разгневанной секретарши. Женька долго, сладко хохотал.

Трофим потащил из кармана линялый кисет. Сердце его не унималось, снова мучила боль в животе. Он вспоминал налитое здоровьем лицо Аверина, широкие его плечи, тихий от великой усталости голос: «Если понадобится — вызову...»

— А если не понадобится? — пробормотал он.

Павлуня издали посматривал на Трофима, не решался подойти. Котенком резвился Женька, придирался к Саньчу, тот отмахивался.

— Вам тут что, детский сад? — раздался голос Аверина. Он стоял в дверях и смотрел грозно.

Павлуня, не терпевший яркого света и громкого голоса, первым поспешил к выходу. Он вздрогнул, как от выстрела, когда услышал:

— Алексеич, останься!

Павлуня встал. Мимо прошли угрюмые механизаторы и беззаботный Женька. Трофим уселся напротив секретарши и с вызовом поглядывал на временного директора.

Василий Сергеевич привел Павлуню в кабинет, усадил и сказал нормальным голосом:

— Просьба у меня к тебе: слетай-ка к Пузырю, передай ему мой приказ. Пусть не дурит, а выходит с понедельника на работу! Ишь артист! Если бы у меня народ был, я бы не кланялся! Иди! Пусть с женой прощается и — в лес!

Он подал Павлуне бумажку, тот, покраснев от волнения, засунул ее в карман. Сказал «до свидания», вышел спиной.

В приемной толпились парни из разбитого звена, поодаль стоял Иван Петров. Каменно сидел Трофим, курил, и Егоровна на него не ворчала.

— Ну, чего этот сказал? — кивнул Иван Петров на директорскую дверь.

Павлуня пошелестел бумажкой:

— Вот. Лично велено.

Иван от злости стал еще меньше ростом.

— Он что, надсмехается?! Он сына обидел — он меня обидел! А я двадцать лет за одним рулем! Ты, Пашка, брось эту филькину грамоту! В дом с ней я тебя не пушу!

Павлуня сказал, жалостливо улыбаясь:

— Как же... Ведь лично...

— Гонец! — дернул Женька плечом.

Раздраженно стучала на машинке Елизавета Егоровна. Молчал Трофим.

— Приказ у меня, — сказал ему Павлуня.

— Приказ надо выполнять! — ответил старый солдат. И отвернулся — не мог он больше глядеть на жалкую Пашкину улыбку.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ И ОБИЖЕННЫЕ

Справа зеленело хлебное поле, слева тихо радовалось такое же поле. Они были разрезаны ржавой дорогой, а по ней шлепал Павлуня.

Позади загудело. Он сошел с колен. Запрокинув голову, с робкой надеждой посмотрел на грузовик, в

кабине которого рядом с водителем сидели Иван Петров и Женька. Иван был насуплен.

Женька вертелся, как воробей на крыше, строил рожи и кричал Павлуне:

— Эй ты, адъютант его превосходительства! Доволок приказ? Гляди не потеряй!

Грузовик проехал, оставив в чистом воздухе бензиновый дух. Павлуня вылез на дорогу, пошел дальше.

Вот уже покраснела вдали водокачка, скоро появится скотный двор, потом — склад, а за ним пойдут первые хорошовские дома.

Видно, недаром так весело назвали село — Хорошово. Места здесь красивые: луга, озера. Река широкой синей дугой обегает заливные угодья. На одном конце дуги высится старая церковь — крестами на восход, на другом конце, на высоте, гордо стоит новая школа — окнами на солнце.

Хорошовские дома и в прежние времена были не под соломой, а теперь и вовсе красуются под железными крышами целые кирпичные терема — с резными наличниками, тесовыми воротами, стоят гаражи из бетонных блоков.

Сады здесь и раньше славились на всю округу, во дворах гремели цепями страшные псы, а про скупердайство тутошнего народа легенды катились далеко. Теперь все изменилось: сады разрослись, заборы стали ниже, а собаки вконец измельчали и глядят из форточек да легковых машин кудрявые, нарядные, смешные. Измельчал и Иван Петров. Сперва выгонял под пленкой ранний огурчик по золотой цене — на продажу, а когда совхоз стал получать в новых теплицах много дешевых огурцов, Иван тихо, без всегдашних поучений перекинулся на цветочки. Он ищет особые семена, читает мудрые книжки, а сколько навоза вывез Петров на свой надел, знают только темная ночь да выгнанный сторож — большой любитель крепких напитков.

Вот каков самый знаменитый хорошовский житель, в дом к которому шагал с приказом Павлуня.

Уже выросла вся водокачка, уже скотный заблестел новой крышей, как вдруг Павлуня увидел на чистой зелени озимых белые пятна, словно кто набросал там снега. Он пригляделся, приложив ладонь ко лбу: по хлебу, как по собственному выгону, бродили козы.

— Кыш, проклятые! — замахал парень длинными руками. Бежать нельзя — наделаешь сапожищами ям, поуродуешь хлеб.

— Швырни в них чем-нибудь! — раздался голос Трофима. Он подъехал неслышно на резиновом ходу и стоял возле тележки, ища глазами палку или камень.

Павлуня стал швырять глину с дороги — не помогало.

— Дикари! — бушевал Трофим. — Штрафовать таких! Гляди — это же Борька! Козел Ивана! Вредный, весь в хозяина! Гони его!

Павлуня не решился наступить на хлеб, и тогда Трофим похромал сам. Парень, страдая, наблюдал, какие глубокие следы идут за ним.

— Держи его! — закричал Трофим.

Прямо на Павлуню, выставив рога, трусой бежал огромный белый зверь. Кнута Трофим не возил. Павлуня схватил с тележки хворостину, замахнулся. Козел испугался, видно, длинной фигуры, встал, клоня рога, за которые ухватил его Павлуня. Хрипло дыша, подходил Трофим. Вид у него был такой злой, что парень, загораживая собой животное, сказал торопливо, как мог:

— Держу, держу!

Трофим все же ткнул скотину в бок:

— Для тебя сеяли, что ли?! Давай его в телегу!

Козел заупрямился. Тихо блеяли его подруги.

— Лезь, тебе говорят! — закричал потный Трофим. — Может, тебе коври персидские подать? Лезь, Иваново племя!

Вдвоем они вволокли рогатого в тележку. Трофим подстегнул лошадку, и она, обиженная, показала завидную прыть. За тележкой, мелко перебирая острыми копытцами, побежали козы.

Так и проскакали они на виду у всего села. Козел сидел важный, бородатый. Павлуня душевно обнимал его. Впереди сутулился Трофим. Варвара, чуя зверя, сильно косилась и фыркала.

Остановились около крепких ворот.

— Уже? — расстроился Павлуня, которому страх как не хотелось вылезать из нагретого сена, от теплого козла.

Он увидел большой дом — не хуже и не лучше про-

чих хорошевых: синяя калитка, зеленый палисадник, веселое крылечко, кирпичные стены. Сзади дома — ухоженный сад, впереди — огород, хорошо взрыхленный под зиму. И теперь еще в нем зеленело что-то покрытое пленкой. Поблескивали стекла небольшой теплички.

Павлуня сквозь планки палисадника с опаской заглядывал во двор: нет ли кусачего кобеля. Сарай был, колодец стоял, скромно красовался еще какой-то хозяйственный сруб, а будки с дырой и оскаленной песьей мордой не имелось.

Павлуня ожидал, когда Трофим первым войдет в калитку, над которой висел почтовый ящик с замком и надписью для верности: «Петров».

— Иди, иди, — сказал Трофим, набрасывая на козла тяжелый плащ, который постоянно возил с собой в непогоду.

— А вы?

— Я к этому куркулю не ходок!

Павлуня нашарил меж планками задвижку, поковылял. Шапку он стащил с головы, полпути не дойдя до крыльца, а сапоги скоблил о рогожку минуты три, пока Трофим не крикнул: «Телись!»

Парень постучал и вошел сперва в холодную терраску, потом, скинув у порога сапоги, ступил на кухню. Там было тепло и пахло обедом.

— Кто? — спросили из комнаты.

— Я.

— У двери постой — наследишь!

Павлуня увидел в кресле перед телевизором самого хозяина. Он сидел чистый, в валенках и вдумчиво смотрел кино про муравьев. Без своей грязной роботы он казался не таким тощим.

Сбоку от хозяина примостился Женька с банкой варенья на коленях. Лопал, облизывая ложку, как Мальчиш-Плохиш. Павлуня даже улыбнулся, вспомнив мультик. Женька насупился.

Кино кончилось. Иван встал, подошел к Павлуне:

— Ну, где твоя бумажка липовая?

Парень вытащил приказ, но Ивану не отдал, дождался Модеста. Тот, увидев Павлуню, не обрадовался:

— Чего надо?

Иван ответил за гонца:

— Приказ тебе приволок. Лично.

— Вот,— протянул Павлуня бумагу.

Отец и сын переглянулись. Женька крутил телевизор, словно его ничего больше не интересовало. Модест стал было читать приказ, но Иван, мешая ему, приговаривал:

— Иди, иди, вкалывай! Поманили тебя — беги! Все равно хорош не будешь! В лес тебя, на каторгу! За какую провинность? Вспомни, как он тебя! Вспомни!

Модест вспомнил: баки его дрогнули.

— И не ходи, не думай! — кричал Иван, размахивая кулаком.— С твоим талантом тебя везде примут. С двумя руками распростертыми! Дай-ка!

Он вырвал у сына приказ, разорвал его, бросил на ковер.

— Видал? Так и передай Ваське Аверину: Петровы, мол, обид не прощают!

Из другой комнаты выплыла высокая красавица, в желтом, с красными петухами, халате до пят. Халат в талии тонко перехватывался пояском. Золотые Золушкины волосы были распущены по плечам. Она посмотрела на ковер и сказала голосом заправщицы Вики:

— Очумели, что ли? Собери огрызки!

Модест тут же нагнулся, собрал бумажки, поглядывая искоса на Павлуню. Иван взял их у него, сунул гонку в ладонь:

— Передай Ваське. Лично.

Павлуня краснел, шевелил губами, тарашил синие глаза, стоя на пороге с остатками приказа в кулаке.

— Чего глаза рачишь? — усмехнулся Иван.— Гляди — выскочат!

Павлуня выпрямился.

— Торгаш чертов! Хапуга проклятый! Куркуль воюющий! — со вкусом обсасывая каждое слово, выговорил он.

Робость прошла. Парень с большим удовольствием смотрел, как моргает Модест и как Иван широко открывает рот. Женька живо повернулся и ждал, что будет. А Вика громко и одобрительно сказала:

— Ай да Пашка!

— Сопляк! — слезно вскричал наконец Иван, не выдумал ничего лучше.

Павлуня с тем же спокойствием ответил:

— Лучше сопляком быть, чем подлым.

Сказал и сам удивился законченности своих речей. Надел шапку, пошел к двери, но Иван кричал ему в спину:

— А ты кто такой?! Кто тебе дал право?! Я тебе разве должен?!

Павлуня через плечо посмотрел на него, увидел Трофима, который с трудом удерживал в тележке козла, и проговорил:

— Трофим там... израненный... Разве он за огурцы твои страдал?

Модест решительно подошел к полированному шкафу, пнул попавшегося под ноги пуделька, настезь распахнул зеркальные дверцы. Рванул — полетели на пол брюки и платья.

— Сдурел?! — кинулась было Вика, но супруг медленным торжественным жестом остановил ее, вытащил из дальнего угла черный пиджак и надел его не спеша.

На пиджаке брякали две медали.

— Гляди,— печально сказал он Павлуне.— Я тоже. На фронте. Мирном.

— До последней капли пота! — забрызгался Иван.

Модест силился затянуть пиджак — полы на животе не сходились. Павлуня насмешливо поглядывал на него.

Иван хотел пошуметь еще. Вика с досадой подняла бровь:

— Хватит. Надоело.

Иван примолк, а красавица лениво сказала посылному:

— Ну, насмотрелся на наше житье? Уходи — все равно дальше порога не пустят: ковры у них, чертей.

Она ни лицом, ни статью не походила на Петровых и казалась золотой рыбкой среди головастика. Павлуня глядел на нее и недоумевал, как это они сговорились жить вместе — некрасивый толстый Модест и красавица Вика.

За окном послышался голос Трофима. Павлуня испуганно повернул голову. Козел бунтовал, просился домой, а его подружки, подойдя к родному забору, дружно вставляли на дыбки, по-свойски заглядывали в огород.

— Борьку возьмите,— устало сказал Павлуня.

Женька захохотал и полетел на улицу. За ним вышел Павлуня. Подышал — воздух был свежий, без щей и капусты. Трофим уломал-таки козла: тот притих, пригрелся, посматривал из-под капюшона четкими янтарными глазами.

— Слушай, зачем скотину в зелена пускаешь? — строго спросил Трофим у Ивана, который смиренно стоял возле калитки.

Рядом с ним красовался Модест с медалями на груди.

— Да кто ж ее знает, скотину-то, — тоненько сказал Иван. — Она гуляет, где хочет. Глупая.

— Вот заплатишь штраф — узнаешь!

Иван подобрал губы, глазки его сузились.

— Я за козлов не ответчик. А ты мне не Советская власть. Какое у тебя право на меня шуметь? Я тоже гражданин, у меня права. — Иван стоял и смотрел с торжеством победителя.

Модест тихо стянул с себя пиджак, спрятал за спину. Вид у него был грустный.

— Козлы, — проворчал Трофим. — Россию объедасте. — Он замахнулся на Борьку: — Ты еще тут?! Брысы! Не погань плащ!

Вожак радостно кинулся к подружкам. Трофим задергал вожжами, Павлуня едва успел влезть в тележку — Женька сидел уже там, брезгливо натягивал на себя плащ.

— Постой-ка! — помахал рукой Иван Петров.

— Чего тебе? — нахмурился Трофим.

Иван отворил калитку, запустил во двор резвую ораву, потом приблизился к Трофиму. Обшарив его глазами от новой кепки до старой деревяшки, спросил:

— Слушай, тебе больше всех надо? Аль не навоевался? Чего везде задаром лезешь?

Трофим, склонив голову, слушал. Забывчивый Женька отвернулся, словно он и не был в гостях и не ел чужое варенье. Зато Павлуня сегодня разговорился на удивление:

— Чего он понимает, темень хорошовская!

— Так! — крикнул довольный Трофим.

— Пашка! — запоздало надрывался Иван. — Я тебе эти слова припомню!

Они долго ехали молча. Лошадь с усилием везла

тележку по грязи. Павлуня сквозь теплую полудрему с умилением поглядывал на ее расчесанный хвост. С одного бока к нему привалился Трофим, с другого ерзал Женька.

— Сладкое варенье-то? — спросил вдруг Трофим.

Женька беспечно ответил:

— Сладкое. А как вы с козлом-то обнимались! Уморал!

И все трое рассмеялись.

Когда подъехали к центральной конторе, небо уже сплошь заткали сумерки.

— Ну, Алексеич, сходи-ка к начальству, доложи, — сказал Трофим.

— И я с тобой! — соскочил Женька. — Не бойся!

Елизавета Егоровна сидела под фикусом, достучивала последние срочные приказы временного директора.

— Давай к самому: ждет, — сказала она Павлуне. — А ты осадил! — Эти слова относились уже к Женьке.

— Да ладно уж! — Пока усталая секретарша поднималась, Женька уже прошмыгнул.

В кабинете директора горела одна настольная лампа. «Сам» сидел, разбирая бумажки: многие рвал и бросал в корзину, иные, наскоро пробежав глазами, откладывал в сторону. Вид у Василия Сергеевича вечером был совсем не такой измученный, как днем, на людях, а самый обыкновенный аверинский — деловой и напористый. Плечи под рубахой выпирали. Пиджак висел на спинке кресла: Аверин работал вольно, закатав рукава.

Перед парнями он не стал притворяться оглохшим от забот, а сразу нетерпеливо спросил:

— Ну?

Спросил не зычно, как вчера, и не шепотом, как нынче, а нормальным голосом, каким он говаривал, будучи простым комбайнером.

Павлуня, стоя у стола, принялся рассказывать. Аверин слушал, швыряя бумажки в корзину, изредка взглядывал на гонца. Женька морщился, открывал рот, дергал головой: он бы описал все не так — в красках.

— Вот и все, — отговорился наконец Павлуня. — А козла ихнего, Борьку, мы отпустили, пожалев.

Аверин откинулся в кресле, потер сильными ладонями лицо.

— Ну и черт с ним, с козлом! И с Модей! Обойдемся!

Василий Сергеевич встал, большой, как мамонт, потянулся — едва не зацепил люстру, гордость Громова Ефима Борисовича. Прошелся по старому кабинету, насмешливо оглядывая немодную мебель. Расправил знамена, чтобы лучше был виден Ильич, подошел к окну. Мощно светили белые фонари на центральной улице. В огнях был поселок, а дальше посверкивали звездочки на столбах — возле хранилищ, вдоль дороги, у мастерской.

Жаркий Аверин распахнул с треском раму, которую с таким старанием замуровала на зиму Елизавета Егоровна, оберегая здоровье старого директора. Высунулся, с шумом подышал и, осыпанный дождем, посмотрел на ребят.

— Эх, руки чешутся — больших дел хотят!

Павлуня взглянул на него с опаской.

СТРАШНЫЙ БРОД

Ночью выпал первый снег. Когда Павлуня рано утром вышел на крыльцо, он прежде почувствовал его по ядреному запаху, а уж потом, приглядевшись, увидел белые крыши и белый огород. Парень с наслаждением проложил стезю до калитки.

Оживал, просыпался совхоз. Осторожно, словно принюхиваясь к новой дороге, проезжали машины, шагали люди, оставляя четкие или размазанные следы.

Павлуня оглянулся: его шаги ложились вяло и криво. Он начал поднимать ноги повыше, следы пошли лучше, без хвоста. Так он прострочил свою тропку до мастерской и сказал, улыбаясь:

— Снег-то, а! Прямо весь белый.

Ему никто не ответил. Саныч был в лесу, Боря Байбара — на семинаре, обиженный Модест сидел дома, только Женька скучал в одиночестве на «курительной» скамейке. Услышав Павлуню, встал, лениво направился к нему.

— Эй, а нам ил возить, — сказал он, указывая на целую колонну тракторов с тележками, которые вытягивались на дороге.

Начальник отряда плодородия Гриша Зиненко стоял у первой машины, смотрел нетерпеливо на ребят:

— Вас долго ждать? Поехали!

— Поехали,— ответил Павлуня, готовясь залезть в свой колесник, но вдруг повернулся и побежал косолапо к Мишиному трактору.

Этот трактор, навевая на Павлуню тоску и воспоминания, смиренно стоял себе в сторонке. Он казался таким грустным и заброшенным, что парень, проходя мимо, мрачнел.

Теперь к чужой машине уверенно, как к своей собственной, шагал Иван Петров.

Иван был сегодня очень сердит: его старую технику отправили в ремонт и велели брать бабкинскую и работать. Мало того, посылают возить ил — рейсы дальние, бестолковые. И хуже всего, что занарядили Ивана вместе с Павлуней — это уж на смех всем деревням! Придется показать мальчишке настоящую работу, чтобы знал, как распускать язык и смеяться над ветеранами!

— Поехали! — сказал он.

— Стой-ка! — распахнул дверцу подбежавший Павлуня. — Не твой! Уходи!

Он никак не мог допустить, чтобы в Мишин трактор залез Иван. Тот себя-то не любит, не то что технику, которую угробит через два дня.

Пока Павлуня, объясняясь больше руками, чем языком, пытался выпроводить Ивана, а тот кричал сверху и брыкался, отряд, прогудев, уехал. Подбежал инженер и разнял спорящих. Сердито приказал догонять остальных и не валять дурака.

Женька, обессилев от смеха, еле вскарабкался в кабину, туда же влез взъерошенный, потный Павлуня.

— Ну, артист! — передохнул Женька. Он досмеялся, вытер глаза и сказал: — Валяй!

— Погоди,— ответил Павлуня, немного успокаиваясь в своей чистой привычной кабине, где никто не курит и не кричит, где сбоку висит зеркальце, а на стекле... — Кто это? — ткнул он пальцем в красивую девушку, которую Женька самовольно наклеил на стекло. — Это ты?!

— Это не я. Это купальщица. Это нам с тобой на счастье. Пускай улыбается, тебе жалко?

Павлуня разглядел девушку: она чем-то напоминала Татьяну.

— Не жалко...

— Двигай тогда. Иван вон уж где.

Иван, едва запустив двигатель, сразу рванулся за ворота. А Павлуня сперва прогрел машину, послушал дизель, пощелкал переключателями и только после этого поехал, выбирая места на разбитой дороге посуше да поровней.

Утро из-за снега светлее обычного, и парень порадовался, что не нужно жечь фары.

Впереди вовсю плескался светом Иван Петров. Тележка его моталась из стороны в сторону: он дорогу не выбирал, сердито жарил по кочкам да буграм — благо трактор не свой. Мимо него уже проехала обратно вся колонна, а Иван только что подскочил под экскаватор. Ему плюхнули два ковша пованивающего ила и только хотели плюхнуть третий, как Иван отъехал, роняя во все стороны липкие лепешки.

На зеленом «газике» подкатил Аверин. Еле вытащил из кабины широкие плечи, спросил Ивана, где Алексеич.

— А черт его ведает! — откликнулся Петров.

А Павлуня задержался на дороге. Он встретил Модеста, который тащил за собой на веревке белого козла — то ли на бойню, то ли на продажу. Борька упирался, мотал головой, шумел.

Павлуня остановился:

— Животное ведь. Больно ему.

Ничего не ответил Модест, только молча сошел с дороги в кавану, освобождая путь. Павлуня поехал тихонечко, качая шапочкой. Ему было жалко козла.

У экскаватора стоял Аверин и смотрел на часы. Поодаль топтался Иван Петров, вид у него был независимый, руки — в карманах.

— Что это такое, Алексеич? — закричал временный директор, едва Павлуня приблизился и открыл дверцу. — Сорок минут, а?

— Бывает, и по часу жду, — подошел экскаваторщик. — С утра машин навалом, а потом — загорай! Разве ж это работа!

Аверин широкими шагами стал мерить берег пруда. Иван с опаской поглядел на него: когда Аверин так шагал и морщил лоб, то наверняка что-то придумывал

особенное. И верно: Василий Сергеевич подошел к механизаторам веселый.

— Слушай, Иван Петров, помнишь, как мы через Гнилой ручей перебирались? Там же прямая дорога, поле — рукой подать.

Иван подумал и ответил:

— Так то ж летом, в засуху, когда ручей, естественно, пересыхал сплошь. И ездили, собственно, без груза...

Василий Сергеевич взглянул на его кривоногую мелкую фигуру в грязном ватнике.

— Естественно. А ты как думаешь, Алексеич? Проедем?

— Трактор, чай, не барка, чтоб по воде! — вскричал Иван Петров, недовольный тем, что начальство обратилось к мальчишке, как к большому.

— Я? — испугался Павлуня.

— Ты, ты! — торопил Василий Сергеевич.

— Проедет! — оживился Женька, угадав вдруг во временном директоре шальную родственную душу.

Аверин смотрел на Павлуню, ждал. Парень долго мыкался глазами, потом задумчиво ответил:

— Если не шибко глубоко.

— Ладно! — весело сказал Аверин. — Грузисы!

Трижды пролетел ковш от пруда до Павлуниной тележки, которая трижды крякнула и присела.

— Все за мной! — приказал Василий Сергеевич, втискиваясь в «газик».

«Всех» было трое: Павлуня с Женькой да Иван Петров. Парни поспешали за Авериным, Иван позади митинговал перед экскаваторщиком, размахивая рукавицами. Отмахав, понесся догонять ребят.

Павлуня, крепко сжимая руль, подпрыгивал на новых пружинах. Скоро гуд теплого мотора и знакомая кабина — чистая, с зеркалом и девушкой-купальщицей — успокоили его смятенную душу. Он ехал, сберегая милый трактор от утомления, с удовольствием поглядывал на присыпанные снегом поля, без гусей да козлов.

Женька посмотрел назад, встрепенулся:

— Обходит!

Мимо них, вышвыривая из-под колес ошметки грязи, промчался Иван Петров. Он первым подлетел к Гнилому ручью, резко затормозил, едва не уронив на-

бок тележку с илом. Павлуня остановился подальше от берега, вылез с опаской.

Возле Гнилого ручья уже поджидал их Василий Сергеевич — шапка на затылке, руки в карманах, ноги расставлены. Голенища сапог подвернуты по давней трактористской привычке.

— Ну? — спросил он бодро. — Как ручеек?

Механизаторы смотрели, поеживаясь. Ручей был не так глубок, зато широк и бурлив. Черная вода шипуче пролетала под ивняком, закручивая пену. Водились тут и опасные ямы, и дно было ненадежное, топкое.

Раньше здесь пролежала дорога — вон и теперь видны колен, присыпанные снегом. Теперь сделали новый окружной путь — гладкий да дальний, а старую дорогу забыли. Здесь редко проходят гусеничные трактора, а колесные пробираются только по крайней необходимости и то в самую жару, когда ручей мелеет, или в стужу — по льду.

— Ну? — торопил Аверин. — Вспомним старину? Иван, ты же ездил! Чего глядишь испуганно?

— Дурак был несознательный, — пробурчал Иван.

Василий Сергеевич, разгорячась, тыкал рукой:

— Да вот оно, поле-то, рядом! Смотри, какой крюк даем!

Иван задумчиво спихивал камешки в ручей.

— Ну, кто же первый? — тихо спросил Василий Сергеевич.

— Он лучше последний! — задорно отозвался Женька, приплясывая на берегу.

Иван сказал рассудительно и грустно:

— Меня топиться чтой-то не тянет. Я, чай, не русалка зеленая. — Женька засмеялся, а Иван, ободренный этим смехом, уже уверенней продолжал: — Дед наш башковитый и то до такого не додумался. Даром, что ли, дорогу сделал, столько денег вбухал.

— «Башковитый»! — хмыкнул Аверин. — А в метель по той дороге не проехать! И весной ее заливает!

— А зато он к людям обходительный, — выговорил Иван медленно. — Стариков слушает и Модеста не обижает... Не поеду я, хоть раздери!

Василий Сергеевич сумрачно взглянул на Павлуню: парень сильно чесал затылок.

— Пусти-ка! — отодвинул его Аверин, собираясь лично влезть в трактор.

Павлуня так перепугался за свой колесник, что, сам того не желая, схватил начальство за полу.

— Ну-ну! — дернулся Василий Сергеевич, но Павлуня, не отпуская, все тянул его, сопя и краснея. — Да пусти же! — крикнул Аверин, вырываясь. — Сдурел?!

Павлуня вскарабкался, соскальзывая, в кабину, глухо сказал через стекло:

— Не-е!

— Тогда сам валяй! — вконец рассердился Аверин. — Валяй, раз такой храбрый!

Павлуня передохнул и тихо двинул трактор с белого берега в черную холодную воду. Сердце его еще не отошло от страха за любимую синюю машину, которую этот здоровенный Василий Сергеевич чуть было не утопил сгоряча. С натугой выворачивая колеса по заснеженной колее, парень возмущенно бормотал под нос:

— Ишь ты, прыткий какой!

— А ведь пройдет! — воскликнул Аверин, глядя, как механизатор бережно опускает трактор в воду, словно давая ему, разгоряченному, напиток из ручья.

Павлуня, сам того не заметив, отлично протащил и трактор, и тележку, полную ила, через все коряжины на дне. Проломив густые кусты, остановился на другом берегу. Вылез отдуваясь. Ему вдруг стало смешно, когда он понял, что Василий Сергеевич, хоть и такой большой, все равно не перейдет пешком через воду и в трактор не влезет.

— Видали?! — возбужденно и радостно спрашивал Аверин Ивана и Женьку. — Уж если Алексеич проехал!.. — И ему уже чудилась скорая да краткая дорога от Хорошова до самого центра.

— «Проехал», — заворчал Петров. — Сдуру можно и проехать!

Он суетливо забрался в кабину. Колесник чихнул, потом нехотя, рывками потащился к страшной воде.

— Давай! — тихо звал Павлуня. Он забрел по колесу в ручей и пытался перед трактором, манил его к себе обеими ладонями.

Иван Петров высунулся и заорал:

— Уйди, черт постылый! Чего перед начальством выкручиваешься?!

Павлуня опустил руки посреди ручья. Он и не думал выкручиваться. Просто ему от чистой души хоте-

лось помочь Мишиному трактору без испуга перебраться на берег. Он понуро вылез из воды, стал глядеть, дую на окоченевшие пальцы, как Иван забирался зачем-то все влево да влево, пока не завалился передними колесами в подводную яму. Трактор сильно клюнул носом, мотор взревел и заглох. Стало очень слышно, как, пробегая по голым кустам ивняка, шуршит ручей. Масляные круги пронеслись по течению и пропали.

Отворилась дверца. Иван простуженным, но торжествующим голосом спросил:

— Ну?

— Ты что, ослеп? — разнесся над мерзлым миром аверинский возмущенный тенор. — Куда тебя понесло?!

Женька, прыгая воробьем, быстро спрашивал Василия Сергеевича:

— Чего теперь, а? Не вылезет, нет? Вытягивать надо, да?

На той стороне, замерзая от одного вида застывшей посреди ручья машины, стоял Павлуня.

Аверин, пошумев, замолчал. Зато обрел голос Иван.

— Я говорил! Предупреждал я!

На его лице был виден сейчас один раскрытый рот.

Павлуня отцепил свою тележку и, взвалив на слабое плечо трос, начал медленно спускаться со скользкого берега. Тут даже Иван не осмелился дальше шуметь. Даже бедовый Женька испугался и смотрел на товарища, вытаращив глаза.

— Назад! — крикнул Василий Сергеевич.

Парень оглянулся на крик, едва не упал, оступившись. Сказал, с трудом улыбаясь:

— Сейчас я. Только вот...

Чтобы прицепить трос, ему нужно было шагнуть в черную яму.

— Стой! — приказал Аверин.

— Ага, — ответил Павлуня, подумал и шагнул. Забурлили пузыри под ногами. Тяжелая вода залила сапоги. Больше от страха, чем от холода, застучали зубы. Он скорей нагнулся. Железо брякнуло по железу.

— Помогай, уснул! — тряс кулаком Аверин.

Иван бестолково засуетился, то открывал, то закрывал дверцу, то ложился на живот, свешиваясь.

Павлуня выбрался на берег и, роняя с себя капли, лез в теплый трактор. Двинул рычаг. Трос натянулся,

зазвенел. Колесник, ревя и задыхаясь, выволок на берег Ивана Петрова вместе с тележкой.

— Ура! — шепотом сказал Женька.

Из кабины задом выполз сам «опытный седой». Подступив к спасителю, протянул растопыренную ладонь.

— Спасибо.

Пожимая его руку ледяными пальцами, Павлуня еле выговорил, клацая зубами:

— В яму-то зачем ты?..

Шумно раскидывая в стороны воду, Василий Сергеевич перебрался к своим механизаторам. Он молча выдернул Павлуню из кабины, схватил его на руки, словно спящую красавицу, и поволок обратно через ручей. Раза два провалился выше колен, но драгоценную ношу не выпустил. Павлунины сапоги вспенивали воду. Алексеич смущенно вырывался:

— Сам я... чего вы...

В «газике» тесно — не развернуться, и Аверину пришлось прямо возле машины вытряхивать парня из ватника и набухших штанов. Закутывая Павлуню в старое одеяло, он сокрушенно проговорил:

— Эх, водкой бы тебя растереть!

Павлуня, высунув нос, принялся длинно объяснять, что белое он вообще никогда не пьет, да и красное не так чтобы очень уж.

— Редкий ты человек, Алексеич! — добродушно проворчал Аверин. — Поехали домой — застынешь! Эх, лохматый, лезь сюда!

— Насмехаетесь, — пробормотал Женька, ныряя в кабину.

Он крепко обнял Павлуню, согревая его:

— Какой костлявый!

— Сам-то тоже не очень больно-то, — ответил Алексеич.

На том берегу остался в одиночестве Иван Петров. Проводив глазами зеленый «газик» Василия Сергеевича, он ухмыльнулся и сказал сам себе:

— Радуетесь? Ничего. Завтра поглядим.

С большим удовольствием он стал думать о том, как скучно будет глядеть завтра на белый свет временное, но чересчур ретивое начальство. «Теперь небось этот к ручью за версту не подойдет!»

«Этим» именовал Иван Аверина, которого он даже

в мыслях не захотел называть ни по имени, ни по отчеству, ни даже по фамилии.

Василий Сергеевич ходко гнал машину к совхозу, к теплу. Женька утихомирился. Он все поглядывал на товарища, все хотел о чем-то спросить и вдруг сказал удивленно:

— Вот ты какой. Я бы и за сто рублей не полез! И он передернулся, вспомнив.

Павлуня ответил без всегдашних раздумий:

— И я бы за сто тоже...

ПАВЛУНЯ ЕДЕТ ВПЕРЕДИ

На следующий день все механизаторы «плодородного отряда» были вызваны к Аверину ровно к семи. Они вошли в директорский кабинет настороженные, притащив с собой масляный дух дизелей. Слухи про Пашкино плавание уже всю гуляли по совхозу, будоражили, как и разговоры про крутой нрав временного директора да про новые порядки, которые он насаждал сплеча, никого не спросив. Поэтому механизаторы, войдя к Василию Сергеевичу с последним, седьмым ударом часов, не ожидали для себя ничего хорошего.

— Садитесь! — кивнул им Аверин из-за стола.

Народ расселся по стенке.

Василий Сергеевич, человек дела, начал с ходу:

— Сегодня весь отряд возит ил. Он едет коротким путем — через Гнилой ручей. Маршрут проверен. Тележки с этим делом справятся.

— Тележки-то справятся — они железные, — пробормотал Иван Петров.

Остальные осторожно молчали, подумывали про себя: «Вот приедет Громов...» В тишине слышно было, как простуженно сопит Павлуня. Он часто лазил в карман за платком, нос его распух.

— Слушай, Сергенч, — задушевно сказал начальник отряда, молодой агроном Гриша Зиненко. — Ты бы нас, дураков, спросил, что ли.

Василий Сергеевич, большой приятель Гриши, поднял голову, посмотрел ему в глаза, ответил негромко:

— Я тебе не «слушай», а директор. И нравится или нет, а разговаривать со мной попрошу соответственно.

— Ясно,— пробормотал в страшной тишине багровый Гриша, а Женька выразительно поцокал языком.

— Вопросы есть? — спросил Аверин деловито.

Никому не захотелось задавать вопросы. Народ решил отмолчаться до Громова. Только начальник отряда поднял руку и, получив разрешение говорить, сказал, глядя в стену:

— Один вопрос: как через ручей этот окаянный передетать? Нешто по воздуху?

— По плитам!

— По каким?

— По бетонным! Вчера шесть штук бросили.

— Плиты, плиты! — заволновался, вскидывая руку, Иван Петров.— А бережок? С него, помнится, телка свалилась да и утопла! Совсем!

Василий Сергеевич нетерпеливо ответил, вставая:

— Бережок сроем! А без головы и в луже утонуть можно! Так, что ли?

И столько многозначительности было в голосе Аверина, что Иван замолчал, потупясь.

— Еще вопросы возникли? — посмотрел на часы Василий Сергеевич.— Нет? Тогда до свидания. Что неясно — разъяснит главный инженер.

Механизаторы потащились в приемную. Елизавета Егоровна, морщась от запаха, вручила им толстый журнал.

— Это что еще за библия? — сумрачно поинтересовался Иван Петров, и Елизавета Егоровна с усмешкой поведала, что теперь каждому после прочтения приказа надлежит расписаться.

Гриша Зиненко, принимая журнал, бормотал:

— Через Гнилой ручей да всем отрядом... Нет! Я расписываться не буду!

Иван оглянулся на обитую черной клеенкой дверь и, подняв грязный палец к хрустальной люстре, прошипел:

— А Громов-то, Ефим Борисыч, с нами, с народом то есть, всегда совет держал!

— Ничего, пусть потешится,— сказал басом Гриша Зиненко.— А технику я топить не дам.

Женька, почесывая затылок, проговорил:

— Пашка-то проехал...

— Верно! — сказал, появляясь в двери Василий Сергеевич.— Он проехал! А уж вам-то сам бог ве-

лел! — И обратился к Павлуне: — Ну, Алексеич, покажи-ка им! Хватит тебе в хвосте-то!

Аверин опять скрылся в кабинете.

Павлуня стоял перед механизаторами, а те хмуровато поглядывали на его распухший нос, на бледные щеки. И на глазах у всех Павлуня помаленьку начал краснеть, пока не превратился в анисовое яблочко.

— Совсем с ума скатился! — брякнул Иван, выразительно кивнув на директорскую дверь. — Нашел командира! — Он поглядел на Павлуню не лучше, чем пес на кота. — Ну, води нас, Сусанин! Топиться!

— Да я ничего, я не думал... — таким простуженным голосом забормотал Мишин братец, что Гриша Зиненко крикнул, а секретарша, до сих пор сидевшая унылой горой, вдруг шевельнулась и воскликнула:

— Господи, скорей бы Громов возвращался!

Механизаторы не спеша побрели к своей технике. Последней дверь выпустила маленькую грязную фигурку. Обгоняя Павлуню, Иван бросил в его сторону:

— В люди выходишь, подхалим!

Когда Павлуня, оставляя хвостатые следы, дотащился до мастерской, механизаторы уже стояли возле техники, переговаривались, оглядываясь на него. Парень собрался было схорониться от них в уютной кабине, где сидел уже нетерпеливый Женька, но Гриша Зиненко сказал ему:

— Тебе ж вести велено. Валяй!

— Давай покажем им! — пихался острым локтем Женька.

— Вперед, Лексеич, на лихом коне! — узнал Павлуня ехидный голос Ивана Петрова.

Они покатили во главе целой колонны. Не отставая, наддавал за ними Иван, за Иваном ехал Саньч, в кабине его сидел Боря Байбара. Позади всех старательно крутил колесами по разъезженной дороге «газик» Аверина. Появилось солнце, и все вокруг встретило его с радостью: утро повеселело, зарумянилось, синие тени от берез с удовольствием улеглись поперек дороги.

По розовому полю запрыгала озорная лисичка. Она вытягивалась в струнку, поводила хвостом, вскидывалась на дыбки.

Павлуня, остановив трактор, вылез на крыло. Из кабин высунулись головы.

— Гляди — лиса!

— Не боится!

— Мышкует.

— И черт с ней! — заорал вдруг Иван Петров. — Лисиц не видели, что ли? Подумаешь, тигра какая гималайская! Работать нужно!

Лисичка метнулась за кусты. Последний раз мелькнул огненный хвост и пропал.

Павлуня захлопнул дверцу. Иван опять испортил ему настроение. Даже снег больше не радовал, на розовое солнце не гляделось. Женька ворчал, хмурия бровки.

К ручью подъехали дружно. Захлопали дверцы, закрипел под сапогами снег. Механизаторы осмотрелись. Зловеще чернеет вода. Высоко стоит холодный пар. И пешему и конному заказаны пути сюда в это гиблое время.

— Да-а,— протянул Саныч.— Веселая дорожка.

— Зато короткая,— сказал Василий Сергеевич, выбираясь из «газика».

Он кивнул Грише Зиненко. Тот вытащил из кармана график и деловито обратился к Павлуне:

— Ты, значит, первым пойдешь, за тобой — остальные. Интервал десять минут. Понятно?

— Понятно! — ответил Женька, стараясь не глядеть на воду и целиком передавая себя в руки Павлуни.

— Давай,— сдавленно произнес Иван.— Он у нас самый храбрый.

Затаив дыхание чутко следили механизаторы, как Павлуня спокойно провел трактор и тележку по бетонным плитам, как обыкновенно въехал на другой берег и неспешно покатыл к хорошовскому пруду. Сделал он все это так легко и привычно, что все с облегчением зашевелились.

— Ну, видели? — спрашивал Василий Сергеевич.— Видели?! Эх, вы! Давай, Иван Петров! Сегодня не захлебнешься?

— Эх, горели — не робели! — вскричал Иван и, потный, полез в Мишин колесник.

Одолев брод, он с маху выскочил на тот берег и погнался за Павлуней, ломая весь график, составленный Авериним.

— Стой! — напрасно кричал ему вдогонку Василий Сергеевич.

Женька, обернувшись, увидел у себя на хвосте мотающийся трактор, разглядел взмыленное лицо Ивана и начал пихать Павлуню локтем в бок:

— Догоняет! Жми!

— Не! — повертел головой Павлуня.

Он крепко стиснул руль, пуская своего коня во всю его железную прыть. Женька с минуту беспокойно помаячил в заднем оконце, потом отвалился на спинку сиденья:

— Отстает... Молодец, Пашка!

«Не я молодец, это он», — подумал Павлуня про милый трактор.

У хорошовского пруда было тихо. Заступив на смену, молодой экскаваторщик только что собрался выпить из термоса чайку, как послышался гул мотора. Он посмотрел на дорогу — она была пуста. А первый трактор выскочил совсем с неожиданной стороны — из-за туманного перелеска.

Синий колесник мчался по свежему снегу, по нетронутой колее, и экскаваторщик недолго гадал, кто же этот лихач: по чумазому трактору да по спешному бегу можно издали узнать Ивана. Он, как всегда, жарил, не разбирая дороги, мчался враскачку, сердито разметывая снег, тележка моталась из стороны в сторону, грозя отлететь совсем.

«Ну, Иван дает!» — подумал экскаваторщик, хватаясь за рычаги — Петров ждать не любил. Зачерпнув ковшем черный ил, он плавно повел стрелу на тележку, которая встала точно туда, куда нужно.

Механизатор выставил из кабины мокрое лицо, посмотрел синими глазами:

— Ты не очень-то, а то капнешь еще...

Это были всегдашние Павлунины слова. Иван Петров меньше всего заботился о чистоте трактора.

— Ты?! Первый?! — так удивился экскаваторщик, что едва не вывалил ил прямо Павлуне на голову.

— Мы! — весело ответил Женька. — Хватит нам в хвосте ходить! Сыпь знай! Да побольше!

Экскаваторщик плюхнул тяжелый ковш, потом другой, третий.

Павлуня еле успел отвалить, как место под стрелой занял Иван Петров и сразу закричал:

— Шевелись!

А из-за перелеска уже выползал третий трактор.

— Вы что, по воздуху летаете? — крикнул экскаваторщик.

Иван в ответ пробормотал что-то и тут же схватился за руль. Еле-еле успел парень вывалить в его тележку два неполных ковша. Гремя, раскачиваясь, роняя на снег черные кляксы, понесся Иван догонять Павлуню. Но тот отрывался от него все дальше и дальше, напрасно Петров, не привыкший костылять сзади «зеленых», нахлестывал все свои лошадиные силы.

У брода их поджидали Василий Сергеевич, Гриша Зиненко. Аверин держал в руке секундомер. Все смотрели на ручей.

По самому скорому подсчету, первый трактор ожидался через полчаса, однако не простучало и двадцати минут, как из-за стылого леска резво выполз серый жучок. Он приближался, вырастал, превращался из серого в синий, тележка становилась коричневой, а ил черным. Трактор уже не полз, он несея, распустив паруса.

«Алексеич!» — узнал Аверин, когда Павлуня подлетел совсем близко.

Его конек, всегда отмытый, теперь был заляпан от колес до трубы. Колеса разметывали дорогу, труба дрожала, выхлестывая раскаленный, едва видимый дымок.

За Павлуней, силясь обойти его, торопился Иван Петров.

— Легче, легче! — крикнул Павлуне Василий Сергеевич.

Тот притормозил у брода, а Иван, наконец-то обскочив соперника, с бегу влетел в быструю воду. Он вспенил ее маленькими передними колесиками, замутил большими задними, едва не захлебнул двигатель, но проскочил по плитам и, торжествуя, погромел дальше. Маленькая фигурка подскакивала в кабине.

Едва Василий Сергеевич успел отпрянуть, как мимо него, обдавая жаром и грязью, промчался Павлуня.

— Стой! — закричал было Аверин, но парень, едва различимый за грязным стеклом, даже не оглянулся.

— Что с ним? — в тревоге спросил Гриша Зиненко.

А Павлуню распалил самый настоящий азарт. Ни-

чего больше ему не хотелось, как показать хвост проклятому Ивану. Ради этого он пустил трактор вскачь, по кочкам, не жалея ни машину, ни Женьку, ни себя.

Женька повизгивал, время от времени еще находя в себе силы выкрикнуть: жми! Махать руками он не мог — крепко держался обеими, чтобы не выскочить. А поле уже близко. Ивану только обогнуть длинный заросший овраг, который чернел кустами справа, перед огородами.

«Все, не догнать!» — скис Женька и ахнул: ему показалось, что Павлуня, крутнув руль, бросил трактор вместе с тележкой прямо в бездну. Что-то затрещало, зашуршало, мелькнули перед Женькиными застывшими глазами хлесткие ветки, и не успел он прошептать «мама», как Павлуня уже выбирался из кустов на волю.

Видно, Павлуня хорошо знал дорожки возле собственного дома: он уверенно проскочил по самому краю оврага, ловко обойдя кучи битого кирпича, черепицы и всего того мусора, который накидали в овраг и около него ближние и дальние хозяева.

Выбравшись, Павлуня пустил трактор мимо своего огорода, слегка зацепив при этом плетень. Потом нырнул в узкий проулок, загороженный матерью от людей и скота двумя жердинами. За ними совсем рядом, только улицу перемахнуть, лежало поле.

— Обогнали! — завопил Женька, видя, что Ивану нужно сделать еще крюк, чтобы добраться до места.

Павлуня уже нацелился на хлипкую загородку, но тут перед трактором, как из земли, выросла Марья Ивановна с поднятым красным кулаком.

Сын тормознул. От резкого толчка Женька едва не выбил лбом переднее стекло. Пока он поднимал шапку да надевал ее, Павлуня вылез из кабины, приблизился к матери. Женька поспешил за ним. Его пошатывало и поташнивало. Но, поборов слабость, Женька независимо, как только мог, поклонился хозяйке:

— Добрый день, Марья Ивановна!

Она уткнула в бока полновесные кулаки и стала похожа на большой крендель.

— Привет! Я тебя, нахала, звала?

Марья Ивановна стояла в одном платье, в галошах на босу ногу. Голые по локоть руки были мокры, от нее еще шел пар: видно, хозяйка стирала. И, глядя на



нее, Женька вдруг понял: Марья Ивановна не только коня — трактор остановит на железном скаку своей могучей рукой!

Он скучно сказал:

— Нам бы проехать тут.

Марья Ивановна захохотала, вольно раскрывая рот. Потом, утерев слезы, проговорила:

— Ты лучше по собственной избе проехай, балда! Я погляжу, что твоя мадам скажет!

Павлуня тронул мать за руку.

— Пропусти, а, — услышал Женька подрагивающий его голос и в тоске оглянулся. Из кустов, сверкая фарами и натужно рыча, невиданным зверем вылезал трактор Саньича, пробираясь по свежему следу.

Марья Ивановна, схватив палку, которой в пору глушить быков, кинулась навстречу бедному колеснику, тот, оробев, замер на краю огорода. Отворив дверцу, хозяйка за ногу вытащила из кабины мальчишку и молча поволокла его, схватив за шиворот, к Аверину, который торопливо продирался напрямик сквозь заросли.

— Алексеич! — шумел Василий Сергеевич встревоженно. — Жив? Куда тебя понесло?!

Марья Ивановна подпихнула к нему Саныча и, потряхивая механизатора, на весь Чертов овраг стала визгливо спрашивать Аверина:

— Васька, что ты делаешь?! Зачем огород топчешь?! Разве он твой? Ты мне его весной весь вспашешь! Понял? Задаром!

Павлуня подошел, сказал смущенным баском:

— Ну, ма-а, хватит тебе. Совестно ведь... Люди же кругом... Смотрят...

Она, отпихнув Саныча, всплеснула руками:

— Заговорил, котенок!

И, как в детстве, при всем честном народе, ахнула сына по затылку.

Слетела и далеко откатилась сиротливая шапка. Он не стал поднимать ее.

Василий Сергеевич брезгливо посмотрел на Марью Ивановну и сказал своим:

— Пошли, товарищи! А то дама лопнет от злости.

— Иди, иди! Со своим железом вместе! — отвечала знаменитая Марья Ивановна, поднимая сбитый плетень.

СЧАСТЬЕ ДА ГОРЕ РЯДЫШКОМ ИДУТ

Наткнувшись на Марью Ивановну, железный трактор Саныча, стыдясь, пополз обратно, на ту сторону оврага, на дорогу. Ворча, пешком полез через чащобу плечистый Василий Сергеевич.

— Погодите, а я! — крикнул Женька, бросаясь за людьми и оставляя Павлуню в отчаянном одиночестве.

Парень сделал было шаг за народом, но Марья Ивановна сказала:

— Не будь лопухом! Остановись!

Павлуня исподлобья посмотрел на нее незнакомыми потемневшими глазами. Но Марье Ивановне некогда было разглядывать его глаза — она видела их каждый день и знала наизусть.

— Ил-то вывали, — спокойно сказала она. — Чего обратно добро тащить, коли свой огород под носом.

Сын глухо ответил матери:

— Я тебя не уважаю. Совсем. Слышишь?

— Мне из твоего уважения не кашу варить,— пробормотала Марья Ивановна, покрепче устанавливая жердину.

Павлуня замахал руками, закричал с запоздалым возмущением:

— Ты меня перед народом! Эх, ты!..

— Чихать я хотела на твой народ! — отрезала Марья Ивановна.

Круто развернувшись, она ушла в дом, хлопая сердитыми галошами. Сын, проводив ее долгим взглядом, втиснулся в трактор и поехал в столовку. Обычно он обедал дома, но теперь не поспешил к родному столу, а поплелся под неминуемые насмешки.

Едва переступил порог пропахшего борщами зала, как услышал подрагивающий от наслаждения голос Ивана:

— Первопроходец явился.

Остальные молчали, работая ложками.

Женька по старой дружбе посадил Павлуню рядом с собой и сердито спросил:

— Обед я тебе таскать должен?

— Не хочется,— пожаловался Павлуня.

Женька, ворча, сам сбегал к окошку, притащил тарелку огневого борща, принес полную миску каши, поставил стакан компота:

— Ешь веселей, не обращай внимания!

— Спасибо.— Павлуня начал ковырять кашу.

Из-за дальнего столика донеслось:

— Гляди, братцы! У аверинского курьера собственный денщик объявился.

В тот же миг Иван Петров едва успел увернуться от хлебной корки. Женька схватил было и солонку — Саныч еле поймал его быструю руку.

— Провокатор! — крикнул Женька.— Чего к человеку пристал?! Видишь — горе у него!

Иван пробормотал, оглядываясь на людей, призывая их в свидетели:

— Хлебом кидаешься. Ничего святого в тебе нету. Хлеб ведь. И не жалко?

— Жалко, что кирпича не было! — в сердцах ответил Женька и принялся за компот.

После обеда к механизаторам подъехал Аверин.

Заплетаясь ногами, к нему подошел Павлуня. Покорно подставил под насмешки бедную голову. Но Ва-

сий Сергеевич не засмеялся. Он с недоумением спросил нескладного парня:

— Зачем тебя в дебри понесло?

Павлуня не поднимал глаз. Не мог он теперь, в таком убитом виде, объяснить Аверину ту злость, которая понесла его напролом.

— Хотел Ивану доказать? — тихо спросил Аверин. Павлуня кивнул. Аверин еще ближе наклонился: — А опять проехал бы?

Павлуня осторожно поднял голову. Василий Сергеевич не думал ни ругаться, ни насмешничать, он глядел весело.

— А чего, проехал бы,— ответил Павлуня и тут же испугался.— Если только разровнять немножко...

Василий Сергеевич, как боксер, похлопал перчаткой о перчатку, заходил, заволновался, забормотал:

— Колесим сто верст, а тут прямая дорога...

Аверин явно помешался на этих дорогах.

— Прямая,— сказал Павлуня.

Василий Сергеевич молча протянул Павлуне пустую горсть. Алексеич полез в карман: там у него всегда были семечки для кормления воробьев и себе в утешение. Он от души отсыпал Аверину, хотя горсть у того вместительная, как силосная яма. Женька тоже подсунулся и получил свою долю. Втроем они защелкали, в задумчивости глядя перед собой.

Аверин сдвинул на затылок шапку, открыв большой упрямый лоб, шурил глаза на дальние поля и леса.

Вдруг он хлопнул Павлуню по плечу — парень присел.

— А ведь мысль! Мы еще помозгуем!

Сел в машину, укатил.

— А ведь мысль,— издали тоненько повторил Иван.— Мы еще помозгуем! И опять по шее получим! Только тогда шапку завяжи — улетит в овраг!

— Ну и тип! — сказал Женька.— Бедный Модя...

Вечером Павлуня брел домой долго и косолапо.

Дома Алексеич сразу прошмыгнул в чулан, не желая встречаться с матерью. Скинул рабочее обмундирование, надел домашнее: пиджак с ватными плечами и тренировочные узкие брюки. Ноги он сунул в ласковые мягкие туфли на теплой подкладке, с загнутыми вверх носками. В таком наряде, длинный и смешной, стал пробираться к себе.

Марья Ивановна ела кашу за просторным кухонным столом, бормоча что-то. Последнее время она часто разговаривала сама с собой, верно от одиночества. Вечера пошли длинные, сын в беседах ей плохой помощник, а к соседкам Марья Ивановна не ходила.

— Явился? — оживилась она, услышав шорох. — Ишь что надумали! Через личный огород да совхозный ил возить! Ефим до такого не дошел. Это все Васька-артист! Его рук дело! И нашел дурачка — Пашку! Ну Васька! Ну мудрец!

— Это не он, это я придумал. Сам! — прервал ее сын.

Долго молчала Марья Ивановна, потом задушевно проговорила:

— Спасибо тебе, Паня, удружил. Низкий поклон до сырой земли. — И, спохватившись, разошлась до визга: — Да если бы знала! Я тебя б не так еще хрястнула! Совсем очумел и рехнулся! Деятель!

Пластинка закрутилась старая, заезженная. От этой музыки и сбежал из теткинго дома Миша Бабкин. Сбежал весной, а зимой и у терпеливого Павлуни не осталось больше сил слушать Марью Ивановну. Он повернулся, пошел, как несмазанный робот.

— Ты чего? — удивилась мать, опуская голос с горы вниз. — Уж не обиделся ли?

Павлуня тихо притворил за собой дверь и полез под кровать за чемоданом. Он пихал в него майки, трусы, носки и другую мелкую всячину, оглядываясь при этом на дверь, за которой стлала ненадежная тишина.

Напихав полный чемодан, запер его, упираясь коленкой, поволок к двери. Матери на кухне не было, и сын с облегчением передохнул. Теперь только добраться до общежития, а там люди в обиду не дадут.

Павлуня вышел во двор. Над белым огородом ясно светила луна. Он различил загородку, бочку, а за бочкой — мать с вилами в руках. Вилы поблескивали. Марья Ивановна глядела в сторону оврага, который чернел кустами сразу за огородом. Павлуня присмотрелся: у жердины что-то шевелилось, большое, темное. Он вздрогнул. Он в детстве верил, что в зарослях Чертова оврага может завестись все, что угодно, и с большой опаской проходил его краем, прислушиваясь к непонятым шорохам, исходящим из зеленых глубин.

И сейчас он ни на минуту не усомнился, что зверь вылез оттуда.

Бросив чемодан, сын поспешил спасать Марью Ивановну. Когда он подбежал к ней с палкой в руке, мать сердито прошипела:

— Замри!

У загородки захрюкало.

— Ой, Паш, это ж наш! — радостно воскликнула она и, вонзив вилы в снег, пошла к зверю, призывно протянув руки, ласково напевая: «Чуша-чуша-чуша! Иди ко мне, мой миленький, мой грязненький!

Такого голоса отродясь не слыхивал Павлуня.

Марья Ивановна приблизилась к жердине, но зверь с хрюканьем метнулся к оврагу. Тогда она мигом притащила из дома кастрюлю свежих щей, поставила приманку на снег, а сама отошла за бочку, зазывая оттуда на все медовые голоса.

Зверь нерешительно и молчаливо двинулся к щам. Уткнулся, зачавкал.

— Ест! — обернулась к Павлуне Марья Ивановна. — Кушает! Теперь никуда не денется! Ох ты господи! Вернулся!

И пока беглец уплетал щи, она смело подошла к нему, по-хозяйски стала похлопывать по спине, почесывать. Ничего не говорила, только, обессилив от радости, тихонько смеялась.

Марья Ивановна вспоминала то хорошее время, когда ладно жили они вчетвером: она, неблагодарный племянник Бабкин, Павлуня да боровок. Потом все сломалось: Бабкин сбежал на квартиру к старой Лешачихе, пестрый боровок удрал от шумной ватаги дачников, которых хозяйка, дохода ради, пустила к себе на целое лето. Остался Павлуня, да и тот испортился: потащил целый совхозный обоз на погибель собственному огороду.

Поглаживая похудевшую щетинистую спину, Марья Ивановна приговаривала для Павлуни:

— Набегался, нагулялся. Солоно одному-то? Ничего, Мишка тоже набегается — вернется. Куда он денется — свое ведь хозяйство.

Павлуня, подняв чемодан, тихонько удивлялся в сторонке чудесному возвращению беглеца. Боровок, видно, скрывался лето в овраге: помоев туда валили

достаточно. А сегодня трактора напугали его, вот он и вылез на свет.

Вспомнив, как мать при всех оскорбила его, сын засопел. А Марья Ивановна, верно, и думать забыла про это.

— Паша! — раздался ее беззлобный голос. — Подойди-ка, не бойся. Почеши.

— Сама чеши! — ответил он.

Этот боровок усмирил в Пашке всю его сердитость, а уходить из дома без нее он не рискнул.

В рубаше и штанах лежал Павлуня на кровати, когда к нему вошла Марья Ивановна.

— Чего во всем завалился! — по привычке рассердилась она, но тут же села у него в ногах, с захлебом принялась рассказывать, как услышала сперва шум в огороде и как потом увидела зверя. Как сначала испугалась, а после обрадовалась.

Марья Ивановна хохотала, показывая крепкие зубы, хлопая себя по коленке, и лицо у нее было такое светлое, что Пашкино отходчивое сердце размякло, и он сказал, приподнимаясь на локте:

— А я лисичку видел. Рыженькую.

— Здорово, — равнодушно отозвалась Марья Ивановна. — Воротник бы ладный вышел. Да разве ее поймашь. — Она задумалась. — Меня вот что заботит: быстро я его откормлю или нет. Видал, какой он худощавый? Совсем, как ты, тощей. Кормлю тебя — только харчи перевожу.

— Спать хочу, — скучно сказал Павлуня.

Марья Ивановна рассеянно отозвалась:

— Спи, спи!

А сама все сидела, рассуждая вслух, скоро ли дойдет боровок до нормальной упитанности.

Павлуня слушал, и горечь подкатывала к горлу. А когда под бархатные речи Марьи Ивановны он вспомнил, как стоял перед народом без шапки, побитый собственной матерью, то не удержался, расплакался, уткнувшись в подушку.

— Ой! — испугалась Марья Ивановна. — Что с тобой? Неужто не позабыл еще? — И опять ойкнула: — Ой, я ж тебя не покормила! Ослаб ты за этот проклятый день! — Она запнулась. — Нет, день-то хороший. Прямо сторублевый! Боровок пришел-явился, такая удача!

Павлуня резко повернулся к ней. Закрыв лицо ладонями, показывая только злые глаза, закричал:

— К черту! Чтоб он сдох!

А она шурила на свет лампы хитрые глазки, недоуменно бормотала:

— Пашка, Пашка, как же так? Всякую тварь любишь, а говоришь, чтоб она сдохла? И не жалко?

Павлуня сел на постели, подумал и ответил, пошмыгивая носом:

— То тварь, а тут — скотина!

Марья Ивановна, наклонившись, вытянула из-под кровати чемодан. Спросила в упор, куда это сын снарядился в такую позднюю пору.

— Куда-нибудь, — безразлично ответил измученный Алексенч, которому одного хотелось — спать.

— Непутевый, — сказала она добродушно, ногой заталкивая набитый чемодан обратно под кровать. — Где жить-то собрался? У Лешахи, что ли?

Павлуня лег, закрыл глаза и, казалось, уснул. Только веки подрагивали. Приглядываясь к этому подрагиванию, Марья Ивановна заговорила тихо, доброжелательно:

— Ты уж лучше в общежитие иди. Там душ есть, газ, туалет в тепле, не на улице. Только просись в комнату на двоих. Васька Аверин тебе не откажет: друзья — вместе чужие огороды рушите.

Павлуня открыл глаза, внимательно посмотрел на мать. Марья Ивановна была серьезна и печальна.

— И просись, чтоб к некурящим поселили. Чтоб не дали храпуна — замучает!

Мать так спокойно и деловито выпроваживала сына, что Павлуня растерялся.

А Марья Ивановна, озабоченно покачивая головой, вышла из комнаты, притворив за собой дверь. Она немного постояла у кухонного окна. Из этого черного зеркала на нее смотрела толстоногая растрепанная баба. Марья Ивановна подмигнула ей и тонко усмехнулась.

•СБЕРЕГИ МОЮ ЛОШАДКУ.

Марья Ивановна никак не могла успокоиться. Душа ее горела. И чтобы остудить душу, а заодно и капусты в погребе набрать, она вышла во двор.

Было светло от снега и луны и от фонаря, что горел возле ее забора. И Марья Ивановна увидела человека, который брел, вроде бы покачиваясь.

«Пьяный!» — решила хозяйка и, подперев кулаками бока, приготовилась хорошенько зашуметь, если мужик, не дай бог, плюхнется на ее скамейку.

«Пьяный» не стал садиться, он отворил калитку, вошел во двор.

«Какого дьявола ты тут потерял?» — только хотела как следует спросить разгоряченная Марья Ивановна, но человек сказал голосом Трофима:

— Здравствуй, Марья!

Пашкину мать и черт печеный не устрасил бы, но сейчас, узнав неожиданного гостя, она смотрела на него изумленная, прикрыв рукой рот. Марья Ивановна, как всегда, вышла во двор без пальто и платка, в старом, с продранными локтями домашнем платье, в шлепанцах, из которых давно вылезали пальцы.

— Ой! — ответила она, бросаясь в дом и теряя по пути одну свою обутку.

Трофим поднял ее, поковылял с нею к дому. За стеклом на миг забелело лицо Марьи Ивановны — широкое, чуть не во всю раму. Скрылось. Трофим ступил на крыльцо.

В доме хозяйка встретила его в пальто и валенках.

— Здравствуй, — сказала она растерянно. — Как дела?

Из своей комнаты вышел Павлуня. Сонный, он недоуменно уставился на гостя, который впервые переступил их порог.

— Уезжаю я завтра, — сказал Трофим, стоя посреди кухни с обуткой в руке.

Павлуня молча взял у него шлепанец, бросил за печку. Поставил стул, Трофим сел на него, вытянул деревяшку.

— В санаторий? — спросила Марья Ивановна.

Гость после короткого раздумья ответил:

— В санаторий.

— В какую местность?

Трофим наморщил лоб.

— В Сочи.

— Климат там хороший, — сказала хозяйка, которая никогда нигде не была.

— Хороший,— согласился Трофим.— Я проститься пришел и просить, чтобы Пашку ты не обижала.

— Да господи! — всплеснула она руками. Пальто слетело на пол. Марья Ивановна быстро подняла его, накинула, смущенно замолчала.

Трофим вытащил из-за пазухи кошку, такую же суровую, как он, и опустил ее на пол.

— Вот, пускай поживет.— И снова повторил: — Не обижайте.

Марья Ивановна не любила кошек — бесполезных в хозяйстве тварей. Она опасливо погладила животное носком валенка:

— Оставь, не пропадет.

Трофим посмотрел на нее своим странным темноватым взглядом, буркнул «до свидания» и похромал к двери.

Марья Ивановна в спину ему поспешно сказала:

— Чайку бы!

— Спасибо!

Он ушел. Сын с матерью остались вдвоем. Если не считать кошки, которая сидела у печки, молчала. Она не щурила глаза, смотрела кругло, в упор.

— Сидит? — буркнула Марья Ивановна.

— Сидит! — взглянул в окно сын.

Марья Ивановна приплюснулась к холодному стеклу. На скамейке возле ее забора сжался Трофим.

Павлуня быстро оделся, выбежал.

Трофим крепко держался за живот.

— Чего? — присел рядом Павлуня.

— Погоди...

Трофим подышал сквозь зубы. Вроде бы полегчало. Павлуня придвинулся к нему и, заглядывая в лицо, пожаловался:

— Осрамили меня... перед народом...

— Ничего, Алексеич, бывает хуже.

— Нет, хуже не бывает! — вздохнул Алексеич.

В доме скрипнула дверь: Марья Ивановна, высунув голову, прислушивалась.

— Странная она у тебя,— громко сказал Трофим.— Не хочет, чтобы ты человеком стал. Тянет в сторону.

— Тянет,— грустно соглашался Павлуня.

— А ты упирайся! Не маленький!

Дверь закрылась. Погасли окна.

Павлуня начал длинно рассказывать о сегодняшнем несчастном дне. Трофим, слушая его, странно ежился.

— Холодно? — посочувствовал Алексеич.

— Ничего, Пашка.

Зубы у него стучали, как он их ни стискивал.

Павлуня вскочил:

— Я шубу принесу!

— Не нужна шуба. Сходи-ка за лошадкой моей.

Павлуня всегда легко выполнял чужие приказы, мало над ними задумываясь, но тут ему понадобилось минуты три, чтобы осмыслить сказанное.

— Сейчас идти? — запоздало удивился он. — Темно ведь. Снег...

— Иди, Пашка, иди!

Тут же, под фонарем, Трофим нацарапал пару слов в блокноте, вырвал листочек, вручил Павлуне, тот побрел, оглядываясь.

Ворота конюшни были приперты колом. Пришлось долго ждать сторожа, который пришел из дома распаренный и недовольный. Сердито всматривался из-под рукавицы:

— Кого еще принесло?

— Меня, — ответил замерзший Павлуня. — Трофим велел Варвару взять.

— Пашка? — узнал старик и пошел отворять гнилые ворота. — Зачем тебе лошадь?

Павлуня молча протянул ему записку и направился прямо к Варваре. В конюшне, над проходом, горел редкий ряд ночных фонарей. В легком теплом тумане пахло сеном и лошадьми, которые кротко смотрели большими темными глазами. Павлуня шагал и каждую лошадку норовил ласково погладить, сказать ей доброе слово. Ковыляя за ним, дед Иван бормотал, что брать по ночам скотину — это не дело и что вряд ли Варвара пойдет с чужим.

Павлуня не стал спорить, молчком вывел лошадку на улицу. Она покорно дышала ему в ухо.

— Слушается, чудеса! — дивился сторож.

Варвара жевала хлеб, а парень тем временем запрягал ее в сани, управляясь с этим делом так ловко, что дед только побрякивал. Минут через десять Павлуня забрался в сани, чмокнул губами.

«Ишь ты, бежит!» — снова покачал шапкой дед

Иван и, подперев ворота колом, отправился допивать чай.

Трофим сидел в той же позе, только был он вроде потолстевший.

Осадив лошадку, парень разглядел, что он в шубе, и порадовался материнской догадливости.

Трофим, не снимая тяжелой шубы, наброшенной поверх его легкого пальто, завалился вместе с ней в сани, зашуршал сеном, свежим, пахучим. Павлуня подоткнул длинные полы ему под бока, подпихнул под локти сенца, не спросясь, сам уселся за кучера, деловито осведомился, куда править.

— Прямо,— сказал Трофим.

Варварушка, пофыркивая, не спеша побежала мимо клуба и музыкальной школы, мимо больших домов — к маленьким, от фонарей — во тьму. Скрипели полозья. Павлуня, забывший уже этот милый звук, слушал его с удовольствием.

Вот уже ушла назад узкая лесная полоска, показался заброшенный пруд. Вывернулась, как по заказу, луна из-за тучи, осветила всю, как на холсте выписанную, картину: белую скамейку, старые ивы, снежные берега.

— Погоди-ка,— произнес Трофим.

Павлуня остановил Варвару. Седок тяжело вылез, подошел, длиннополый, как боярин, к самой корявой, в дуплах, иве и снял перед нею шапку. Парень с удивлением наблюдал, как Трофим поглаживает морщинистую кору старого дерева. Вернулся он, покашливая, и, когда Павлуня спросил, куда дальше держать путь, ответил:

— Прямо.

Павлуня поехал прямо. Там, на месте бывшей Климовки, валялись бревна да чернели ямы, присыпанные снегом.

Не вылезая из саней, Трофим тыкал рукой куда-то в сырую, трудно различимую полутьму:

— Там вон, Алексеич, пасека была. А там черемуха цвела, белая. А мне только-только семнадцать стукнуло...

Парень слушал, с большим сочувствием кивал.

Они долго скрипели полозьями в снежной ночи, объехали почти весь совхоз и вернулись на центральную усадьбу, сделав изрядный крюк.

— Женька где? — неожиданно спросил Трофим.

— Учится,— с сомнением проговорил Павлуня.

Но когда проезжали мимо хоккейной коробки, услышали знакомый петушиный крик: Женька гонял шайбу.

— Не зови, пусть,— остановил Трофим Павлуню и полюбовался распаренным хоккеистом.

Когда Павлуня подвез его к дому, Трофим попросил:

— Ты за Женькой гляди, пожалуйста.

— Ага,— ответил Павлуня недоумевая.

Седок вылез, скинул с плеч шубу:

— Тепленькая. Спасибо Марье Ивановне.— Он пожал Павлуне руку и сказал совсем непонятное: — Прощай, Алексеич. Живи. И сбереги мою лошадку.

Усталый и растревоженный Пашка вернулся домой. К его удивлению, мать, любившая ложиться рано, еще не спала. И сидела она не за чаем, а над толстой книгой, что лежала перед нею на столе. Увидев книгу, сын удивился еще больше: Марья Ивановна давно ничего не читала.

Он кашлянул. Мать захлопнула книгу, унесла ее в свою комнату.

— Чай пей. Горячий,— сказала она, не показываясь.

Павлуня лег, но заснуть сразу не мог. Он лежал, слушал, как за тонкой стенкой вздыхает и бормочет мать.

ОДИНОКАЯ

С утра круто завернула метелица. Загуляли белые вихри над полями и озерами, над Гнилым ручьем и Чертовым оврагом, над огородом Марьи Ивановны.

И сразу ожили на столе Аверина оба телефона — городской и местный. Замигали в диспетчерской зеленые огоньки на пульте, раздался писк рации: всем позарез стали нужны мощные гусеничные трактора — подвезти корма на ферму, вытащить застрявший автобус, очистить дорогу. Одна за другой уходили в метель тяжелые машины. Маломощные колесники стояли под навесом в ожидании пояснения.

Парни из Мишиного звена возились в мастерской. Здесь было тихо. Ярко горели лампы. Пахло машин-

ным маслом. Хорошо работалось ребятам, даже неугомонный Женька притих и деловито погромыхивал «железяками», промывая их в бензине. Пришел помочь в ремонте и Боря Байбара. Руки у комсорга ловкие, и, глядя на них, Павлуня вспомнил Мишу и взгрустнул.

Раскрылась тяжелая железная калитка в воротах. Подгоняемый ветром, влетел Иван Петров и закричал:
— Эй! Сам прибыл! Зовет!

В красном уголке собрались механизаторы. Они, как обычно, расселись сзади, предоставив передние места вместе со столом начальству.

— Здравствуйте, товарищи! — сказал Василий Сергеевич, положив перед собой на стол шапку с перчатками в ней и наскоро причесываясь пятерней. — Мы пришли просить вас о помощи.

Механизаторы насторожились: просить товарищ Аверин не умел, и уж если решился на это, то дело, видно, приспело серьезное.

Василий Сергеевич посмотрел на незнакомца в очках, который явился вместе с ним. Тот поднялся и сказал взволнованным голосом:

— Товарищи механики! Я представитель монтажного треста и обращаюсь к вам за помощью. На станцию прибыл срочный груз. Его необходимо немедленно доставить на строительство вашего комплекса.

В углу поднялась рука. Встал Иван Петров и осведомился:

— Какого примерно рода прибывший на данную станцию груз?

— Очень ценное оборудование, — ответил представитель треста. — Куплено за рубежом, оплачено валютой.

Услыхав слово «валюта», Иван Петров значительно поджал губы и посмотрел на представителя монтажников с уважением.

Василий Сергеевич обратился к Павлуне:

— Дорогу-то в поле начисто перемело. Вот если бы через твой проулочек? А?

Все посмотрели на Павлуню. Посмотрели по-разному: Василий Сергеевич — с надеждой, Иван Петров — с насмешкой, Боря Байбара — с тревогой, а представитель монтажников — с уважением.

У парня голова пошла кругом от такого дружного

внимания. Однако помаленьку он пришел в себя и доверительно сказал незнакомцу:

— Если по самому краю... Знаете, где кусты?

— Не знаю,— улыбнулся представитель.— Выручайте, товарищ,— горим!

Павлуня помялся и спросил:

— А в наши тележки-то влезет?

— Влезет! Я проверял! — сказал Василий Сергеевич.

И тут пошел разговор, в котором больше участвовал Павлуня, чем Иван. Это его злило. И когда, обговорив детали, механизаторы начали подниматься с мест, надевая шапки, когда незнакомец бережно, словно невесту, повел под локоток проклятого Павлуню, Иван негромко бросил ему в спину:

— А мама пустит?

И с радостью заметил, как Павлуня споткнулся на ровном месте.

Василий Сергеевич, насупив брови, оглянулся.

— А тебе, Петров, я бы не советовал ехать!

— Почему это?

— Да рейс-то невыгодный, стоит ли рисковать? — вставил Боря Байбара.

— Молод ты еще учить-то! — помрачнел Иван и побежал, затопал.

Василий Сергеевич подошел к Павлуне.

— Ничего,— улыбнулся ему парень, но улыбка эта вышла очень неубедительная, бледная.

И Аверин тихо сказал:

— Другой дороги нету у нас, Алексеич. Выручай.

Метель пошла на убыль. Но чем больше прояснялось, тем страшнее казались белые бугры вокруг. Шоссе расчистили, и по нему до самой станции механизаторы доехали без хлопот.

Загрузились быстро. Тележки заметно осели под тяжестью ящиков и каких-то угловатых деталей, красиво обтянутых пленкой. Обратного трактора поволокли тележки с натугой, загудели громче, в кабинах стало жарко.

Чем ближе подъезжали они к дому Марьи Ивановны, тем чаще взглядывал Женька на товарища. Но не говорил ни слова — боялся, что Павлуня, спокойный сейчас, вдруг разволнуется, станет бестолково двигать локтями, и тогда все рухнет.

Позади, не отставая ни на колесо, нажимал Иван Петров. Он торопился поскорей увидеть Павлунина позор и гадал, с какой дубиной встанет на пути трактор Марья Ивановна.

Ему здорово мешал представитель монтажников, которого он из уважения пустил в свою грязную кабину. Представитель всю дорогу вертелся, с тревогой выпрашивал про Павлуню и его механизаторские достоинства.

— Увидите,— бормотал Иван, значительно поглядывая вдаль.— Сейчас увидите.

Когда свернули в проулок Марьи Ивановны, Павлунин трактор остановился. Незнакомец вытянул шею:

— Что там? Как вы думаете — он проедет?

Иван Петров, замирая, ответил:

— А уж это как бог даст!

Он глядел, высовываясь, как Павлуня неуверенно подошел к двум жердинам, загораживающим путь отряду. За ними был огород Марьи Ивановны, угол которого нахально выехал на самую середину старой, заброшенной дороги. Тут давно никто не ездил. Марья Ивановна поэтому считала проулок своим собственным и грозилась совсем перекрыть его каменной глыбой из карьера. Дело застопорилось только потому, что шоферы дороги просили за доставку такого негабаритного груза.

Павлуня с Женькой отнесли жердины на полметра в сторону, освободив узкий проход — только-только проехать трактору.

— Что там? — спрашивал незнакомец Ивана.

Но тот отмахивался, жадно высовываясь из дверцы. В волнении он не замечал, что все кабины распахнуты настежь.

Настороженно смотрел Василий Сергеевич Аверин: первый заместитель директора и главный агроном с детства побаивался Марьи Ивановны, с тех самых пор, как она отжарила его однажды крапивой, поймав в своих вишнях.

— Ну! — торопил Иван.

Но дверь не отворялась, не выпускала на драку Марью Ивановну.

Не утерпев, Иван выскочил на снег.

— Чего встал! Трогай! — закричал он таким голо-

сом, чтобы Марья Ивановна непременно услышала и вылетела.

— Чего горланишь? — нахмурился Василий Сергеевич.

Он подошел к Павлуне и стал рядом — на всякий случай. Здесь же стояли стеной Боря Байбара, Женька и Саныч. Подумав, выбрался и незнакомец.

И тут все увидели хозяйку. Она, торопясь, шагала из магазина, обе руки ее были заняты сумками, и это немного утешило Аверина. Марья Ивановна, поставив сумки возле жердины, направилась к механизаторам. Она не глядела на Аверина, на взопревшего Ивана Петрова, на бледного Саныча — она сверлила взглядом сына.

И парень, выпрямляясь, сказал звонким, срывающимся голосом:

— А мы все равно проедем! Поняла?!

Мать подошла близко. Павлуня смотрел ей прямо в лицо.

— Ну, чего ты? — пробормотал он, увидев в ее глазах растерянность. — Чего ты... Нам же надо...

— Мы весной огород вспашем! — поспешно сказал Аверин, норовя загородить собой Павлуню. — Бесплатно!

Но Марья Ивановна, так и не сказав ни слова, не замахнувшись на сына, быстрым шагом пошла к сумкам.

— Ну, поехали, — Павлуня поковылял к своему трактору.

— Поехали. — Женька первым влетел в кабину, искоса поглядывая на Марью Ивановну, застывшую у плетня.

Зарычали моторы, закрутились колеса. Павлуня провел трактор с тяжелой тележкой по самой кромке большого огорода, а хозяйка его не шелохнулась.

Иван Петров, чертыхнувшись, захлопнул дверцу и покатил следом. Он газовал так, чтобы хоть визгом двигателя расшевелить Пашкину мать. Но она застыла.

— На тебе! — Иван проехал по огороду. Оглянулся в немалой тревоге.

Марья Ивановна уходила в дом со своими сумками. Закрылась за ней дверь. Не ожили занавески.

— Очумела баба! — пробормотал Иван.

Одна смутная надежда осталась у него: может быть, хоть кто-то бесславно увязнет в овраге. Но и тут проклятому Пашке повезло: мало того, что загороженный домами овраг совсем не замела метель, колонну еще поджидал мощный гусеничный трактор, который прокатал широкую плотную колею через кусты до самого леса. А Павлуня к тому же ухитрился так провести весь обоз по краю оврага, что Иван с этого дня и часа понял окончательно: дуракам счастье.

— Господи, хоть ручей не подкачай! — взмолился он.

Но и ручей подкачал: как своих, пропустил механизаторов, не сотворив им вреда. Ивана так и толкало под руку по старой памяти вильнуть в канаву. Но, поглядев на колючую воду, Петров вздрогнул. Теперь-то уж никто не поверит, что он засел по ошибке. И Пашка, ясное дело, не полезет спасать его, а, чего доброго, самого Ивана погонят в кипящую черноту.

Благополучно переехав через ручей, Иван от всего своего разбитого сердца пожелал ему:

— Чтоб ты треснул!

— Что? — спросил повеселевший представитель.

— Ничего! — отрубил Иван и надолго замкнул уста.

Впереди пошла укрытая лесом чистая дорога, и застрять в таком месте смог бы только самый последний болван. А там, в посветлевшей дали, уже показались красные фермы...

Иван Петров отвернулся, когда представитель монтажников тряс Павлуне руку, норовя выдернуть ее из плеча.

— Спасибо! — говорил представитель, сверкая очками и улыбкой. — От всего коллектива!

— Если что — приезжайте! — подсунулся Женька, протягивая свою ладонь.

Представитель пожал ее с удовольствием и подарил Женьке «огромное спасибо». Тот отошел задумчивый. Иван Петров смотрел на него, усмехаясь.

— Спасибо вам, товарищ! — стиснул его руку очкастый представитель. — Что бы я без вас делал!

— Ладно, чего там, — опустил глаза Иван.

Когда ехали обратно с пустыми тележками, Женька все ломал голову над одним вопросом: почему это Марья Ивановна так свободно, без криков пропусти-

ла их через свои владения? Хотел спросить у товарища, но впервые, пожалуй, не посмел: Павлуня сидел за рулем такой вдохновенный, что отрывать его от дела было грешно.

Усталые трактора один за другим становились на свои места у мастерской. Смолкали двигатели, медленно выползал из-под навеса тяжелый сизый соляровый дым. Скоро во дворе стало тихо. Измученные механизаторы молчали, да и машины, казалось, закрыли бы свои большие глаза, если б умели. Женька тоже присмирел, глядел на белый пушистый снег, летящий на фонари, словно рой ночных мотыльков.

— А это еще кто? — вдруг спросил он.

Возле тракторов потерянно бродила одинокая лошадка без седла и уздечки. Женька подбежал к ней, присмотрелся и закричал:

— Пашка! Это Варвара!

Механизаторы называли лошадку по имени, каждый норовил похлопать ее по гладкой шее, сказать доброе слово. Варвара равнодушно принимала эти ласки от людей, пропахших железом да соляровкой. Ни от одного из них не пахло махоркой, как от Трофима.

— Ну, чего? — тихо спросил ее Павлуня.

Лошадь оглянулась на голос и, минуя все ласковые руки, прямехонько направилась к Алексеичу. Подойдя, ткнулась губами в его ладони, замерла так.

Их окружили механизаторы, ничего не говорили, смотрели молча. Только Иван не утерпел:

— Грамотная. Знает, куда примазаться. Прямо к Пашке! А Пашка нынче у начальства в большой чести.

Павлуня, не обращая внимания на злые слова, сперва сам угостил лошадку хлебом, потом дал корочку Женьке, чтобы тоже покормил Варварушку да порадовался.

«Пустяками занимаются!» — сказала бы на это деловитая Марья Ивановна, не терпевшая, когда сын возился с лошадьми да с собаками, с хромыми кошками и подстреленными воробьями.

Павлуня с Женькой вместе повели нежданную гостью в конюшню. Варвара брела следом, как привязанная, хотя Павлуня не позвал ее, а просто повернулся и пошел.

— Дуров! — сказал ядовито Иван.

— Дурак, — вздохнул Женька и обратился к Пав-

луне: — А ты верхом! Чего ноги-то бить, когда кобыла рядом?

— Не кобыла, а Варвара, — возразил Павлуня.

Показалась конюшня — низкая крыша, ветхие стены. Осталось только дорогу перейти — и лошадка дома. Но на дороге крепко стояла Марья Ивановна и смотрела на всю троицу. В сумерках Женька не видел, как она смотрела, но он сразу заметил кулаки, упертые в бока.

— Не бойся! — шепнул он.

Марья Ивановна шевельнулась:

— Явился? — Голос у нее был глухой, усталый. — Чьи еще огороды давил?

Женька бойко ответил ей:

— Мы ж для совхоза, не для себя! А насчет сегодняшнего, так вы не волнуйтесь! Огород вам вспашут! Обещал же Аверин! — торопился высказаться Женька, пока голос Марьи Ивановны не набрал силу.

Она не слушала, а, подойдя поближе к Павлуне, с удивлением спросила:

— Пашка, а Пашка, неужели тебе собственного дома ни на грош не жалко? Разве ж я для себя одной огород горбом возвела?

Голос Пашкиной матери дрожал и надрывался. Сегодня Марья Ивановна совсем не была похожа на себя.

— Какой там огород, — пробормотал Павлуня. — Крапива сплошная.

— Крапива, да моя! — взвизгнула было Марья Ивановна, но тут же опять притихла и сказала, тяжело вздохнув: — Нет, не хозяин ты, Пашка!

И Марья Ивановна с такой печалью посмотрела на сына, словно был он безнадежно болен и ему ничем нельзя помочь.

— А это что за кляча? — заметила она наконец. — Куда ее ведешь, такую страшную?

Женька, радуясь перемене темы, залопотал:

— Это Трофимова лошадь, Варвара! А ведем мы ее на конюшню!

— А тебя не спрашивают! — обозлилась она. — Тебе-то чего весело?! В школу иди, лоботряс несчастный! Эх, была бы я твоей матерью!

— Не надо! — засмеялся паренек.

Марья Ивановна зашагала домой, наказав Павлу-

не «немедля приходить». Парни отвели лошадку и разошлись.

— Если что — прямо ко мне! — крикнул Женька и понесся весело к дому.

Теперь не страшно за Пашку. Если Марья Ивановна и была заряжена гневом, как грозовая туча молниями, то она уже отвела душу на Женьке. И всю дорогу паренек посвистывал, а дома отбил перед изумленной матерью такую чечетку, что та с тревогой спросила:

— Что это ты веселишься? Не к добру.

Женька, не прерывая пляски, отвечал:

— Чтой-то веселюсь — это не к добру: может быть, женюсь, а может быть, помру!

И оба рассмеялись. А через минуту, замирая от счастья, слушала седаая Лешачиха повесть о том, как героически доставлял Женька срочный груз и какое большое, с лошадиную голову, «спасибо» он отхватил.

Павлуня вошел в дом с опаской, но Марья Ивановна не ругалась. Она опять сидела, склонившись над той же толстой книгой, а увидев сына, снова поспешно захлопнула ее.

— Читаешь? — спросил он.

— А разве нельзя? — пробормотала Марья Ивановна и пошла к себе — прятать книгу. Из своей комнаты спросила: — Где непутевый отдыхает-то?

— Не знаю, — рассеянно ответил сын. — В санатории где-то, говорят.

— Дурак! — сказала мать сердито.

И Павлуня не понял, кого она отругала — его или Трофима.

РЫБАКИ

— Кто завтра на рыбалку? — спросил в субботу Боря Байбара.

— Я! — ответил Женька, которому все равно куда ехать, лишь бы не сидеть на месте.

— И ты собирайся, — сказал комсорг Павлуне.

— Я? — удивился парень. Он ни разу не брал удочек в руки — в свободное время предпочитал поглядеть телевизор или, наморщив лоб, почитать книгу.

— Завтра в пять! У клуба! — сказал Боря Байбара и понесся мыть мотыля.

Павлуня, раздобыв все необходимое для рыбалки, до глубокой ночи налаживал купленные в сельмаге удочки.

Едва задремал, как заколотили в окошко.

— Давай скорей, выходи! — закричал Женька.

Павлуня отворил дверь. И пока одевался, Женька стоял над душой и вздыхал. Наконец парни побежали к клубу, где стоял уже совхозный автобус.

Рыбаки подходили дружно, все занимали свои места — давние, любимые: кто поближе к окошку — на дорогу глядеть и мечтать, кто подальше, в угол — спать.

Павлуня с трудом протащил в дверку накануне сколоченный короб, оглянулся: куда бы сесть.

— Давай на пол! — сказал ему Женька.

И Павлуня уселся прямо в проходе, на свой ящик, который всю дорогу трещал под ним, грозя развалиться.

— Поехали! — торопили рыбаки водителя.

— А Пузырь? — обернулся тот к Боре Байбаре.

Модест был яростным любителем подледного лова и не пропускал ни одной рыбалки.

— Заедем! — сказал комсорг.

Показались черные окна Хорошова. Только в одном доме они желто светились.

От калитки к автобусу поспешил человек, тоже с ящиком на плече и с пешней в руке.

— Доброе утро! — сказал, втискиваясь, Иван Петров. — А Модест не поедет — болен.

— Паша, сходи, — попросил Боря Байбара.

Павлуня замешкался в недоумении, но на него так закричали со всех сторон рыбаки, что он, не раздумывая больше, побежал к знакомой калитке.

Павлуня прошел на кухню и, помня запрет, остановился на пороге.

— Проходи, чего ты, — тихо сказал ему Модест.

Он стоял тут же, у печки, прислонясь к ней спиной.

— Ждут, — кивнул Павлуня на окно.

Модест вздохнул.

— Горе у меня, — сказал он без своей всегдашней важности. — Вика ушла.

Павлуня не стал ничего спрашивать: все было понятно и без слов. Ему бы утешить Модеста — не умел

он этого делать, а к тому же за окном просигналил автобус.

— А я вот,— развел руками Павлуня,— первый раз...

Модест посмотрел на него.

— Шубу зря надел — жарко будет,— сказал опытный рыбак.— И галоши привяжи — потеряешь в снегу.

— Ага,— сказал Павлуня, жалея бедного Пузыря с его обвисшими баками.

Еще раз длинно загудел автобус.

Модест вытащил из-за печки отточенную пешню:

— На! А лом свой выкини, не смей народ.

— Спасибо.— Павлуня нерешительно принял подарок.

— Тебе спасибо,— сказал Модест. Он проводил его до калитки и, стоя в одной майке на морозе, попросил: — Заходи, а?

— Скорей, заснул, что ли?! — надрывались из автобуса.

Павлуня влез в него молчком. Автобус тронулся.

У ног Павлуни сверкала пешня, острая, как боевая пика. Иван Петров на нее поглядывал, но молчал.

Рассветало. Они ехали лесом. В елочки да сосенки убегали следы лыж. Сами лыжники мелькали там и сям в ярких куртках.

— Пижоны! — презрительно процедил Иван Петров.— Шныряют, словно волки! Нету отдыха лучше, как возле лунки: не поймает, зато надышишься. Помечтаешь в тишине, на природе. Не улов дорог — здоровье не купишь.

Дорога становилась все оживленней. В одну и ту же сторону торопились пешие и колесные, ехали грузовики, мотоциклы, тяжело переваливались автобусы. Просмыгнул туда же «газик» Василия Сергеевича Аверина.

Иван Петров встревожился, завозился:

— Не иначе как на наши места нацелились!

Наконец автобус остановился на высоком берегу длинного озера. Совхозные, высыпав из духоты, с горечью посматривали на издолбленный лед, на черные фигурки, которые сидели, бродили, колотили лунки или просто прыгали на морозце. Стояло немало пленочных колпаков, из-под которых валил сигаретный дым. Гам плыл над озером.

Совсем напрасно Иван Петров разогнался посидеть да помечтать в тишине: слишком много таких мечтателей собралось на одном озере.

— Ну и долго думать будем? — Женька с крутого берега поехал на пустом гремучем ящике.

За ним проворно стал спускаться Иван. Позади всех тащился Павлуня в своей боярской шубе. Он сразу оставил галоши в сугробе, долго искал их, нашел наконец и, сунув в короб, пустился догонять остальных.

Иван вдруг повернулся к нему и, насупив брови, махнул рукавицей куда-то вдаль.

Вот уже два дня он только знаками да кивками общался с Павлуней, решив, видно, доконать его молчанием.

— Не лезь за мной, — перевел его немую речь Женька. — Ищи себе место.

Женька, подмигнув товарищу, скрытно подался за Иваном. Павлуня в растерянности огляделся. Все совхозные торопливо расползались в разные стороны, садились кто под бережок, кто на середку, закрываясь от настороженного взора ящиками да колпаками. «На свои места», — понял Павлуня. У него ни на этом, ни на другом озере не было заветного места.

Мимо проходил Аверин, пешней простукивая лед впереди себя.

— Вы далеко? — с надеждой спросил Павлуня.

— Да так, — нехотя ответил Василий Сергеевич, прибавив шаг.

И Павлуня понял, что этот рыбак тоже спешит к лунке, набитой щуками да судаками.

Парень остановился. Вздохнув, тюкнул тяжелой пешней там, где стоял и где никого не было. Опустив в воду червяка, он сел на короб, стал с любопытством таращиться на леску. Скоро мертвая леска перестала занимать его, и Павлуня, положив на лед удочку, задумался.

— Эй, клюет!

Он вздрогнул, выдернул удочку. На крючке болтался крупный ерш — весь в слизи и растопыренных колючках, глазастый, страшный.

— Ого, вот так рыба! С удачей тебя! — поздравил тот же голос.

Павлуня повернулся к человеку. На него весело

смотрел ладный парень — шапка на затылке, рыжий чуб прилип ко лбу. И глаза у парня бедового рыжего оттенка.

— Привет! — с улыбкой поздоровался механик, грохая на лед рыбацкий ящик. — Сколько лет, одна зима!

— Нечего тут! — сказал Павлуня. — Ищи себе место.

— Место, место! Шут его знает, где оно тут! Я первый раз ведь! Видишь — галоши ненадеванные.

Павлуня подобрел, наблюдая искоса, с какой опаской механик разглядывает его ерша.

— Я тоже первый.

— Понесла ж тебя нелегкая!

— А тебя? — спросил Павлуня, и оба немножко посмеялись.

Потом они уселись рядом, спиной к ветру, и стали дожидаться клева. Чтобы не скучать, веселый механик отпускал шуточки насчет рыбаков, сидящих поодаль, на свой счет и на Павлунина. Алексеич постепенно оттаял. А когда заметил, что сосед, словно позабыв про былое, не спрашивает про Татьяну, то совсем успокоился. В довершение ко всему, он вдруг раз за разом начал вытягивать крупных ершей, а механик так бескорыстно радовался чужому счастью, что Павлуня растрогался и подарил ему десяток отборных червяков. Механик спрятал своих мотылей, нацепил вертлявого червяка и опустил его в лунку.

— Клюет! — крикнул неосторожный Павлуня, и через миг какой-то нахал стал долбить лунку у него за спиной.

Он обернулся и увидел Женьку.

— Ни шиша у Ивана нету! — сообщил Женька, кивком здороваясь с механиком. — Ты на что? На червя? Дай-ка!

Павлуня подумал и с кряхтением полез в карман.

— На. Троечку пока.

— Не жадничай! — схватив наживку, Женька без лишних слов ударился в ловлю.

Через час к Павлуне подступил сам Аверин. Покашливая в кулак и панибратски называя его «другом Алексеичем», временный директор попросил червячка и местечка.

— А то, понимаешь, с утра как в бочке — хоть на-



плюй в лунку! — дружески пожаловался он рыбаку, убирая своих мотылей, опарышей и красную нитку.

Павлуня подал ему пару жирных червяков.

— Если разорвать — надолго хватит.

— Ну и Пашка, ну куркулы! — только хмыкнул Женька, весело поглядывая в ту сторону, где в гордом одиночестве на пустом заветном месте сидел Иван, горячо моля всех знакомых святых послать ему пудового леща — на зависть проклятому Павлуне, себе на радость.

Счастливые минуты бегут быстро. Павлуня и не заметил, как тень от его пешни выросла. На бугре давно стоял Боря Байбара и надрывался:

— Эй, совхозные! Домой пора!

Павлуня поднялся. Ныла спина, болели исколотые пальцы. Он зашагал к берегу, собрав со льда ершей.

Тут по всему озеру прокатился зловещий треск: это механик провалился по пояс возле самого берега. Павлуня, Женька и другие люди вытянули на снег набухшего рыбака. Отдуваясь, тот сказал:

— Вот так сплавал!

— Давай в автобус! — подпихнул его Женька.

И механик тяжело побежал. В автобусе с него стянули полушубок, ватные штаны и все остальное нижнее. Шофер отдал ему свой пиджак. Женька — лишние брюки, даже Иван Петров, человек запасливый, не пожалел новые портянки, которые таскал в ящике третий год. Только валенок ни у кого не нашлось. Механик надел свои, вылив из них воду и набив соломой. Павлуня, как Иван Грозный, скинул шубу со своего плеча, отдал потерпевшему.

Нашли водку, налили. Механик выпил «лекарство», крикнул, и автобус тронулся, увозя довольных людей. Насидевшись в одиночестве, они были рады теплу и тесноте и оживленно разговаривали. Только Иван отвернулся к окошку и молчал.

Мокрый механик беззаботно дышал на Павлуню, поглаживая вытертую шубу:

— Заячий тулупчик почти новехонький! — и блеснул зубами, красивый, совсем не похожий на утопленника.

ВЕСЕЛЫЙ ГОСТЬ

Когда въехали в совхоз, Павлуня сказал механику:

— Хочешь — ко мне зайдём, у меня валенки есть. Новые.

— Зайдём!

Павлуня полез к выходу, протаскивая за собой короб с ершами. За ним, задевая народ полами шубы и балагурия, пробирался механик.

Женька недоуменно глазел им вслед: вести гостя к Марье Ивановне? Нет, Пашка рехнулся либо совсем осмелел!

А два рыбака шагали к дому Марьи Ивановны. Один очень торопился в своей пиджачке, а другому, в шубе, спешить было некуда, он тащил ящик, посвистывая.

Вдруг оба остановились. Навстречу им катилась Татьяна Чижик. Она не ожидала встретить своего бывшего вздыхателя. Застыли и оба несчастных ухажера.

— Здравствуй! — сказал механик, распахивая боярскую шубу и отдуваясь. — С праздником!

— С каким? — пробормотала девушка.

— С крещением! — улыбнулся парень, загораживая дорогу и не пропуская Татьяну.

Девушка хмурилась, краснела, поспешно убирала под шапочку волосы.

— Эй, какое тебе еще крещение? — спросила, появляясь на крыльце своего дома, Марья Ивановна.

Механик живо откликнулся:

— Это, тетенька, меня окрестили! А я вас знаю: вы Пашкина мать!

— А ты откуда выскочил, такой речистый? — удивилась Марья Ивановна.

— Я-то? Я, тетенька, утопленник! — показал он снежные зубы. — А к вам я за валенками!

— Да? У меня для тебя склад? — пробормотала она, но посторонилась, пропуская механика в тепло.

Татьяна побежала дальше, а он так долго провожал девушку глазами, что Марья Ивановна засмеялась и пропела:

— А-а, вспомнила тебя, жених! Это у вас с Пашкой Бабкин девку увел! И такую работающую!

— Увел, — сокрушенно вздохнул гость, первым проходя в дом. — Такая досада! Прямо аппетита лишился!

— Ну да! — Марья Ивановна с удовольствием глядела на упитанного механика.

Она пригласила парня за стол, и тот с азартом, без упрашивания, так накинулся на щи да кашу, что вызвал умиление хозяйки.

— Видал, как надо? — кивала она Павлуне на застольную работу механика. — Учись!

Сын и поел бы, да при постороннем не хотелось. Он завалился бы спать, да гость, хоть и получил валенки, не собирался уходить. Марья Ивановна только за живот хваталась, когда он в картинках рассказывал о том, как тонул и как его спасали да одевали.

Проникнувшись к механику большим доверием, хозяйка, как близкому другу, поведала ему о чудесном возвращении пестрого боровка. Гость ахал, дивился, давал серьезные советы, как быстрее и подешевле раскормить скотину. Потом Марья Ивановна рассказала о своем хозяйстве, и он тут же, не отходя от стола, распланировал, где на ее огороде удобнее чеснок для продажи посадить, а где теплицы возвести. Похаживая по комнате в валенках Павлуни, веселый утопленник вслух рассуждал о великой прибыли, которую принесут теплицы. Марья Ивановна слушала лихие речи, распахнув рот. Только изредка вставляла:

— Слушай, а если вместо стекла пленку приспособить? Пашка в совхозе ее возьмет.

— Как же, возьму! — сказал сын, глядя в окно. — Вон люди на остановку идут, скоро автобус, видать.

Глаза матери потухли.

— А строить кто будет? — горько молвила она. — Мой, что ли? Он последнее разбазарить норовит. Давай, парень, домой чеши. Хороши твои сказки, да не для меня.

Она выставила механика, даже не напомнив ему, чтобы поскорее вернул валенки. Гость ушел, задевая в сенцах за ведра полами шубы, гремя ящиком.

«Теперь усну», — подумал Павлуня, но сон вдруг пропал. Беспокойство овладело им. Он встал.

Мать еще сидела за столом, замороженная словами механика. Подняв на сына глаза, сказала сердито:

— Видишь, какие люди бывают?

— Люди, — отозвался Павлуня. — Знаем мы таких! Марья Ивановна внимательно посмотрела на него:

— Не наелся аль заболел?

— Нет!

— Чем же недоволен? Говори!

— Всем недоволен! — пробормотал Павлуня, надевая шапку и новое пальто. — Вот живут же люди! Нормальные! А ты все с огородом своим паршивым! Со своим животным вонючим! Хоть в кино бы пошла! Газету бы почитала когда!

Павлуня говорил все громче и громче, а последние слова, выкрикнув, прихлопнул дверь. Марья Ивановна изумленно молчала: никогда еще тихий сын не осмеливался так бунтовать. Она запоздало крикнула в дверь:

— Поговори у меня! Грамотный! Читатели!

Взволнованная, походила Марья Ивановна по комнатам, включила телевизор. Пианист играл что-то непонятное, очень грустное. И под эту музыку к Марье Ивановне пришел вдруг аппетит. Она поела холодной картошки с солью, запивая ее кислым молоком, потом выпила чаю и, немного успокоившись, взялась за счета. Подсчитывая будущие доходы, шелкала так и этак, пока не уснула на костяшках.

А Павлуня шагал туда, куда вело его растревоженное сердце. Светила луна, мерзли звезды. Было тихо и просторно на свете. У Татьяниной калитки мая-

чил под фонарем механик в наброшенной на плечи шубе, в Павлуниных валенках и рукавицах. Возле ног его стоял ящик и торчала пешня, воткнутая в снег. Держась руками за планки палисадника, он смотрел в окошко. На шторе четко пропечатывался силуэт девушки.

Механик оглянулся на скрип снега.

— Сто лет не видел ее, понимаешь? А сегодня встретил — и тут закипело. — Он постучал себя кулаком по груди.

Павлуня сухо отозвался:

— Понимаю. — Он хоть каждый день видит девушку, да от этого не легче. — Я все понимаю. Только у нее Бабкин есть, он служит. А Бабкин — брат мой, понимаешь? А тебе домой пора.

— Пойду, а то замерзнул! — Механик, запахнув шубу, невесело засмеялся. — До свидания, крестный!

— Прощай лучше.

Павлуня смотрел ему вслед и только тогда успокоился, когда подошел автобус и механик влез в него.

Автобус закрипел, тронулся.

— Уехал? — раздался милый голос.

Татьяна вышла незаметно в накинутой на плечи курточке. Павлуня неопределенно качнул головой, не то здороваясь, не то спрашивая:

— Видела его?

— Видела.

— Торчал под окнами?

— Торчал.

Павлуня сказал строго:

— Ты гляди!

Девушка засмеялась, схватила его за уши шапки, притянула к себе:

— Эх ты, сторож!

Он осторожно высвободился:

— Да ладно тебе уж... Гони ты его, а?

— Пашка, Пашка! Славный ты мужичок! Иди спать, не волнуйся.

Павлуня потоптался, и она с улыбкой спросила, что еще его мучит. Он поднял глаза.

— Пиши Бабкину, не забывай.

— А это уж не твоя забота.

Павлуня пожелал ей спокойной ночи и сам, успокоенный, зашагал домой.

БИЛЕТ ДО ГОРОДА САРАТОВА

В просторном зале, в центральной конторе, собрались совхозные механизаторы. Разговор шел о севе. Хоть за окнами томился серенький зимний день, хоть далеко еще до солнышка — люди все в весенних заботах. Уточнялись посевные площади, народ спорил, горячась, о запчастях и удобрениях. Звеньевые, как на подбор, умелые, сильные, горластые. Они не первую весну готовятся встретить и хотят, чтобы все у них было как надо: и техника, и семена, и запчасти. Они горой стоят за свою картошку или свеклу, за рожь и пшеницу, им растить и капусту, и травы: все поля поделены, каждый колосок, каждый клубень будет иметь хозяина.

— А что морковка? — в разгар страстей вдруг спросил кто-то, и сразу стало тихо, все посмотрели на ребят из Мишиного звена, которые сидели в уголке, не подавая голоса. — Нету звена-то.

— Есть! — сказал Боря Байбара.

— А кто возглавит? — спросил Иван.

— Модест! — твердо ответил Боря, и его ребята закивали.

В зале загудели.

Василий Сергеевич поднялся, усмехаясь:

— Во-во, нашел звеньевого, комсорг! Только твой Модест больно обидчив! Ишь ты, девка красная! Чуть что — «уйду» да «уйду»! Напугал! Пузыры!

— Спасибо, — послышался из двери одинокий голос. — Спасибо на добром слове.

— Модя? Модест? — нахмурился Аверин. — Проходи, садись!

Тот покачал головой:

— Был я Модестом, а теперь каждый может... ногами. Спасибо...

Тишина повисла над залом, даже стулья перестали скрипеть.

— За дело — убей меня, — продолжал Модест. — Только не унижай. Перед людьми. Я ведь тоже человек.

— Лодырь ты! — запальчиво ответил Аверин.

И кто-то из механизаторов сказал громко, с досадой:

— Эх, зря!

После совещания в полутемном коридоре парни уговаривали Модеста, окружив, шептали горячо, а Модест слушал, клоня голову. Иван хмыкал в сторону:

— Унижайся. И перед кем?! Перед Васькой Авериным?!

Модест поднял голову:

— Ведь ребята просят... По-человечески... Они мне доверяют — спасибо им. Ради них я готов... Пускай...

Парни долго не расходились, стояли у конторы опять все вместе — все Мишино звено. Значит, будет у поля хозяин — защитит, не даст в обиду.

— Пусть завтра загоняют технику на ремонт! — торопился Боря Байбара. — Время-то не ждет!

— Семена проверить, — подсказал Саныч.

Модест подал тихий голос:

— У меня трактор разутый, а гусениц нету.

— Пусть ищут! — шумел Женька, радуясь, что вокруг много молодого народа и жить будет весело.

Мимо прошагал Аверин, посмотрел на ребят, хотел что-то сказать, да промолчал.

— Так-то лучше, — тихонько проговорил вслед ему Женька. — Ну, Пузырище, до понедельника?

Саныч толкнул его под локоть, а все с опаской уставились на обидчивого Модеста.

— Ладно, — сказал он, — чего уж...

Он глубоко, вольно вздохнул и зашагал домой.

Павлуня пошел проводить Варвару. Ему было хорошо, спокойно. Он задал лошадке овса, вычистил ее.

Сторож, стоя рядом, удивлялся:

— Только тебя и признает, а почему? Слово, что ли, знаешь?

Вешая гребень, Павлуня сказал просто:

— Люблю ее.

Павлуня шел не торопясь, ступал по снегу с чувством. Снег подавал голос — к ночи он становился звонче.

Проследовал важный Женька с папкой под мышкой — учиться. Лешачиха для такого торжественного случая обрядила его в модное пальто и шапку, и он шествовал, покуривая.

— Куришь? — удивился Павлуня.

Женька бросил сигарету, засмеялся в сторону.

— Я так. Смотри матери не ляпни!

Он побежал к своей вечерней школе, откуда уже слышался звонок.

Павлуня покачал головой: носится этот мальчишка, как стриж. На всех пожарах первый, только в школу самый последний. А ведь способный.

Мать встретила его блинами. Сама она уважала это блюдо, считая, что блины не любить нельзя, обижалась на сына, который всегда робел перед масляной грудой.

«На мучное нажимай!» — сердилась Марья Ивановна и ела блины сама. Оттого, верно, и плечи у нее шире ворот, а в руках мужицкая сила.

Увидя опять блины и приправу к ним, Павлуня отступил на шаг. Однако мать не стала возмущаться Пашкиной трусостью. Она сидела странно безмолвная, печальная и ела рассеянно, макая блины то в сметану, то в варенье, отправляя их в рот попеременно с глубокими вздохами.

Взглянув на сына, кивнула на стол:

— Будешь?

— Не хочется...

— Тогда садись, ешь.

Павлуня внимательно посмотрел на нее.

— Ладно, — сказал он. — Я сейчас...

Сперва он сходил накормить боровка. Проклятый уже без памяти полюбил хозяина, узнавал его по шагам и визжал за версту. Павлуня тихонько отпихивал его, но боровок, сопя и чавкая, норовил прижаться к сапогам полновесным боком, лез холодным пяточком в ладони.

— Лопай, не приставай! — Павлуня быстро вылил пойло в корыто, вышел, заперев дверь.

Вечерний воздух после свиного сарая показался ему очень вкусным. Парень долго глотал его, размышляя о том, какая все-таки несчастная тварь этот боровок. У него никакой радости в жизни и одна-единственная страсть — обжорство. За это Алексеич не любит свиней. То ли дело коровы или лошади — те не чавкают и не глядят на тебя заплывшими, нехорошими глазами.

Поразмышляв так на вольном воздухе, Павлуня вернулся в натопленный дом.

Марья Ивановна пила теперь чай.

— Накормил? — спросила она равнодушно.

— Накормил.

— Зачем же кормишь, коли он тебе не нравится?

Сын подумал, ответил:

— Женщине нельзя тяжесть-то...

— Ага,— пробормотала она.— Спасибо. Садись ешь. Для тебя старалась. Кто тебе без матери сготовит... Без матери теперь и голодным досыта насыдишься...

Павлуня поднял в недоумении бровь, а Марья Ивановна грустно сказала:

— Уезжаю я, Пашка, далеко...

— Как? — испугался Павлуня.— Зачем это?

И она нехотя пояснила, что заболела вдруг тетя Сима из города Саратова и нужно срочно ехать к ней.

— Надолго? — спросил ошарашенный сын.

Марья Ивановна отвечала необычно тихим голосом:

— Кто ж знает... Я уж и отпуск оформила. Билет вот взяла.— Она издали показала его Павлуне.— Все теперь хозяйство на тебе — дом, огород... Можешь всласть изъездить его своими тракторами — твоя воля. И скотина вся на тебе: хочешь — корми, не хочешь — мори.

Павлуня пригорюнился. С детства ему везло на скотину. Да и все деревенские кошки и собаки любили его, словно догадывались, что он не ударит, не закричит. Теперь у ног трется кошка — квартирантка, любившая Павлуню за ласку да за молочко. В конюшне по нему страдает Варвара, а в сарае ждет не дождется жирный боров.

— Когда ехать-то? — спросил сын.

— А теперь же,— ответила Марья Ивановна, поглаживая кошку, на которую только вчера ворчала и замахивалась.

Она встала, и на пол со стула упала толстая книга, которую последнее время Павлуня часто видел в ее руках. Книга раскрылась, из нее вылетел снимок.

— Трофим? — удивился сын, наклоняясь, но Марья Ивановна, опередив его, быстро подняла снимок, сунула обратно в книгу.

— А тебе-то что? — пробормотала она, не глядя на Павлуню.

Он почему-то покраснел, сказал неуверенно:

— Скоро приедет небось. Из санатория.

И тогда она закричала сердито своим всегдашним

резким голосом, и щеки ее покрылись багровыми пятнами:

— Какой к черту санаторий! Кто тебе сказал?! Дурак он старый! Вцепился в свой совхоз! Ничего не нажил, одну болезнь! Ни хозяйства нет, ни рубля сбереженного, ни копейки лишней!

Марья Ивановна всегда ругалась, когда речь заходила о Трофиме, только ругань эта была какая-то жалостливая, обидчивая. И на сей раз Трофиму крепко досталось.

Павлуня слушал внимательно, не перебивая. Соображал. Когда мать запыхалась, он сказал с непонятной усмешкой:

— Привет передай. Тете Симе.

— Глупый ты, Пашка! — отрубила она и вышла, унося с собой толстую книгу с раскрытым секретом.

Через минуту она появилась, уже одетая, с чемоданом в одной руке и с авоськой в другой. На голове ее был теплый платок, на ногах — крепкие сапожки: мать собиралась далеко и надолго.

— Сейчас поеду, — сказала она Павлуне. — Только хозяйство погляжу.

Марья Ивановна вышла во двор. Павлуня остался, чтобы не мешать ей. Он видел в окно: мать все потрогала, за все подержалась, вернулась, на него не глядя.

Сердце у сына дрогнуло.

— Не бойся. Все будет в порядке.

Павлуня ждал, что мать примется долго и нудно наказывать ему, как беречь огород да кормить скотину, но вместо этого она со значением подняла к потолку толстый палец:

— Когда-нибудь поймешь!

Больше ни слова не сказала Марья Ивановна до самой остановки, а возле автобуса крепко поцеловала сына три раза.

Павлуня еще с детства отвык от материнских поцелуев, и теперь они растревожили его. Он долго шел за автобусом, махал вслед шапкой, шептал:

— Вертайся...

Взвихрилась снежная пыль и тут же улеглась. Павлуня присел на скамейку, стал думать о матери.

Если разобраться, Марья Ивановна, занятая своими заботами, не больно-то лезла в его жизнь. Он и при матери ходил сиротой в родном доме. Но все-таки



кто-то всегда был рядом, шумел, сердился, изредка дрался, а теперь ему придется возвращаться в пустой дом, где нет ни голоса матери, ни грома кастрюль.

Павлуня хотел было подняться, но тут к остановке подошла Вика-заправщица с тяжелым чемоданом в руке. Чемодан тянул ее в одну сторону, а в другую тянули двое маленьких ребятишек, с хныканьем тащившихся за ней.

Она поставила чемодан, сердито спросила Павлуню, был ли автобус.

Парень объяснил с сожалением:

— Только что... Теперь долго...

— Ну и черт с ним! — сказала красавица, усаживаясь и кладя ноги на чемодан.

Ребятишки полезли под ее руки, и она обняла их, согревая. Было тихо и темно, только возле остановки покачивался фонарь, бросая на снег пятна света.

Мимо прошли с гитарой совхозные парни. Они посмотрели на Вику, засмеялись, но не остано-

лись и ничего не сказали. Дело было привычное: красавица опять убегала от своего Модеста в город, к матери.

Павлуня искося поглядывал на четкий профиль заправщицы, на детей, свернувшихся на скамейке.

— Холодно ведь...

— Отвяжись!

— Да ведь замерзнут!

Вика встрепенулась:

— А ты чего тут расселся?

— Есть ведь хотят, — жалел Павлуня ребятишек, прикорнувших под руками матери, как цыплята под крыльями наседки.

Вика досадливо ответила:

— А тебе какое дело?

И перестала смотреть на него и говорить с ним.

Павлуня поднялся. Поплелся домой, вздыхая и мешкая. Позади раздался писк детей. Тогда парень скорым шагом подошел к Вике, молча подхватил ее чемодан и поволок.

Ребятишки бросились в дружный рев. Пока она вошла с детьми, Павлуня дошагал до своей калитки и, отдуваясь, поставил чемодан. Подроспела встрепанная Вика.

— Ты что, сдурел?!

Она рывком схватила чемодан, тот упал Павлуне на ногу, парень заплясал.

Успокоившись немного, Вика спросила потише:

— Какого черта?

Павлуня сказал, что автобус будет теперь не скоро, а пока пускай ребята обогреются у него дома.

Красавица долго не размышляла.

— Ну и ладно! — сказала она, с трудом вползая на крыльцо: на ней, словно раки, висели вконец сомлевшие малыши.

Войдя в дом, Вика встала посреди комнаты в своей шубке модного пошива.

Ее медвежата, зевая, стояли в одинаковых шубках и смотрели одинаковыми черными глазками.

— Раздевайтесь, — сказал Павлуня.

Вика ловко вытряхнула малышей из их шубек, и они превратились из смешных медвежат в девчонку да мальчишку — Сашку и Алешку. На девчонке складно сидели брючки и кофточка, все нежного розового цве-

та, мальчишка был одет в синий матросский костюмчик.

Павлуня посмотрел на Вику.

Она провела белыми пальцами по застежкам, небрежно повела плечом, и на руки Павлуне упала холодная, пахнущая духами шубка. Дыша этими духами, хозяин отволол шубу на вешалку.

Близнецы спали на тахте. Вика наклонилась к столу, положив на него руки и распустив по скатерти золотые волосы. Они блестели под лампой, и Павлуня залюбовался — он любил красивое.

— Есть хочешь? — спросил он гостью.

Вика подняла голову, потянулась, зевнула сладко.

— Пойду. Мать твоя придет — так расчесет!

— Уехала, — кратко ответил Павлуня. — В Саратов.

— Ого-о! — сказала Вика, подняв брови: Марья Ивановна давно уж никуда из совхоза не выезжала.

Павлуня провел гостью в комнату матери, показал, где лежат чистые простыни и наволочки, которые Марья Ивановна берегла для дачников.

— Бери. Все тут.

— Ага, — поблагодарила красавица и вдруг улыбнулась, пробормотав: — Вот теперь набегается, наищется теперь, чучело гороховое.

Павлуня, поняв, кто это «чучело», от души посочувствовал Модесту.

— Спокойной ночи, — вежливо сказал он даме, и та, широко зевая, невнятно ответила:

— И тебя тем же концом.

Павлуня постоял еще, подивился, как это такая красивая Вика может выговаривать такие некрасивые слова.

— Ну, чего вылупился?! — рассердилась гостья на хозяина. — Я спать хочу — обмираю, а он стоит!

Павлуня поплелся к себе. Он слышал, как Вика ходит по комнате, как шуршит ее платье, как ложится она в постель Марьи Ивановны. И почти сразу же слышалось ее сильное, ровное дыхание.

ВИКА

Следующий день был выходной. Женька, как условились, явился к Павлуне затемно с ящиком на плече и пешней в руке. Тихонько, чтобы не разбудить Марью

Ивановну, пробрался на ощупь в комнату к товарищу, ожидая увидеть его в полном рыбацком облачении. Открыл дверь и остолбенел.

Павлуня, положив ногу на ногу, сидел в кресле под лампой и читал книгу. Он был в белой рубашке, которую раньше никак не хотел надевать из-за узкого ворота. На шее висел галстук, а на плечах топорщился черный, хорошо вычищенный пиджак. Брюки, видно, только-только наглажены — они еще дымились. Сверкали начищенными носами туфли.

Но больше всего Женьку поразила Павлунина прическа. Обычно Алексеич таскал расческу для порядка и пользовался чаще растопыренной пятерней. Сейчас его светлые волосы были старательно прилизаны, а на лбу закручивалась русая подковка.

Женька поцокал языком:

— Прямо Есенин.

Отворилась дверь из комнаты Марьи Ивановны, и Женька вытаращил глаза: на пороге стояла лохматая, заспанная, но все равно красивая Вика-заправщица. На ней был старый халат Павлуниной матери, на ногах домашние туфли хозяина — теплые, мягкие, удобные.

— Пить охота черт-те как, — сказала она хриловатым голосом.

Павлуня вскочил, едва не упал, слетал в сенцы, притащил полную кружку воды, подал гостю. Вика пила, запрокинув голову, распустив по плечам золотые волосы, а парни смотрели.

— Хороша водица! — крикнула она и протянула кружку Павлуне: — Попробуй! (Тот замотал головой.) Ну и ладно! — Вика допила сама.

Она подошла к хозяину, крепко затянула ему узел на галстуке, вскинула пальцем подковку на лбу, хмыкнула и ушла досыпать, шлепая туфлями.

— Ого-го-го! — только и мог произнести речистый Женька.

Павлуня, подталкивая его к двери кружкой, выпроваживал, бормотал:

— Ты иди, иди...

— Нет уж, нет уж! — быстро отозвался Женька, а сам подумал, что будет последним идиотом, если до конца не выяснит, откуда, почему и зачем забрела к Павлуне чужая красивая жена.

Пятясь к выходу, он сказал торопливо:

— Я щас! Я мигом!

И выскочил в сенцы. Пробарабанили его суматошные шаги, хлопнула дверь во двор, стало тихо.

Павлуня сидел с нечитаной книгой в руках, смотрел мимо букв, терпеливо дожидался рассвета. За тонкой дощатой перегородкой дышали три носа: два — картошечкой, один — маленький, четкий, аккуратный, совсем не петровской породы.

Заглушая это ровное, дружное сопение, из комнаты Марьи Ивановны доносились и другие звуки: медное позванивание, равномерное постукивание, тихий рокот: это работали старинные, вышиной с крепостную башню часищи, которые мать приобрела где-то по дешевке. Марья Ивановна, женщина сама не маленькая, смотрела на рослый агрегат с большим удовольствием.

Рассвет еще не пополз по стенам крупноблочных коробок и по крышам добротных частных домов, едва засветились первые окна доярок, а Павлуня был уже во дворе. Он спешил до пробуждения гостей отгрести снег от крыльца, подмести дорожки, чтобы Вике понравилось.

Работая метлой, он улыбался, представив, как проснется красавица, выйдет на крыльцо с ясной улыбкой и словами привета.

Потом они вместе позавтракают, и он проводит гостей до автобуса. А может, уговорит Вику вернуться к Модесту, тогда Павлуня доведет все семейство до Хо-рошова.

Так размышлял Павлуня, шаркая метлой по двору.

Вот уже веселое солнце покатилося по крышам, забираясь все выше и выше, становясь из розового белым, подмороженным, а гости еще спали.

С граем пролетели галки. Прогудел по чугунному мосту девятичасовой поезд — окна в комнате Марьи Ивановны не оживали, напрасно Павлуня скрипел снегом, кашлял и даже раз рискнул запеть, но тут же испуганно оглянулся — не слышал ли кто.

Вика появилась на крыльце в десять. Опухшая, с помятым лицом, она недовольно спросила, какое нынче число.

Павлуня улыбнулся:

— Двенадцатое. А как дети? Спят?

Она ничего не ответила, думая о своем. На ней был

все тот же чужой халат, из-под которого на ладонь торчала ночная рубашка, а ниже белели голые ноги в Павлуниных теплых туфлях.

Но не лицо и не рубашку увидел восхищенный Алексеич, а золотые волосы, что вольно лились по плечам.

— Двенадцатое? — пробормотала она, зевая и крепко потягиваясь на крылечке. — Целый день еще... Посинеешь...

— Чего? — недоуменно спросил хозяин.

Не отвечая, она брезгливо разглядывала черный сад, пустой огород и самого Павлуню: он поверх модного костюма напялил телогрейку, а на свои расчесанные волосы надел шапку — одно ухо поднято, другое опущено, как у беспородного барбоса.

В калитку влетел взмокший Женька, на бегу крича:

— Привет, мадам! Как жизнь молодая?

Парень, видно, с трудом дождался рассвета. Он переоделся, сбросил все рыбацкое, и хоть пальто да шапка сидели на нем кое-как, зато духами от Женьки несло за версту.

Он подскочил к Вике, схватил ее по-свойски за руку, затряс:

— Как здоровье бесценное? Как печень?

— Все носишься, щеночек? — усмехнулась Вика, выдергивая руку.

На это Женька без запинки ответил:

— А ты все бегаешь? Модя, что ли, выгнал?

— Меня-а-а?!

Заправщица усмехнулась да так с гордой этой усмешкой и удалилась в дом.

Женька поднялся следом, обуреваемый горячим желанием вызнать все, до последней точки. Подумав, пошел к себе и Павлуня.

Вика сидела в комнате Марьи Ивановны, равнодушно грызла сухарь. Сашка с Алешкой, босоногие, в одних трусах, кувыркались на смятой постели, бросались подушками, визжали. Над люстрой летал пух, Павлуня покосился на близнецов, но ничего не сказал.

А Вика будто не слышала шума. Не обернулась она и на звон сбитого со стола графина.

Павлуня в ладонь собрал крупные осколки, мелкие

озабоченно смел веником в совок, а управившись, спросил всех:

— Чай пить будем?

Меньшие Петровы в один дружный голос ответили:

— Бу-удем!

— Сейчас! — Павлуня, как был в телогрейке и начищенных туфлях, так и побежал в магазин.

Когда он вошел туда, вся очередь сразу обернулась к нему, насторожилась.

— Здравствуйте, — сказал он женщинам, и те, никого без крика вперед не пускавшие, вдруг сделали для него исключение.

— Проходи, сосед! — пролепетала соседка Груня, никогда прежде не называвшая Пашку никак, кроме «длинный». — Проходи вперед, а то гости, поди, заждались.

И Павлуня подивился той быстроте, с какой бегут по селам новости. Виноват во всем, видно, Женькин язык.

Парень сунул продавщице деньги, начал перечислять тихим голосом при гробовом молчании женской очереди:

— Мне, это, кило конфет, халвы пачку... три пачки печенья... торт, тот вон, с грибками...

Выщелкивая на счетах лихую музыку, продавщица спросила, подмигнув:

— На сладенькое потянуло, Паша?

Он, посапывая, принимал товар, распахивая его по карманам. Только торт никуда не влезал — пришлось тащить его в руках, у всех на глазах.

Сказав очереди «спасибо», он поспешил к выходу. Его проводили долгими понимающими взглядами.

В своем доме Павлуня увидел такую картину: Женька, скинув пиджак и нацепив фартук Марьи Ивановны, шарил в кухонном столе, выгребая оттуда крупу, лук, хлеб и другие припасы. Сашка с Алешкой принимали их, складывали в кучу. Вика равнодушно смотрела издали, словно вся эта кутерьма ее не касалась. Она не спешила вылезать из затрапезного халата, не торопилась причесываться, озабоченная лишь одним:

— Сегодня, говоришь, двенадцатое?

— Двенадцатое, — кивнул Павлуня. Он поставил торт на стол, начал выкладывать из карманов сладо-

сти, которые тут же, из-под рук, стали хватать Сашка с Алешкой.

Вика будто опомнилась.

— Ну-ка! — звонко хлопнула она по рукам сперва Сашку, потом Алешку. — Не лапаты! Есть будем! — И обратилась к хозяину: — Манка где?

Павлуня вытащил банку. Красавица приказала:

— Вари!

Хозяин почесал затылок:

— Может, картошку лучше? Я умею.

Но гостья, не отвечая, встала опять у окна и замерла там, глядя на улицу.

Женька быстро сказал, дернув Павлуню за руку:

— Чего ждешь? Думаешь, она тебе сварит? Жди! Она дома ничего не делает! Все Модя, Пузырь несчастный!

Вика оглянулась на него.

— Верно, — лениво сказала она. — Прав малыш: он у меня мастер по кашам.

И снова застыла у окна, как примерзла.

Парни, хмыкая, перешептываясь, принялись каше-варить. Сперва они засыпали в молоко горсть крупы, потом, кратко посоветовавшись, бухнули в кастрюлю все, что осталось в банке. Помешивали кашу, чтобы не подгорела. А Вика глядела на белую пустынную улицу, морщилась, как от боли, и резко встряхивала роскошными волосами, словно отгоняла мрачные мысли.

Близнецы тоже занялись делом: они с воплями носились за кошкой. Она наконец взлетела на шкаф и горбилась там, шипя сверху, глядя на преследователей зелеными, раскаленными глазами.

Павлуня, жалея кошку, не заметил, как ложка стала тяжелеть в каше. Парни с испугом увидели, что варево вконец загустело, ложка больше не проворачивалась. В довершение ко всему, каши сделалось вдруг много, и она, как в сказке, полезла через край.

Вика посмотрела и спросила насмешливо:

— Ну, ударники, готово?

Сашка с Алешкой, увидев кашу, сморщили свои носы и объявили, что их дед варит не такую, а жидкую, а отец — и того жиже. Вика тоже добавила, что это «поросячье месиво» и Пашкин боров лопать не будет.

Павлуня вывалил варево в помойное ведро и посмотрел на гостью, в растерянности опустив руки.

— Ну, чего томишься? — усмехнулась Вика. — Тащи свою картошку!

— Есть хотим! — запищала Сашка.

Ей вторил Алешка:

— Хочи-им!

Ребятишки были сытые, как хомячки. Кричали они весело, норовя переорать друг дружку. Женька послушал, поглядел и вдруг вспомнил, что он не приготовил уроки к школе. Павлуня умоляюще посмотрел на товарища, но тот, пряча глаза, торопливо оделся и убежал.

— Тихо! — приказала Вика своим близнецам. — На улицу марш!

Радостно завизжали Сашка с Алешкой, и, схватив в охапку свои шубки да шапки, притащили их к матери.

— Сами не маленькие! — отмахнулась она.

Павлуня подумал, что одевают малышей, должно быть, тоже дед да отец, и опять пожалел Модеста, а вместе с ним немного и Ивана Петрова.

Сашка с Алешкой со своими шубками стояли теперь перед ним, глядели требовательно. Хозяин принялся одевать их, но дело не ладилось.

— Вот безрукий! — проворчала она и начала ловко управляться со всеми этими шубками, платками, валенками и шапками.

Сашка с Алешкой волчком крутились под огневymi руками матери, попискивая, как котята. В момент снарядив их, Вика сунула каждому по куску хлеба с маслом и выпихнула на свежий воздух. Покончив с этим делом, пояснила Павлуне:

— Я все могу, ты не думай! Только хочу моего дурня к делу приучить!

Павлуня про себя поздравил Модеста и с «дурнем».

Он хотел спросить, думает ли Вика одеваться в дорогу, но постеснялся. А гостя, по всему видно, никуда ни ехать, ни идти не торопилась. Скрестив на груди белые руки, она опять замерла у окна, простоволосая, неумытая. Павлуня слышал, как она еще раз пробормотала:

— Двенадцатое, говоришь? Ладно, подождем...

Хозяин принес картошку, вымыл ее, уселся чистить.

— Господи, чистильщик!

Она с досадой выхватила у парня нож, но сделала это так сердито, что порезалась.

— Мамочка! — красавица сунула палец в рот.

Павлуня засуетился: разыскал у матери аптечку, высыпал содержимое на стол. Содержимого было немного: пузырек йода да горчичники. Марья Ивановна сроду не болела, а если случалось ей простыть, то лечилась чаем с медом либо горячими щами. «Хорошо вспотеешь — хворь одолеешь!» — говаривала она, потея над тарелкой.

Не найдя бинта, Павлуня отыскал шелковый носовой платочек и принес его заправщице, страдальчески изломав брови.

— Крови боюсь, — на миг присмирела она и снова: — Масла давай! Так! Сковородку! Да нос к огню не суй — обваришь!

Павлуня неслышно отошел в сторону. Печально смотрел он на золотоволоску: «Хорошо, когда она молчит».

Скоро картошка была готова. Вика поставила ее на стол и велела хозяину позвать «голодающих».

Двор был истоптан, посреди него валялась бочка, но сами близнецы пропали. Вдруг раздались глухие удары, и тут же послышался раздраженный голос боровка.

Павлуня поспешил на шум. Сашка с Алешкой за сараем тешились тем, что лупили по стене лопатой, и веселились, когда боровок протестовал.

— Домой зовут, есть, — сказал Павлуня, отбирая у близнецов лопату.

Они понеслись с визгом. А хозяин, проходя мимо сада, увидел на коре старой яблони такие глубокие раны, что сердце его сжалось. Он понял, что Сашка с Алешкой били по стволу той же лопатой, и убрал, проклятую, подальше в сарай. Потом потрогал рукой дерево, покачивая головой и не торопясь в дом, куда веселыми медвежатами убежали близнецы. Подышав волей, побрел к себе.

Вика уже сидела за чаем. Сашка с Алешкой, расправившись с картошкой, грызли яблоки и пихали друг друга под столом ногами. По всему было ви-

дно, что это здоровые, резвые дети, с хорошим аппетитом. Глядя на них, Павлуня еще раз от всего сердца почувствовал и толстому Модесту и тощему Ивану.

— А ты чего же? — равнодушно спросила Вика, отодвигая чашку и отдуваясь. — Чай вон остался.

Павлуня засмутился:

— Ничего, я потом, после...

Не мог же он позволить себе жевать при даме!

— Ну, как знаешь.

Сытая Вика заняла свой пост у окна, голодный Павлуня вышел во двор. Он отыскал молоток, гвозди и, приставив лестницу, полез на крышу сарая. Здесь, высоко над миром, было тихо и морозно. Плыли облака. Сашка с Алешкой сидели в доме.

Павлуня стал деловито тюкать молотком по крыше. Занятый работой, он не заметил, как на улице появился Модест. Супруг шествовал по самой середине совхоза, а за ним следили десятки глаз.

Только услышав визг младших Петровых, Павлуня посмотрел вниз. Там Сашка с Алешкой валялись в сугробе, болтая ногами. А на крыльце такой королевой стояла Вика, что хозяин от восторга едва не загремел с крыши. Она была в шубке и шапочке, причесанная, умытая, с блестящими глазами.

— Ого, — промолвил парень, упуская молоток. Он с грохотом проехался по железу.

Красавица подняла глаза.

— А-а, вон он где! Ребята, лупи его!

— Лупи! — закричали близнецы. Урча от удовольствия, они стали хватать снежные комья да ледышки и бросать их в Павлуню.

Сама Вика тоже пустила в него снежком. При этом она так громко хохотала и так лукаво поглядывала, что парень, прикрываясь рукавицей, покраснел.

Модест, не взглянув, не повернув кудлатой головы, чинно проследовал мимо. Вика оборвала смех. Сощурилась, глядела вслед супругу.

— Крикнуть? — сочувственно спросил сверху Павлуня.

— Балда!

Она ушла в дом, сердито скрипя снегом.

Хозяин спустился с крыши. У калитки стоял Женька.

— Живой?

— Живой пока,— вздохнул Павлуня.— А вон Модест пошел...

Женька увидел непокрытую голову и без лишних слов кинулся за Модестом. Павлуня, помедлив, побрел следом.

Когда он подоспел, Женька и Модест стояли друг против друга, сунув руки в карманы и набычившись.

— Когда своих заберешь? — требовательно спрашивал Женька.

А Модест, тряхнув баками, твердо отвечал:

— Никогда!

— Во как! А куда ж Пашка их денет?

— А куда хочет! Хватит! Замучила! Я ведь тоже. Человек!

Услыхав знакомую, крупно рубленную речь, Павлуня внимательно посмотрел на супруга. Тот осунулся, почернел, бакенбарды его измочалились.

— Ничего,— сказал Алексеич Модесту.— Все как-нибудь... Бывает всякое...

Модест пошел прочь.

Женька хотел что-то крикнуть вслед ему и открыл уже рот, но Павлуня увидел соседку Груню, как на крыльях летевшую к ним.

— Не надо! Пойдем! — сказал он Женьке быстро, как только мог. И зашагал первый, не оборачиваясь.

Женька, возмущенно бормоча что-то, припустился за ним. Горячо стал он убеждать товарища «выгнать эту выдру обратно к Моде», а Павлуня молчал, смотрел под ноги и размышлял длинно: «Выгнать... Как это? Кошку не выгонишь, собаку жалко, а тут — человек...»

— Нет! — сказал он с твердостью.— Я ее не обижу.

Вытаращив глаза, Женька врасстяжку простонал:

— Ой, мама! Держите меня! Он в нее влопался! Павлуня пожал плечами.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Поздно вечером Павлуня отправился в поход. Он прошагал мимо клуба и музыкальной школы, миновал последние дома, ступил на поле. Пробороздив его напрямиком, вошел в совхозную теплицу.

На поле лежал снег, свистел над ним ветер, а в теплице было тихо, по-весеннему пахло распаренной землей и травой.

Тень ворохнулась в углу.

— Кто?

— Я,— ответил Павлуня.— Мне бы, дядя Силантий, гвоздичек. Парочку.

— А троечку тебе не надобно?— Сторож, вытягивая шею, приблизился шагов на пять.— Это ты, Пашка?— признал он.— Зачем тебе и вдруг цветы?

— Нужно,— сказал парень, оглядывая теплицу.— Мне бы белую и красную.

— Иди завтра в бухгалтерию, выписывай счет, плати деньги, как все люди...— начал было сторож скрипуче.

Но Павлуня с укором перебил его:

— Завтра поздно будет! Завтра я выпишу, а цветы сейчас, а?

Дед почесал затылок.

— Дата, что ли?

Павлуня кивнул. Сторож, кряхтя, доверил ему ружьецо, велел стоять тут и никого не пускать, а сам направился куда-то в угол теплицы, в заросли. Вернулся оттуда не скоро, торжественно протянул четыре гвоздички — две белые и две красные. Сам стоял в сторонке, любуясь цветами и Павлуниной радостью.

— Давай, что ли, в газетку заверну, чтоб не замерзли.

Дед старательно закутал тонкие, но такие живые, упругие стебли. Потом Павлуня долго упрятывал цветы под ватник, к самому животу, а упрятав, сказал с чувством:

— Спасибо, дядя Силантий!

Дома он прокрался в комнату матери, где безмятежно спали гости, и поставил цветы на стол, в вазочку. Улыбаясь, лежал в темноте, дожидаясь утра.

Утром, едва успел парень натянуть брюки и рубашку, как к нему вошла, шлепая туфлями, Вика, встав-

шая сегодня необыкновенно рано. Лохматая, в потрепанном халате, она была похожа на молодую красивую ведьму с гвоздиками в руках.

Нюхая цветы, спросила:

— Ты?

Павлуня смущенно кивнул и покраснелся:

— С днем рождения тебя.

— Да-а? Как узнал?

— Сама ты ведь... Число все спрашивала... Тринадцатое сегодня...

Лицо ее мгновенно преобразилось — стало резким, глаза блеснули, сжались губы.

— Трина-адцатое,— протянула она.— Ну, миленок, погоди...

Вика приказала Павлуне «чертом лететь за водой».

— На работу мне,— виновато сказал он.

На это гостя пренебрежительно ответила:

— Обойдешься.

Пока хозяин бегал за водой, пока искал Вике тряпку да мыло, часовая башня в комнате Марьи Ивановны отбухивала свои полновесные минуты. И как ни спешил потом Павлуня, все равно у мастерской он появился позже всех. Женька метнулся к нему:

— Ну как твоя мадам? Не сбежала?

— Да нет...

Павлуня вдруг беспокойно завертел головой:

— А Модест, Модест где?

— Там он,— указал рукавицей Женька.— В мастерской, на ремонте.

Павлуня поспешил в мастерскую. Там, на яме, застыли трактора, неторопливо копошились люди в черных халатах. У крайней машины сосредоточенно работали Модест, Боря Байбара и Саныч. Станный вид имел этот трактор без гусениц и кабины. Двигатель его стоял отдельно на стенде, поблескивая смазкой.

Модест оглянулся.

— Пришел,— смущенно пролепетал Павлуня.

Модест молчком полез в смотровую яму, под свой трактор.

Напрасно Алексеич, присев на корточки, силился увидеть между катками его лицо.

— Поезжай на склад — гусеницы привезли! — отдал приказ новый звеньевой.

— Нажили начальство на свою голову! — сказал Женька, а Боря подмигнул.

— Ладно, поехал я, — легко вздохнул Павлуня и, прихватив с собой Женьку, отправился выполнять приказ.

И весь день работалось ему здорово. Несколько раз забегал бригадир, спрашивал, как настроение у нового звена да как идут дела. Это было приятно. Заглянул «сам» и, не разглядев маленького Модеста в яме, кинулся шуметь на всю гулкую мастерскую, а когда звеньевой выглянул — смущенно притих и ушел. Женька смеялся, остальные — нет.

День прошел славно, и вечер нагрянул неожиданно. Ребята, сполоснув руки и скинув робы, выходили на улицу без слов.

Женька был очень доволен: они немало поколесили с Павлуней с утра — съездили на склад, в хранилище, еще в два-три места. Раньше Павлуня давал ему «покрутить» руль только на ровной, пустынной дороге, на малое время и без тележки. А сегодня Женька накрутился так, что чувствовал, как потяжелели мускулы на руках и приятно побаливали. Принимал он и самое деятельное участие в ремонте — тут больше помогал языком, чем руками.

У клуба разошлись. Павлуня с Женькой остались вдвоем. Они настороженно посматривали на окна Павлуниного дома — в них горел свет.

— Тут! — сплюнул Женька. — А ну, поглядим! — И он зашагал с видом самым решительным.

Вика сидела за столом, складно одетая, лихо подкрашенная, очень красивая и злая. Стол был накрыт той самой снежной скатертью с цветами по краям, которую Пашкина мать берегла пуще кошелька и на которую всегда сверху стелила пленку, чтобы не замарать. Теперь же прямо на скатерти, на нетронutom снегу, красовались закуски и вина. Поблескивали тонкие рюмки — гордость Марьи Ивановны. Она дрожала над ними мелкой дрожью и никогда на стол не ставила. Распластанная банка бычков в томате успела наследить, и Павлуня хмуро смотрел на желтые лужи.

Женька ничего не замечал, кроме торта, который возвышался посреди стола.

Нацеливаясь пальцем, он быстро спросил:

— Вкуснотища небось?

— Убери грязные лапы! — отрезала Вика. — Не время!

— Какие же они грязные? — обиделся он. — Солярой пахнут! Не по тебе аромат, мадам заправщица?

— Пошел к черту! — отвечала она, становясь у занавески.

Вдруг Вика встрепенулась и бросилась к столу, поднимая ветер платьем:

— Мужики, садись! Идет!

— Нет уж, — отвечал злопамятный Женька. — У нас руки грязные.

А Павлуня ничего не сказал — он смотрел на дверь.

Что-то долго осиливает Модест четыре ступени, что-то медленно вытирает он ноги. Наконец вроде бы стукнуло в сенцах.

— Входи! — Вика подмигнула парням: — Сейчас я ему, милому, дорогом...

Глаза у нее заблестели, Вика стала похожа на большую кошку, только с крашеными когтями.

— Входи, мы не кусаемся! — еще раз весело крикнула она и закусила губу в нетерпении.

Женька подбежал к двери, распахнул ее — вошла кошка.

— Эй! — крикнул Женька в сенцы, ему ответила пустота.

Он бросился к окну и успел разглядеть под фонарем непокрытые кудри Модеста. Супруг медленно удалялся.

Женька сказал с большим ехидством:

— Нету принца. Зря готовилась, графиня!

Вика сквозь зубы пробормотала:

— Какая скотина!

Букву «с» она выговаривала долго, со свистом.

Парни укрылись от греха в Павлуниной комнате. Сидели, тихо пересмеиваясь: слушали, как за подрагивающей перегородкой ходит и ходит Вика. Часищи в комнате Марьи Ивановны давно пробили десять, а она маялась, как пантера в клетке.

Вот как будто утихла. Женька просунул голову в дверь и замер: Модест пришел!

Он стоял теперь перед женой, комкал рукавицы.

Непокрытая голова была в снегу — за окнами начинала вертеть свою карусель метелица.

Женька притворил дверь, но разговор все равно был слышен хорошо. Тонкая перегородка пропускала каждое слово, малый вздох.

— Вот пришел... — сказал Модест. — Прости уж. Не могу я. Без тебя...

Совестливый Павлуня хотел отойти подальше от стенки, но не успел, огорошенный неожиданными словами красавицы.

— Поздно, мил дружок, — медленно выговорила она. — Поздно прилетел, голубь сизый. Замуж я собралась.

— Што? — выдохнул Модест и засмеялся. Однако смех его тут же прервался. — Да за кого?!

И Вика невозмутимо ответила:

— За Пашку Алексеича.

— Чушь какая... Пашка, и вдруг жених...

— А чем он хуже тебя, — устало сказала красавица. — По крайней мере, человек тихий...

Женька уставился на Павлуню, тот рот раскрыл от удивления. За стеной молчали. Скажи Вика свои слова громко, с визгом — не поверил бы Модест, но она произнесла их так деловито и скучно, как будто дело было давно решенное и обжалованию не подлежало.

— Мне поговорить бы... с ним... — выдавил Модест откуда-то из живота.

Павлуня, пошатываясь, направился к двери.

— Не ходи! Он не в себе! — хотел удержать его Женька, но Алексеич вырвал руку и появился перед супругами.

— Ты?! — спросил Модест и больше ничего не мог выговорить.

Павлуня взглянул на Вику. Она показалась ему такой печальной, что сердце у парня сжалось. Он вздохнул, опустив голову.

— Точно, — сник Модест. — Ай да тихоня!

Супруг вскинул голову, пытаясь заглянуть ей в глаза — они были сухие и злые.

— Детишек бы поглядеть... — попросил он.

— Спят! — резко ответила Вика. — Уходи!

Он послушал ровное дыхание Сашки с Алешкой и вышел, волоча ноги.

Женька тут же набросился на товарища:

— Чего ты молчал, как мумия?!

Павлуня осторожно взглянул на Вику: она улыбалась, отомстив сполна.

Побледнев еще больше, он сделал к ней такой шаг, каким идут на виселицу, и сказал умирающим голосом:

— Куда же ты теперь, а? (Она пожала плечами.) Если надо — оставайся. Насовсем. Поженимся, если хочешь. Я маленьких не обижу.

Он замолчал, собирая растрепанные мысли, облиывая языком сразу пересохшие губы. Женька тяжело дышал.

— Ой! — взвизгнула красавица и залилась хохотом. — Поженимся! — с трудом выговорила она. — С тобой! Ой, сдохну! Ой, Пашка, черт носастый, уморил!

Пошатываясь, добрела до постели и упала на нее, плечи ее дергались от смеха.

Павлуня рассудительно сказал:

— А смеяться-то зачем? Я как лучше хотел... Помочь хотел...

— Что с ней говорить! — раздул яростные ноздри Женька. — Она же глупая, как соска! Ничего не поняла! — Он повернулся к Вике, заорал на нее: — Убирайся к своему Пузырю! По ветерку! Красотка бензиновая!

СПАСЕНИЕ

Накинув пальто и нахлобучив шапку, Женька бросился вдогонку за Модестом. Вика, все еще улыбаясь и покачивая причесанной головой, сказала Павлуне:

— Ладно... беги-ка за своей Варварой, запрягай клячу, вези меня к моему дураку. А то возьму да и выскочу за тебя замуж — что мне стоит! Ради смеха! — Красавица опять захохотала, опрокидываясь на подушки. Этим вольным хохотом она очень напоминала Марью Ивановну. Передохнув, уже сердито приказала: — Ну, чего встал! Давай клячу!

Павлуня, ясно глядя, ответил:

— Нельзя. У нее маленький будет.

Эти слова почему-то опять насмешили красавицу.

— Ну и черт с тобой! — вспомнила она своего любимого черта.

Она растолкала близнецов, стала напяливать на них, скулящих, шубки и валенки, приговаривая при этом:

— Разоспались, Модестовы дети! Не разбудишь! Все в папашу!

Не сказав ни «прощай», ни «до свидания», она выбралась на улицу, таща за собой сонных ребятишек.

Павлуня вышел на крыльцо проводить гостью.

У клуба Вику встретила ее сестра Наталья и увела, непутевую, к себе.

Парень постоял возле своего дома, посмотрел у фонаря, как снег оживает, поднимается, течет, потом покрепче притворил дверь сарая, закрыл калитку, обошел двор, сенцы, большой пустой дом, наводя везде кое-какой порядок и удивляясь тому, как это ухитрились двое маленьких ребят за два дня перевернуть все вверх дном.

Скоро в доме стало привычно. Стулья нашли свои места, тарелки из-под кровати переключали на кухонную полку. Только Павлуня собрался напиться в тишине чаю с вареньем, как закричала калитка, забухали шаги в сенцах, и в дверях возник Модест. Позади маячил Женька. Пальто у Модеста нараспашку, волосы стояли дыбом, баки дымились.

— Где? — ошалело спросил он, рыская глазами по комнате.

— Ушла, — сказал хозяин.

Отмахнув Женьку в сторону, Модест выбежал прочь.

— Куда он? — удивился Павлуня.

— В Хорошово кинулся — милку догонять, — ответил Женька.

Павлуня пожал плечами:

— Чего догонять-то. Рядом она, у Натальи.

— Вот так квас, — озабоченно сказал Женька. — Куда ж он теперь метнется с дурных глаз? Пойти остановить.

Пока хозяин одевался, он уже успел до клуба и обратно. Когда появился хорошо засупоненный Павлуня, Женька был уже по маковку в снегу.

— Не видать! — крикнул он, отплевываясь от метели.

Тут мимо парней, всхрапывая, пронеслась Варвара. На ней сидел Модест, наддавая ее каблуками

под живот. Женька бросился наперерез, но только испугал Варвару — та шарахнулась от него в сторону, скрылась в белом крошечке.

Женька посмотрел на Павлуню:

— Что же будет? Она ведь стельная! — и широко развел руки колесом.

Павлуня машинально поправил его:

— Жеребая, — и махнул рукой: — Пошли!

Навстречу им из метели вывернулся человек с узлом на плече.

— Привет, Паня! — сказал он веселым голосом механика. — А я тебе шубу ташу. И валенки.

Парни остановились. Видно, механик давно уже тащил шубу: он был белый, как дед-мороз. Верно, не первый час отдыхал он у дома Татьяны: снег возле ее калитки был хорошо истоптан.

Задержаться бы Павлуне, сказать механику суровое слово, чтобы не шлялся под чужими окнами, да некогда: из темноты вроде бы послышалось дальнейшее ржание. Павлуня с Женькой побрели на голос, проваливаясь в снег.

Механик схватил Женьку за руку:

— Далеко вы?

Тот выдернулся, крикнув на ходу:

— Спасаты!

Механик, перебросив узел через низкий Татьянин заборчик, поспешил за ними.

Втроем они молча прошли высокие дома центральной усадьбы, миновали фонари, скрылись в ночи, в слепой метели. Лошадиные копытца быстро наполнялись снегом до краев, пропадали. Парни часто наклонялись, чтобы найти их. Закрываясь рукавицами, они по прямой просекли гудящее поле, и неясные следы привели их в Хорошовский лес. Здесь стало тише, но зато еще темней.

— Разве тут найдешь кого, — оглянулся механик на парней.

Темнота и впрямь показалась сначала неодолимой, но стоило парням приглядеться, как выдвинулись навстречу им елки, бледно засветились березы.

Павлуня, запасливый человек, вытащил карманный фонарик. Узкий луч запрыгал по стволам, по снегу и нашел возле елки следы, почти не тронутые.

Они побрели по следам, теряя их на продутых плес-

шинах и снова отыскивая в тихих кустах, у старых пней. Останавливались, всматривались в колючую тьму, мигали фонариком. Хором кричали: «Ого-го-го!»

Громче всех шумел механик. Голос у него был здоровый, молодой. Казалось, что механик радуется неожиданному ночному приключению.

Откликнулся Модест неожиданно скоро. «Э-э-э!» — раздалось из чащи, и навстречу им вышел сам Петров, весь запорошенный.

— Нашли? — хрипло спросил он.

— Нашли, пропади ты пропадом! — прошептал Женька.

— Где?!

— Чай пьют, у Натальи, — сказал Павлуня, задыхаясь.

Модест закрыл лицо ладонями, тяжело опустился в снег.

— Лошадь где? — просипел Женька.

— Там.

И парни услышали тихий хрип.

Женька первым подбежал к большой куче хвороста, наклонился и увидел, что это не хворост, а лошадь. Она лежала на боку, не двигалась. Павлуня осветил ее острым лучом — блеснули оскаленные зубы.

— Загнал я кобылу вашу, — опустошенно проговорил Модест, не вставая на ноги.

Павлуня, сунув Женьке фонарик, присел, втащил себе на колени тяжелую лошадиную голову, пробормотал, поглаживая жесткую гриву:

— Ну, как же ты? А?

В груди у Варвары что-то забулькало, бока ее начали раздуваться и опадать. Лошадка хотела подняться — ничего не вышло, и она пожаловалась Павлуне тоненьким ржанием.

Эта жалоба подбросила Женьку. Высоко над лесом поднялся его петушиный крик:

— Из-за бабы такую Варвару сгубил! Пузырь с бакенбардами!

Никто не успел опомниться, как он, подскочив, ткнул застывшим кулаком куда-то в темное лицо Модеста. Тот откачнулся.

Механик крепко обнял Женьку:

— Ну-ну-ну!

— Пашка, Пашка, а как же ее детеныш?

Павлуня поднял голову:

— Беги! Скорей! Зови народ!

Женька бросился было, но механик сказал растерянно:

— Погоди, а он?

Женька оглянулся: Модест сидел в той же позе, привалившись спиной к дереву.

— Ему не к спеху— не родить! — зашипел он, торопясь сбежать от жалобного голоса лошадки.

Когда он пробился к огням совхоза, метель почти утихла. Снег на полях перестал дышать, с дороги унеслись белые космы, оставив на поворотах свежие горы. Прорезалась луна, заиграли звезды.

Женька опомнился, очутившись перед собственным домом. Из последних сил застучал каменным кулаком в калитку. И когда послышались материнские шаги, в изнеможении опустился на заснеженную скамейку.

Пока Настасья Петровна бегала запрягать коня, пока искала мужиков, Женька расслабился, вытянул ноги — отдыхал. Мать подъехала на санях, на которых сидели еще два скотника. Спросила:

— Останешься?

— Поеду. Там наши.

«Наших» встретили в поле. Механик с Павлуней, закинув Модестовы руки себе на плечи, вели обессиленного супруга.

— Скорей! — сказал, задыхаясь, Павлуня. — Плохо Варваре!

Женька соскочил с саней к парням, махнул матери:

— Поезжай!

Они довели Модеста до дома Натальи и сдали его, ослабевшего и бессловесного, красавице Вике.

— Ну, и я подался, — сказал механик. — Спасибо за компанию.

У дома Татьяны он выволок из-за низенького заборчика занесенный снегом узел и, передавая его Павлуне, проговорил:

— Мерси за шубу! До свидания.

— Прощай! — ответил Павлуня.

Они с Женькой дождались, пока механик уехал, и, проведив взглядом автобус, побрели за дома, где на белом снегу глубоко прорезались следы полозьев.

Через час, а может, через два по дороге из лесу за скрипели сани. На них везли Варвару.

— Живая?

— Плохая,— сказала Настасья Петровна, шагая рядом с саями вместе с людьми.— Детеныша скинула. Мертвого.

Павлуня тоже пошел с Женькой и Лешачихой. Он касался ладонью головы лошадки, слушал ее утомленное дыхание и думал о том, как объяснить Трофиму такое горе.

НАГОВОР

Утром Модест не вышел на работу.

— Заболел, а может, совесть загрызла,— предположил Саныч.

— Вику проклятую караулит, поди! — яростным шепотом возразил ему Женька и сплюнул.

Павлуня не принимал участия в разговорах, он отрезанно бродил в отдалении.

Было тихо. К утру подошла оттепель, и тракторные тележки вдруг крепко запахли болотом.

Неожиданно у мастерской появился сторож из конюшни. Разглядев среди механизаторов Павлуню, он закричал, потрясая кнутовищем:

— Пашка! Сукин ты сын! Кто тебе велел кобылку брать? Ты жеребенка сгубил, идол длинный!

— Что ты, дед! — вступился было Женька.— Это Пузырь отмочил!

Однако никто его не услышал: Женька после вчерашнего сипел. А сторож, грозясь кнутовищем, подступал ближе к Павлуне, напирал, лез тощей грудью:

— Зачем брал, а?! Объясни народу!

— А ты зачем спал? — рассердился Женька и обернулся к товарищу: — Чего молчишь? Не могу я за тебя надрываться: видишь — дудка сломалась. Сам валяй!

Павлуня молчал в недоумении, зато сторож, совсем осмелев, громко на все стороны объяснял механизаторам, столпившимся вокруг:

— Только отошел на минутку, а он, видать, и пробрался! Прихожу — нет лошадки! А этот длинный, говорят, за своей кралей поехал, которая у него жила!

— А ты видел? — еле выдохнул Женька.

Сторож ответил:

— Люди говорят, а люди знают! — Он опять ткнул кнутовищем в сторону мирно стоящего Павлуни. — А на вид-то тихий! А в душе разбойник! Весь в Марью свою Ивановну! Одна порода!

Механизаторы недоверчиво посматривали на сторожа и с удивлением — на Павлуню. А когда Женька из последних сил решил еще раз крикнуть про Модеста и уже натянул жилы на шее, Иван Петров, вдруг осердясь, стал шибко вылезать из собственной телогрейки:

— Не допускать его до работы! Пусть объяснительную пишет! Директору! Лично!

— Так! — топал валенком сторож.

Женька издали повертел пальцем у виска, не в силах ничего больше сказать. Павлуня, побледнев, проворчал:

— Не виноватый я... Верно... — И при этом так суетливо топтался и мигал, что механизаторы поглядели на него с большим сомнением.

И совсем не к месту раздался змеинный Женькин шип:

— Тогда и меня гоните!

— Из тебя работник! — забегал встревоженными глазками Иван Петров. — Только под галошами путаешься!

Вчера бы на эти обидные слова горячий Женька ответил великим воплем, а сегодня он только мудро, по-взрослому усмехнулся и сказал Павлуне:

— Айда в контору!

У комсорга не было личного кабинета — ему отвели место в парткоме. В его углу висели по стенкам грамоты, а на столе стояли кубки. Парни обрадовались, застав комсорга у стола, правда, одетого, готового, видно, к бегам. Тут же возвышался Аверин.

— Что случилось? — спросил Боря Байбара.

Безголосый Женька заехал Павлуне локтем под ребро. Тот, икнув, сказал:

— Не верят они...

— Кто не верит?

— Люди...

— Да говори ты толком!

Аверин, взглянув на часы, кратко сказал:

— Ладно! Поехали! В пути потолкуем!

Павлуня с Женькой, переглянувшись, вышли на

улицу и остановились в нерешительности у черной легковой машины.

Василий Сергеевич сказал:

— Поехали с нами к Трофиму!

Смелый Женька первым нырнул в теплую легковушку, уселся в своем ватнике на заднее сиденье, на ковер. Шофер покосился на него в зеркальце, но ничего не сказал. Вместе с ребятами сел Боря Байбара, а Василий Сергеевич втиснулся рядом с водителем.

— Трогай!

Машина рванулась, мягко понеслась, чуть покачиваясь. Аверин повернулся к парням, устроился поудобнее и спросил:

— Ну, в чем там у вас дело?

Женька опять пихнул Павлуню. Тот набрал полную грудь воздуха, передохнул и начал обдумывать самую важную, авангардную фразу. С начальством нужно было толковать неторопливо, с достоинством, и Павлуня начал так:

— Дело было в субботу, одиннадцатого числа... Я шел и увидел на автобусной остановке Вику с ее ребятами...

Он посмотрел на Женьку, тот кивнул: так.

И парень повел свой просторный рассказ с самого-самого начала, не упуская мелочей.

Василий Сергеевич и Боря Байбара слушали чутко, не торопили — благо до Москвы было целых два часа пути.

Когда легковушка вырвалась наконец из толчеи на быструю кольцевую дорогу и понеслась, шурша шинами, и ветер стал лихо посвистывать навстречу, Павлуня на медленной телеге наконец-то подкултыхал к краю своего повествования:

— ...Мы подбежали и увидели Модю, без шапки и белого...

«Точно», — кивал Женька. Павлунин рассказ ему понравился, правда, не хватало в нем ярких, сочных красок.

С кольцевой трассы свернули они в тесные улочки старой Москвы, и тут Павлуня закончил совсем!

— ...Подошел Иван и увидел меня, и велел писать объяснительную, а писать мне нечего — я не виноват совсем.

Павлуня замолчал, кротко глядя перед собой.

Василий Сергеевич обратился к комсоргу:

— Что скажешь, комсомол?

Боря засверкал черными глазами:

— Не виноват Пашка! Это точно, не виноват! Ручаюсь! А вот кто лошадь проспал — разобраться нужно!

Василий Сергеевич мрачно пообещал:

— Я разберусь — перья полетят! И, если тут Пузырь замешан — задавлю! Хватит мне с ним носиться!

— Жалко Варвару, — перевел разговор Боря Байбара. — И что Трофиму скажем?..

— Не до нее теперь Трофиму, — пробормотал Аверин и отвернулся.

ЗАВЕЩАНИЕ

Машина остановилась возле старинного желтого особняка, окруженного чугунной оградой. За ней видны деревья, дорожки, скамейки. По дорожкам прогуливались люди в теплых халатах и теплых тапочках.

Женька прочел вслух:

— «Клиника», — и поскущел: не выносил парень белого больничного цвета и острого больничного запаха.

В просторной приёмной, куда они вошли, этого цвета и запаха было хоть отбавляй. Белый потолок глядел на белые стены, мелькали белые халаты, у белого телефона сидела белоснежная женщина и возмущенно смотрела на ватники механизаторов. Перед нею на столе, в стакане, кровятели три гвоздички, притягивали взор.

— Снять немедленно! — приказала она парням.

Павлуня с Женькой, скинув телогрейки, повесили их подальше от прочих шуб и шинелей.

Последовал новый приказ:

— Ноги!

Оробевшие парни выполнили его с тщательностью и только после этого получили наглаженные халаты, а ноги, в носках, сунули в старые больничные тапочки. В такой же наряд оделись Василий Сергеевич и Боря Байбара. Зашлепали, скользя по плитам, к столу. Женщина спросила фамилию больного и сказала:

— Подождите, у него посетитель.

Они встали к окну и скучали возле него долго, по-

ка за их спиной не послышался знакомый голос Марьи Ивановны:

— Такие блинчики не ест! А на одних компотах долго ли протянешь?

Совхозные оглянулись. Павлунина мать с большой хозяйственной сумкой, набитой по самую завязку, медленно брела от приемного стола к раздевалке, ничего вокруг себя не замечая и удрученно покачивая головой.

— Ой! — Женька нацелился было за ней.

Но Василий Сергеевич осадил его железной рукой:

— Стоп!

Марья Ивановна надела свое длинное, немодное пальто, вышла. Женька помахал ей в окошко — не заметила.

Они прошли в длинный коридор, у стен которого стояли пальмы в кадках, а под пальмами — кресла и холодные кожаные диванчики. На них сидели больные и посетители.

Совхозные тоже выбрали себе местечко возле окна, уселись, глядя в ожидании на широкую лестницу, покрытую дорожкой. Вот на лестнице появился человек в синем больничном халате. Он был тощий, бледный, с клочками седых волос на висках, на одной ноге — большой шлепанец, другая постукивала по полу.

Совхозные поднялись ему навстречу.

Человек, улыбаясь, приближался.

— Здравствуйте, Трофим Иванович, — сказал Аверин.

Женька при виде такого Трофима скривился от жалости, Павлуня не показал испуга, поздоровался. Рука у больного осталась такой же крепкой, как раньше, только была холодной и сухой.

Трофим сказал:

— Как же я вам рад, мужики! Тошно без дела! Ну, выкладывайте новости.

Голос у него был такой же широкий, как и раньше, и Женька недоумевал, как этот большой голосище помещается в костистой, узкой груди.

— Сперва харчи, разговоры потом, — весело сказал Василий Сергеевич, вытаскивая из сумки апельсины, яблоки да компоты. — Это — от дирекции.

— А это — от комсомола! — Боря Байбара раскрыл

портфель и тоже принялся вытягивать из него яблоки и апельсины.

Женька с Павлуней переглянулись. У одного в карманах водились только семечки да хлебные крошки, у другого там плакала горькая пустота.

— Жареные,— сказал Павлуня. Стесняясь и краснея, он выгреб из кармана семечки и высыпал их на газету.

Трофим, казалось, обрадовался подарку.

— Спасибо,— улыбался он, пересыпая семечки с ладони на ладонь.— Наши?

— Наши,— осторожно ответил Павлуня.— Климовские.

Боря Байбара незаметно подпихнул его под бок. Павлуня испуганно замолчал.

— Ну, рассказывайте! — снова потребовал больной.

Боря Байбара выложил районные новости, временный директор поведал про совхозные дела, нажимая на хорошие и забывая плохие. Трофим слушал внимательно, не перебивал и все пересыпал семечки в ладонях.

Потом спросил, как строится комплекс, как с техникой и материалами. Василий Сергеевич отвечал обстоятельно, парни дополняли.

Через полчаса Трофим устал, глаза его провалились.

Совхозные поднялись.

— Ну, до другого раза! — протянул широкую ладонь Василий Сергеевич. Помолчал и очень тихо попросил: — Простите, а, Трофим Иваныч!

— Чего там! — больной пожал ему руку, потом попрощался с комсоргом и сказал обоим: — Вы, братцы, погуляйте, а мы тут еще малость потолкуем, лады?..

Трофим ласково смотрел на парней.

— Ну, как живете-можете? — и, не дав ребятам ответить, вдруг наклонился к Женьке, положил, как маленькому, ладонь на голову, пригладил волосы — Женька сжался. Трофим убрал ладонь, а паренек все сидел не шевелясь.

— Помните, убегал я тогда? — неожиданно спросил он.

— Еще бы! — кивнул Трофим, оживляясь. — И топиться собирался.

Женька выпрямился, залепетал торопливо:

— Во-во! Помните? Я никому!.. Только Саныч знал! И вам теперь скажу! В дворники я хотел! Говорят, их в Москве днем с огнем ищут! Работенка — не бей лежачего, опять же столица!

Женька выпалил все. Трофим смотрел с удивлением, мотал головой, усмехался. Потом стал серьезен.

— Ну, а дальше-то, а? Дальше что думаешь делать?

— Думаю...

Трофим вздохнул:

— Долго думаешь. Так и жизнь пролетит — не заметишь.

— Не пролетит! — с такой бесшабашной уверенностью ответил Женька, что больной невольно улыбнулся, а потом стал еще мрачнее.

Увидев такую перемену, Женька быстро пообещал:

— Я на трактор сяду! Хотите?

— Хочу, чтобы ты человеком стал, — грустно сказал Трофим. — Держись поближе к хорошим людям. С Алексеичем дружи — он не подведет.

— Да я и так уж, — обрадовался Женька.

А Трофим ясно посмотрел в Пашкины глаза:

— Ты-то как живешь, Алексеич? Давно я тебя не видел. — Он прищурился, чуть отодвинулся. — Изменился ты, возмужал. — Помолчал и совсем тихо, как будто смущенно, продолжал: — Мы тут с одной дамой часто насчет тебя очень спорим.

— С этой дамой поспоришь! — не утерпел Женька и зажал ладонью неумный свой рот.

Трофим посмотрел на него:

— Да, с ней трудно. Много мы ругались и так ни до чего путного не доругались.

Павлуня подумал, сказал от души:

— Жалко!

— Ну, теперь все равно, — рассеянно проговорил Трофим и надолго замолчал, глядя в сторону.

Потом спросил:

— Кошка моя цела?

— Живая, — ответил Павлуня, краснея и томясь, опасаясь следующего вопроса, о Варваре.

Женька, поняв его испуг, таким азартным шепотом бросился расписывать кошкин аппетит, что Алексеич не знал, куда прятать глаза.

— Да ладно тебе,— остановил он товарища.

Трофим тоже сказал:

— Ладно. Шут с ней, с кошкой. Вы меня порадовали, пришли... Спасибо...

— Чего там,— ответил Женька.— Мы побегли?

— Погодите-ка,— остановил его больной.

Он пошел вверх по лестнице, а парни с грустью смотрели, как болтается на нем просторный халат.

Вернулся Трофим не скоро. Волосы пригладил и успел даже побриться.

— Вот тебе, Женька, мой подарок.— Трофим протянул массивный, видимо, самодельный нож, складной, с колечком, на цепочке.

— Да не-е! Не нужно! Что вы!

— Бери, бери! Мне ни к чему. Этот ножичек со мной на фронте был. Бери и помни Трофима.

— И зачем это,— невнятно пробормотал ловкий на язык Женька, засовывая нож в карман.

— А это тебе, Алексеич.— Старый солдат подал Павлуне сложенный вчетверо листок.— Мое завещание. Не гляди пока. После.

— Да я...— сказал Павлуня, убирая листок.

Больной пожал им руки.

— До свидания, люди. Живите долго. Хорошо живите. Землю родную не забывайте. Ну, и Трофима вспоминайте иногда, ладно?

— Да что вы!— сказал Женька, стараясь поменьше хрипеть и глядеть повеселей.— Вы еще поправитесь!

Больной усмехнулся:

— Это точно. Топайте!

Парни повернулись, пошли к выходу, чувствуя, что он смотрит им вслед. От этого взгляда Павлуня едва не упал, зацепившись за порог. У двери оглянулся: Трофим стоял на прежнем месте. Павлуня с Женькой помахали ему руками, Трофим махнул им в ответ.

— Ну? — спросил их во дворе Аверин.

Приятели, не ответив, обежали взглядом скамейки и дорожки: Марья Ивановны нигде не было. Они переглянулись и полезли в машину.

Когда в молчании они отмахали уже километров тридцать от клиники, Женька пихнул Павлуню в бок:

— Покажи!

Алексей развернул листок. Женька, наваливаясь на его плечо, прочитал вслух:

— «Рекомендация...»

Удивленно уставился на товарища: «Oго!» Потом забегал быстрыми глазками по бумаге.

— Дай-ка! — Боря Байбара внимательно прочитал рекомендацию и сказал: — А что? Все правильно написано. Хоть сейчас тебя принимай в партию. И примем, вот погоди малость.

— Да не-е! — испугался Павлуня. — Куда мне!

Василий Сергеевич взял у комсорга рекомендацию, очень долго вчитывался в нее и проговорил наконец:

— Хорошо старик написал. Верно все: и скромный человек Пашка, и добросовестный.

— И добрый, — добавил Женька. — Ему бы позлей быть — и все в порядке.

До самого совхоза все ехали молча. Даже Женька не хотел говорить: то ли горло болело, то ли одоле-ла парня непонятная грусть. А Павлуня нет-нет да и касался пальцами бумажки, чуть хрустящей в боковом кармане.

Возле конторы прогуливался Модест — читал внимательно совхозные обязательства, разглядывал стенд передовиков, с которого не убрали его фотографию. Заметив директорскую машину, Модест начал любоваться черными голыми липами.

— Вот он! — просвистел Женька, растопыривая руки, словно увидев жулика, которого нужно схватить.

Павлуня с опаской посмотрел на Аверина и тихо попросил:

— Не надо, а?

— Не буду! — пообещал Василий Сергеевич, выбираясь из легковушки. — Петров, зайди ко мне!

Модест быстро повернулся и ответил поспешно:

— Ладно!

Механизатор вошел в кабинет, остановился у двери, переминаясь.

— Садись! — пригласил Василий Сергеевич.

Модест сел, выставив бакенбарды.

Аверин деловито сказал:

— Говори.

Модест порылся в карманах и, добыв в глубине несколько пачек, синеньких и красеньких, перевязан-

ных шпагатом, положил их на стол перед Авериным.

— Что это? — вскочил Василий Сергеевич.

— Это за лошадь, — ответил Модест. — Все сполна. Если мало — завтра займу, принесу.

Он поднялся и пошел к двери, за ним, не отставая, шагал Василий Сергеевич, засовывая деньги обратно Модесту в карман, бормоча:

— Ты что?! Зачем принес?! Разберемся. Погоди.

Модест задержался у двери, сказал с достоинством:

— Если виноват — отвечу, я в должниках не хожу!

Василий Сергеевич, с трудом закинув ему деньги в карман, заговорил отрывисто, глядя в сторону:

— Погоди-ка! Ты вот что... забудь мои слова, не злись на меня... Работа нервная, мало ли что бывает...

Модест посмотрел: Аверину тяжело давалось это признание.

— Вот, Сергеич, как трудно с человеком по-человечески-то говорить.

— Да все некогда как-то, — оправдывался Аверин.

Модест грустно возразил:

— Отвыкли мы... А работать я буду. Как вол. Оправдаю трудом.

Он глубоко вздохнул, сказал «до свидания» и вышел, вновь обретая свою степенность.

ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ

Марья Ивановна слыла великой домоседкой. И вдруг в один прекрасный день бросила все хозяйство на ненадежного Павлуню и укатила. Да только не в дальний город Саратов к неведомой тете, а в Москву, к старшей сестре, с которой лет пять не виделась, а последние годы забыла и переписываться.

— Здравствуй! — деловито сказала она пожилой худенькой сестре, нагрянув к ней ночью прямо с вокзала. — А я к тебе — погостить.

Та испугалась:

— Случилось что?! С Пашкой?!

— Ничего с Пашкой не станется, — пробормотала Марья Ивановна, проходя в комнату и ставя чемодан с авоськой на ковер. — А ты постарела. Крепко.

После этого она обняла сестру, громко расцеловала ее в сухие щеки.

— А ты все такая же,— сказала сестра.

И пошла на кухню: верно, готовить свой жиденский кофеек, из-за которого Пашкина мать не любила приезжать к ней. Однако скоро послышался такой аппетитный шип и такие сладкие волны поплыли по маленькой комнате, что Марья Ивановна, прошептав: «Молодец!», ринулась на помощь.

Они ели блины, пили чай с вареньем и молчали. Сестра, поглядывая на Марью Ивановну, сказала вдруг:

— А ты все же изменилась.

— А то! — нахмурилась Марья Ивановна. — Изменишься тут! Где моя лежанка? Спать хочу!

На другой день, набрав полную сумку продуктов, она появилась в клинике у Трофима, где первым делом поспорила с медиками, которые не разрешили ей пронести в палату копченую селедку.

— Селедочку нельзя, да?! — возмущалась Марья Ивановна, потрясая рыбиной. — А вы ему такую даете?

Ей строго ответили:

— Нет, мы больному такую не даем. И вообще селедка ему противопоказана.

— Да-а?! — Марья Ивановна уперла кулаки в бока и собралась уже во весь голос справиться насчет главного врача и жалобной книги, как вдруг послышалось:

— Ты все шумишь, Марья?

Она обернулась. На нее укоризненно смотрел Трофим, тощий, на себя не похожий. И, всплескивая руками, Марья Ивановна прошептала:

— Ой, мамочки, да что ж они с тобой сотворили?!

...К сестре Марья Ивановна вернулась разбитая, как старое корыто. Ничего не могла есть, даже копченую селедку, которую принесла обратно. Села к окну и, глядя на белую улицу, вспоминала свои нынешние разговоры с Трофимом и потихоньку ругала проклятую судьбину.

Все в жизни у нее получалось плохо, не как у людей. Был когда-то муж, пить начал. Спасибо, убрался рано: схоронила и замуж с той поры идти зареклась. Потянулась сердцем к трезвому Трофиму, а все раздумывала, какой он, на одной ноге, хозяин-то. Додумалась-дождалась! Сейчас и с одной ногой приняла бы, да поздно.

«Марья,— попросил ее сегодня Трофим,— скажи что-нибудь на прощанье».

Она в растерянности поискала заветное слово:

«Блинков тебе завтра напеку. Со сметаной».

Вспомнив это, Марья Ивановна вскочила, побегала по комнате, влетела в ванную. Здесь стоял бак с грязным бельем. Хоть было его немного, но и ему Марья Ивановна обрадовалась и в два часа все перестирала. Потом прибрала комнату, выскребла на кухне все углы и с ужасом увидела, что до вечера еще далеко. «А чего же я завтра буду делать?» — в тревоге подумала она.

И началась для Марьи Ивановны странная, бесполовая, лишенная смысла жизнь. Визиты к больному отнимали от силы часа четыре в неделю, а потом оставалась такая куча времени, что хоть вой. Рукам не находилось работы, и голову поневоле одолевали думы. Она представляла, как Пашка, оставленный один на один со всеми заботами, ходит по двору, носит корм боровку, разметаёт снег у крыльца. А может, боровка-то уморил давно: они теперь все такие, молодые, грамотные.

Марья Ивановна отходила от окна и садилась за чай либо снова хлебала суп. Тоска не отвязывалась. И Марья Ивановна стала уже сомневаться: верно ли сделала, что уехала, обрушив на слабые плечи сына все хозяйство — боровка, который просит еды, калитку, что ждет смазки, крышу, плачущую по ремонту.

«Ничего,— успокаивала себя Марья Ивановна.— Хлебнет горя — поумнеет. Каким еще хозяином сделается!» И плохо верила себе.

Вечером приходила с работы сестра, и они вдвоем пили чай с сухариками.

Хозяйка ела мало, зато много говорила, Марья Ивановна рассеянно слушала ее, вспоминая в подробностях сад, огород и каждую доску в заборе.

Через неделю безделье истомило Пашкину мать. Она начала подумывать об отъезде, но не трогалась с места только из-за Трофима. Он давно прогонял ее домой, а она сердито думала: «Как же, брошу тебя — тут с голоду уморят!» Ему же отвечала: уехала бы, да вот сестра тяжело заболела — не отойти.

Трофим сумрачно посапывал, и однажды вырвалось у него от сердца:

— Эх, Марья, раньше жалеть надо было!

Она всплеснула железными руками:

— Господи, кабы ведала!

В ту ночь Марья Ивановна долго не спала, все кряхтела и ворочалась, а потом встала, пошла прогуляться по улице, чего с ней никогда не случалось. Она крепко замерзла и до самого рассвета не могла согреться под двумя одеялами. Утром, чуть заснула, привиделся ей такой красный пожар, что Марья Ивановна испугалась.

— Побегу за билетом,— хрипло сказала она, проснувшись.

Сестра пощупала ее голову:

— Да ты вся горишь!

— Ничего,— ответила Марья Ивановна, садясь на постели.

Неделю провалялась она с обвязанным горлом и удивлялась, никак не могла понять, как ее, такую громадную, свалила какая-то школьная болезнь — ангина.

Когда немного оправилась и побрела в клинику, ей сказали, что больной Шевчук неделю назад умер.

— Не к добру пожар приснился,— пробормотала Марья Ивановна, выходя в скверик.

Она присела на скамейку, но долго сидеть на одном месте не привыкла — нужно было что-то делать. И ей так захотелось домой, к Пашке, что она, вскочив, поспешила на вокзал за билетом.

«А гостинцы?» — подумала мать и, расталкивая народ плечом, бросилась в ближние магазины, часто останавливаясь и потя от слабости. Долго толкалась у прилавков, стояла в недоумении около витрин и, в конце измочаленная, уселась возле какого-то универмага, сделав тут неожиданное открытие для себя: она совсем позабыла, что любит сын.

Рассеянно смотрела Марья Ивановна на людей, выходивших с покупками, и лоб ее избороздили морщины глубокой задумчивости. Вскочив, кинулась опять в бега. Мелькали перед ее глазами мотоциклы и ружья; зайцы и матрешки, духи, пудра, шоколад. Она влетала в магазины, пахнувшие кожей и клеем, рыбой и колбасой, хлебом и апельсинами. А когда до электрички оставалось минут двадцать, Марья Ивановна едва успела забежать за чемоданом и уже на вокзале, в бу-

фете, поспешно напихала в него яблок, да ирисок, да еще две большие банки салаки: пускай Пашка сам выберет себе по вкусу сладкое либо соленое.

В электричке Марья Ивановна с нетерпением считала остановки, а в автобус успела первой. Уселась к окну и принялась жадно разглядывать родные места. Чем ближе подъезжала к совхозу, тем белее казался ей снег, синее небо, милее голые тополя на обочине.

«А он ничего больше не увидит», — подумала Марья Ивановна и вдруг так сильно забеспокоилась о Пашке, что вскочила, начала проталкиваться к выходу, волоча за собой чемодан с гостинцами.

Когда проехали арку с названием совхоза, ее крепкое сердце гулко заколотилось. А когда Марья Ивановна вылезла из автобуса, сильные ноги ослабли: она увидела сына.

МАТЬ И СЫН

Павлуня стоял перед ней, такой же тощий и нескладный.

— Здравствуй, что ли, — хриловато сказала она. Павлуня пошел к матери, чуть светясь улыбкой.

Она торопливо чмокнула сына в щеку.

— Я тебе гостинцев везу! Пошли!

Павлуня поднял чемодан, смущенно засмеялся:

— Приехала...

Марья Ивановна вздохнула глубоко, до боли в груди:

— Приехала, Пашка! Как тут у нас?

Она шагала и вертела головой, оглядываясь, словно не была тут десять лет и все позабыла, а теперь вспоминала, где клуб, а где школа.

Прогромыхала мимо машина с камнем.

— Чего это Васька мудрит? — кивнула мать.

— Это не он, это Громов, — пояснил Павлуня. — Дорогу новую.

— Через мой огород?

— Не-е! Цел твой огород. Мы дорогу дальше пустили, другим переулком.

— «Мы»! — хмыкнула Марья Ивановна.

— Мы! — повторил Павлуня без улыбки. — Наши то есть.

Она внимательно на него поглядела.

— Пошли скорей,— сказала торопливо. Сама все убыстряла шаг до самой калитки, а перед тем, как отворить ее, остановилась в нерешительности. «Эх, была не была!» Толкнула калитку, вошла, осмотрелась.

Уезжая, она оставила тесный двор с сараем и бочкой. Сарай был тогда на подпорках, крыша его провисла, как спина старой клячи. Сейчас Марья Ивановна увидела такой же двор, с бочкой, тот же сарай, с подпорками. Кое-где, правда, белели на стене сарая свежие заплатки.

— Ты латал?

— Я.

— И видно. А это что? — Марья Ивановна указала на забинтованную старую яблоню, искалеченную веселыми близнецами.

— Это так,— уклончиво ответил сын.— Пошли домой.

Но Марья Ивановна сперва приблизилась к двери сарая, с опаской отвела задвижку, заглянула. На нее заплывшими глазками посмотрел такой взматеревший боров, что она радостно удивилась:

— Это за три недели так отлопался?

— Appetit хороший,— ответил Павлуня, закрывая дверь, в которую рванул было к хозяину зверина.

Марья Ивановна поднялась на крыльцо, взглянула на свое солнышко и, вздохнув, ступила на порог.

В горнице прямо на полу сидел Женька, перебирая фотографии. Увидев хозяйку, не встал, только поднял остренькую мордочку.

— Здравствуй! — сказала ему Марья Ивановна.— Конфеты будешь?

Скинув пальто, она быстро вывалила из чемодана конфеты, яблоки и салаку в банках. Парни молча смотрели.

— Готовьтесь ужинать! — приказала Марья Ивановна и ушла переодеваться.

Только нацепив опять свой домашний халат и напялив дырявые шлепанцы, она совсем почувствовала себя дома. Походила с чувством по комнатам, поглядела с ласковостью на любимую часовую машину и села уверенно к столу:

— Ну, как тут у вас?

Марья Ивановна ожидала долгого, с подробностями

ми рассказа о том, как жили без нее в совхозе и как схоронили Трофима. Но парни молчали. Тогда Марья Ивановна сказала сама:

— Умер ведь...

— Умер,— эхом отозвался Женька.— И фотку никак не найдут. На памятник.

Марья Ивановна наклонилась над раскиданными снимками, загребла несколько штук.

— Мраморный? — спросила она про памятник.

— Мраморный,— ответил Женька.

— А снимка, говоришь, нету?

Она пошла к себе в комнату и пробыла там долго — парни успели и яблок попробовать и конфет отведать. Слышно было, как Марья Ивановна открывала шкаф, шуршала. Наконец появилась с большим черным пакетом в руках.

— Тут, может, чего есть,— пробормотала она, выкладывая из пакета снимки.

Женька схватил было их и разочарованно скривил рот: такие видели они и в клубе, и в комитете комсомола, и в парткоме. Только на тех фотографиях Трофим везде был в народе, стоял сбоку, вдали. А здесь народа не видно, старый солдат остался в каком-то странном одиночестве: Марья Ивановна без лишних раздумий обкромсала лишнее.

Женька с досадой отодвинул снимки:

— Опять ничего путного!

— Потихе хватай! — Марья Ивановна убрала снимки обратно в пакет.

Павлуня пристально посмотрел на мать:

— А еще?

— Нету! — сердито ответила она. Но сын донимал ее тихим взором, и она, сдаваясь, жалобно проговорила: — Да последний ведь! Жалко.

— Нужно,— сказал Павлуня, разводя руками.

Что-то пробормотав, она скрылась у себя, но на этот раз вернулась тут же, неся в руке книгу, уже знакомую сыну. Женька же, увидев Пашкину мать вдвоем с книгой, да еще с такой толстой, открыл рот.

Марья Ивановна привычно разломила ее мощными пальцами, вытащила из середины прекрасную фотографию Трофима — глянцевую, четкую, большую, которую когда-то стащила в клубе с доски Почета.

— Ого! — протянул Женька быстрюю руку.

Но Марья Ивановна отодвинула снимок по-
дальше:

— Куда пальцами! Пятна будут!

На губах Женьки давно трепыхался один вопрос. Раньше парень сразу выложил бы его, чтобы не мучиться, но теперь, когда научился немного думать, он спросил не вдруг, а через длинные минуты, глядя не прямо, а в сторону:

— И давно это у вас?

— Чего это? — не поняла Марья Ивановна, не отрывая глаз от Трофима.

Дерзкий Женька, отведя взор, промямлил:

— Ну, это... чувство.

— Эх, ты! — шумно вздохнула она. — Чувства! Нашел Джульетту! Жалела я его, понял? — Женщина подумала и добавила: — Очень уж сердился он хорошо. Уважаю сердитых.

Женька разочарованно протянул:

— А-а... — и, схватив снимок, полетел в комитет комсомола.

Пока Боря Байбара радовался да ходил показывать чудом найденный снимок директору Громову и главному агроному Аверину, Марья Ивановна бродила по совхозу, расспрашивала про Трофима. Все-то ей было важно: и как выносили, и что говорили, и какие надписи выдумали на венках, и кто плакал на могиле, и много ли собралось народа. Слушала не перебивая, тихо вздыхала в конец платка.

Когда уже темнело, Марья Ивановна подалась на совхозное кладбище. Там узкие дорожки вели к расчищенным могилам, а старые и молодые березы одинаково печально опускали свои гибкие голые ветки на памятники с крестами, со звездами и просто с белыми шпильками.

Она остановилась у свежей могилы, заваленной венками, еще не слинявшими. Прочитала на памятнике всю надпись, пошевелила ленты и потом долго в недоумении стояла перед голубой пирамидкой с красной звездой. Прост был солдатский памятник. Пирамидку сварили из железных листов в совхозной мастерской, окрасили в столярке, дощечку отполировали заводские шефы.

— Дешевенький, — проворчала в досаде Марья

Ивановна.— Тоже мне богатое хозяйство, денег пожалело!

Кто-то подошел за ее спиной и заступился за совхоз:

— Это временный. Тут другой встанет. Из мрамора. С буквами. Золотыми.

И, не оборачиваясь, она уже по одним речам угадала Модеста.

— Здравствуйте,— сказал Модест.— С приездом.

— Привет! — буркнула она и больше задерживаться у могилы не стала, пошла, размахивая руками, домой.

В сенцах схватила кружку воды, долго пила. Потом, посасывая льдинку, ввалилась на кухню. Увидев ее, парни, о чем-то шумно толковавшие, сразу притихли.

— Ну, чего вы? — проговорила она, садясь на стул спиной к печке.

Павлуня поглядел на мать:

— Устала? Легла бы.— И добавил неожиданное: — А мы, знаешь, у Трофима были, в больнице. Недавно.

— Как так? — Не раздеваясь, она бухнулась к столу, сурово велела: — Рассказывай! Все!

Павлуня говорил долго, с подробностями. Женька вклеивал мелкие, но важные детали.

— Все,— наконец сказал сын.

Женька подтвердил:

— Так и было.

Марья Ивановна поднялась, пошла медленно.

— Ужинать, а? — тихо спросил Павлуня — не улышала.

Она сидела в темноте, за столом, подперев лицо трудовыми кулаками, и тоска одолевала ее. Одно плохое лезло в голову — не отбиться, не забыть. Ослабев, Марья Ивановна ругала себя за Бабкина, казнила за Трофима, которому сделала столько худого — не со зла, по недомыслию. Вспомнила Павлуню, которого никогда не баловала в детстве, а в отрочестве стучала по затылку, и дикая мысль вдруг ужаснула ее: «А ежели Пашка помрет?!»

Задохнувшись, Марья Ивановна представила бледного сына в красном гробу и вскочила, прислушиваясь.

Из Павлуниной комнаты доносился тихий раз-

говор: парни не расходились. Вот Женька сказал громко какое-то слово, и тут же сын осадил товарища:

— Тихо! Спит ведь!

«Заботится». Марья Ивановна упала лохматой головой на подушку и заплакала. А так как любую работу могучая Пашкина мать делала в полную силу, то и заплакала она во весь голос, сотрясаясь и захлебываясь. Это были первые слезы, которые Марья Ивановна показала миру за долгие годы, и текли они, долго копившиеся, неудержимо и бурно.

В комнату вбежали испуганные ребята.

— Ма! — трогал ее за плечо Павлуня, а Женька стоял столбом, держал наготове стакан воды.

— Сын, ты меня не кинешь? — спросила Марья Ивановна, показывая забухший глаз.

Павлуня выхватил из шкафа большое банное полотенце и долго промокал мокрые щеки матери. Она, не отводя его рук, вяло бормотала:

— Разревелась, дура громадная...

Потеплее укрывая ее, сын сказал:

— Спи. Пожалуйста.

Через минуту измученная Марья Ивановна задыхалась ровно и мощно, как всегда, только складка меж бровями никак не разглаживалась.

Парни, постояв в сторонке, тихонько вышли. Женька сразу заторопился домой.

— Поздно, — сказал Павлуня. — Ночуй у меня. Мать не рассердится.

— Нет. У меня тоже мать, — впервые вспомнил Лешаихин сын. — Одна. Небось дожидается.

Грушевый чертенок

1

Весна в рабочей Сосновке начинается не с птичьего щебета, а с веселого скорострельного треска лодочных моторов, которые бьются в каждом дворе в железных бочках с водой. Идут последние испытания, и плывет над садами сизый бензиновый чад, заглушая аромат цветущих яблонь.

Саня с утра ищет отца, заглядывает в палисадники, на огороды.

— Нету! — разводит руками соседка бабка Марья. — Только что забегал, крант подвернул, и — нету! Может, у воды?

Саня с сомнением качает головой. У всех поселковых ребят отцы — заядлые рыбаки и лодочники, а его родитель до смерти боится воды с тех самых пор, как в детстве дважды тонул, и та же бабка Марья, дважды вытянув его на плот для полоскания белья, пророчески произнесла: «В третий раз, парень, не минуешь!» Вот и не хочет отец «третьего раза» — косится опасливо на реку. На берег, правда, ходит: помогает строить причальные мостки, перебирает под навесом моторы и потом, склонив голову, «слушает» их. «Золотые руки», — говорят про него сосновские умельцы. И Саня кивает: все правильно — золотые руки у отца, светлая голова и безотказная душа. А сердце у него, верно, такое большое да жалостливое, что неизвестно, как помещается в тощей его груди. Всех жалеет отец — и птиц, и зверей, и деревья. А сильнее всего жалеет он и бережет Санину мать, которой с каждым днем становится все хуже. И не помогают уж ей ни лекарства, ни санатории, ни бревенчатые стены родного дома.

«Ну где ж он запропастился?!» — обежав поселок, остановился Саня на дороге. За дорогой, за асфаль-

том — завод, огромный, сопящий, жаркий. На этом заводе работает отец — хвалит его, не нахвалится: и народ-то там замечательный, и цеха светлые, и фундаменты плавающие, чтобы, упаси бог, не нарушить точность обработки да сборки станков. Только Сане завод не больно нравится: который уж год помаленьку да полегоньку напирает, надвигается он на его поселок, теснит к реке, глотает улицу за улицей. «А ничего не поделаешь — технический прогресс», — себя или сына успокаивает отец и погрузневшими глазами глядит на тихий и странный их поселок, на эту чудную деревню в городе, неведомо как сохранившуюся до сих пор. Люди здесь испокон веков трудятся на заводе, скотину не держат, кроме собак да кошек, к садам-огородам относятся с пренебрежением, в выходные дни, по вечерам только и разговоров, что о заводе, станках да рыбалке...

Незнакомый утробный рев вернул Саню на пыльный асфальт, вывел из задумчивости. Мальчишка огляделся: ревело за поселком, за крайними домами, над которыми мелькала стрела крана. Где рев, где машины — там, конечно, и отец.

Саня прошагал напрямик вдоль свежей траншеи, через чужие порушенные заборы и сбитые плетни и, действительно, возле землеройной машины и крана увидел отца: заложив руки за спину, стоял родитель у свежей ямы и следил, ровно ли укладывают в нее трубы. Пальцы его нервно шевелились: им самим хотелось работать, а не бездельничать. Саня с минуту полюбовался шупленьким отцом, его сбитой кепочкой, поглядел сбоку на мальчишеский светлый чубчик, что углом падал на отцовский лоб, и, подойдя, встал рядом.

— Изоляция не того, — нахмурясь, объяснил ему отец. — Видишь, края неровные? А там, смотри-ка...

— Слушай, пойдем есть, — мягко прервал его Саня: отец на технические темы мог говорить долго и грамотно — Санина каша давно, поди, остыла под газетами и ватником.

— Обедать? — отец с сожалением оторвал глаза от траншеи и шустро поспешил за сыном, все еще оглядываясь и недовольно бормоча.

Саня угрюмо помалкивал. Подбирается завод к поселку, протягивает свои шупальца. Прошлой осенью вот так же прошла по Сосновке, по их усадьбе, тран-

шея, в которую уложили толстый кабель. Траншею засыпали, холмик зарос травой — и все вроде бы ничего. Да засохла у Сани в саду старая заслуженная груша. «Жалко», — сказала мама. «Ничего! — бодро ответил отец. — Подумаешь — груша! Зато нам скоро квартиру дадут! Во-он там, на берегу, завод такие дома строят! Кухня — двенадцать метров! Ты в ней как королева будешь! Вот переедем!» Мама сказала тогда странные, запавшие Сане в душу слова: «Переедете, вы, ребята, пожалуй, без меня...» Отец долго шумел, как хорошо будет им втроем в новой квартире, а потом, у забора, у некошеной крапивы, сказал Сане, наморщив лицо: «Нам бы, сынок, до весны бы дотянуть...»

И вот — весна. Белые яблони в садах, трескучие моторы по вечерам и соловьиные песни на зорях. Сад густо зеленел, травы лезли, казалось, даже из бревенчатых стен. Желтели чистые, красивые и сытые одуванчики. И мама как будто повеселела.

— Ну где вы, забулдыги, шляетесь? — встретила она своих «ребят» сегодня за калиткой. А вчера с трудом доходила до забора.

Мама не в халате — в простом светлом платье, в белой вязаной кофточке, которая так идет ей. Она молодая, красивая, только бледная, и от этой бледности очень большими и грустными кажутся ее карие глаза.

— А мы, матушка, бежим, бежим к тебе. — Отец нежно подхватил ее с одной руки, Саня — с другой: сердце — не шутка, врачи говорят: ни резких движений, ни тяжестей...

— Да что вы, ребята, я сама... Честное слово, мне лучше... И все у нас хорошо, вот только сад...

И взглядом, кого-то укоряющим, она поглядела на старую засохшую грушу, которую отец не спилил в тайной надежде, что «отрыгнет», зазеленеет. Видно, пустая надежда: вон пошли по трещинам в коре зеленые лишайники. Мертва груша — все, конец.

И вечером, после чая, когда усталая мать задремала, отец, кротко улыбаясь, поведал Сане о задуманном.

— Хорошо, — обрадовался сын его радости. — Только... — И пожалел его отпуск. — Устанешь ведь...

— Устану, — согласился отец. — Но мать-то у нас одна... И я бы за каждую ее улыбку... Гору бы своротил...



— Я помогу,— предложил Саня, и отец поглядел странным долгим взглядом.

— Не стоит,— ответил медленно.— У тебя и так забот по горло. И учеба. Тебе, может, еще придется... Я сам.

И ночью осторожно, боясь потревожить мать, он спилил грушу острой ножовкой, оставив высокий пенек. Утром она увидела — нахмурилась:

— А что ж делать?.. Мертвому тут не место...

— Не место! — быстро согласился отец и перевел разговор на теплички и огурчики. И после разговора принялся городить что-то из дранок и пленки. Мать смотрела с подозрением.

— А вот мы и цветочки тут... — бормотал отец, старательно закрывая от маминых глаз грушевый пенек, из которого потом топориком да острым садовничьим ножом вырезал мордастенького чертенка. Отполировал его шкуркой да ладонями, покрыл лаком и — нате вам! — стоит посреди сада, ощерился — рогатенький, с пупочком, с тонкими, прижатыми к телу ручками и неожиданно могучими кривыми ногами, что глубоко вросли в землю. Чертеночек так широко растягивал губы, так ошалело-радостно глядел вытаращенными глазами, что улыбнулась даже больная мама, ненадолго вставшая с постели подышать вечерней прохладой.

— Какой ты хорошенький! — погладила она чертенка по рожкам и посмотрела на усталого, похудевшего, заляпанного отца, который под ее взглядом засветился.

— Нравится, да? Угодили мы с сыном? Это тебе к дню рождения! Верно, Сань? Пускай живет, пускай стоит грушевый — на счастье!

Саня хмыкал: все-то делал отец «на счастье»: и солнышко деревянное разрисованное приколотил над террасой, и щенка притащил, и голубей завел. А теперь вот — чертенка. Целый месяц отпускной ухлопал, вка-

лывал без разгибу. Он упорный, что задумает — сделает, хоть изведется весь. А на вид совсем некрепкий: тощенький, маленький, пониже сына. Глаза синие-синие, ясные. У Сани они серые, холодноватые, будто со льдинками, а у отца теплые, мягкие, нежные. И чубчик этот на лбу: ни веса от него, ни солидности.

Мама тоже следом за сыном посмотрела на чубчик и прикусила вдруг губу.

— Ой! — кинулся отец.

— Устала, — виновато улыбнулась она. — Полежать мне...

И когда отец с сыном довели ее до постели, уложили в терраске, заботливо накрыли ей ноги, распахнули пошире окно, чтобы слышала шорохи сада, видела мордочку чертенка, она попросила:

— Посиди-ка, сын...

— Ага! Посиди! А я — тут!

Пробормотав это, отец выбежал. Саня видел: встал у забора, плечи дергаются. С трудом отвел взгляд, через силу заговорил о чем-то неважном — она слушала, смотрела.

— Что ты, ма?

— Нагнись-ка...

Замерев, Саня почувствовал, как ласкает его волосы материнская слабая рука.

— Да чего ты, ма?..

— Сань... (Выпрямился, посмотрел как сквозь мутные стекла.) Большой ты... А отец наш как ребенок... Ты береги его, ладно?

— Да я...

— Ну чего вы тут молчите, о чем шепчетесь? — Голос у отца такой бесшабашный, словно только что явился родитель из гостей. — Погляди-ка, маты!

«И когда успел?» — дивится Саня на чудного человека из еловой шишки.

— Кто это, домовой? — спросил он рассеянно, вспоминая вдруг недоуменный голос бабки Марьи: «Чумовой мужик! Жена в таком состоянии, а он голубями тешится! А может, мужику отдушина надобна, а?»

Когда маму схоронили и все вернулись с кладбища, Саня повалился на постель лицом в подушку. Кто-то тихонько трогал его за плечо — верно, отец; кто-то горячо дышал в ухо — Шарик.

Потом он услышал голос бабки Марьи:

— Поплачь, поплачь, да и будет. Да и за дело. Ты теперь дому голова.

— Как же, — слезно глянул он. — А батя?

Бабка пощурилась на белых голубей, перевела взгляд на грушевого чертенка — единственное веселое существо во всей опечаленной Сосновке.

— Что батя... Ребенок он и есть ребенок, за ним ходить надобно... А ты мужичок крепенький, сдюжишь.

— Да, — сглотнул последние слезы Саня. — Да! — Крепко утерся рукавом. — Спасибо. И уходите, пожалуйста.

— Как же это? — удивилась бабка Марья: она еще бы побывала на сиротском этом дворе — помогла бы где словом, где охом, где проворными бабьими руками.

— Ничего, — сказал Саня, и льдинки в его глазах блеснули холодком. — Мы сами.

Следом за соседкой потянулись от стола к калитке и другие сосновские, не успев, как положено, погоревать о покойнице, не вспомнив толком все ее благие дела.

Остался над столом отец — распушенные губы, мутные глаза, вялая щека под рукой.

— Что ты так-то, Саня? Зачем ты? Люди ведь... Нехорошо...

«Сейчас!» — понял мальчишка. Только сейчас и немедленно надо браться за отца, пока не пропал, не растекся в слезах человек. И он приказал:

— Вставай-ка! Посуду мыть, убираться. Ну? Вставай, пожалуйста!

— Да, да! — вроде бы даже и обрадовался отец Саниному хозяйскому тону. Поднялся, пошел, покачиваясь, к бочке с ночной дождевой водой, сунул в нее голову.

Саня сдернул с веревки полотенце — подал. Отец старательно вытер чубчик, встал посреди сада-огорода, уронив к ногам полотенце.

— Давай, батя, — тихо сказал сын. — Давай! Надеяться-то нам с тобой не на кого. — И на отцовские слезы, блеснувшие опять, закричал тоненько, почувствовав, что сам не железный: — Давай, Сергей Петрович, действуй!

Потом, стоя над поникшим отцом и умеренно взма-

живая рукой, он диктовал ему правила их новой суровой жизни:

— Лодки-моторы твои — к чертям! Голубей-зверей твоих — к лещему! Хватит!

— Хватит, — покорно кивал мокрым чубчиком враз постаревший отец. — Только... Саня, как же без людей-то, а? Одни-то как проживем?

— Как-нибудь!

— Как-нибудь... Да, да... Как же еще, без мамы... Как-нибудь...

Сане хотелось броситься к нему, обнять, наревестись досыта, но знал: нельзя теперь давать слабину ни себе, ни ему.

2

Июльское солнце припекало макушку. По жаре среди ленивого гуда мохнатеньких пчел и острого жужжания голых полосатых ос ползал по грядкам Саня и, смахивая едкий пот со лба, собирал клубнику-ягоду. Не в рот собирал — в корзинку, не хочется, а ничего не попишешь: жить надо, существовать — самостоятельно и гордо, без горькой похлебки бабки Марьи, без скорбных взглядов Сосновки, без помощи ее и участия.

Слышно, как на реке под обрывом орут мальчишки и ревут катера, а тут — дремотно, скучно. Лохматый Шарик сочувственно глядит из-под крыльца. Одному грушевому чертенку, как всегда, радостно — скалится себе, пялит глаза, и ничего-то деревянному ему не делается!

«На счастье»... — вспомнил Саня недавние отцовы слова. — Вот тебе и счастье...»

Шарик поднял ухо на человеческий голос, насторожился. Сейчас бы на речку — поплавать, погавкать всласть! Подумал, взбrehнул.

— Устал? — выпрямился Саня, потирая поясницу. — Еще немножко потерпи — и погуляем.

Услышав любимое слово, Шарик кругло выкатился на солнышко под руку хозяина. Саня погладил его, горячего, пожалел:

— Ладно, пойдем окунемся.

И это слово «окунемся» хорошо знал хитрый Шарик — стал прыгать Сане на грудь, норовя облизать потное его лицо.

— Эх, радость! — чуть улыбнулся тот, и Шарик совсем ошалел: редко в последнее время так называл его хозяин и еще реже улыбался. А Саня стоял, глядел на ласковую псину — единственную свою радость, которая одна и не дает ему совсем пропасть. — Погоди-ка...

Сперва спрятал корзинку в холодный погреб, чтоб ягода не разбрюзгла, не потекла, а уж потом пошел неторопливо к реке, а Шарик кругами носился вокруг, поднимая пыль, смотрел желтыми ласковыми и такими собачьими глазами, от которых размягчалась заостенелая Санина душа.

Идти недалеко: река тут же, под горкой, под крайним их домом, что на бугре. Просыпаясь, Саня прежде всего подходит к окну — поглядеть, какая сегодня Ока, добрая иль не очень. Подходит-то на минутку, да и застывает так... Раньше мама отгоняла: — пора завтракать, в школу пора... Теперь никто не отгонит — стой хоть до вечера, смотри до заката...

Вспомнив маму, Саня остановился на полдороге и простоял так до тех пор, пока Шарик не ткнулся мокрым носом в его руку.

— Ничего, ничего, идем, — сказал ему Саня, вздохнув.

Они выкупались, разлеглись на песке, и Шарик, подвывая под бок, задремал, подрагивая во сне, а Саня лежал тихо, чтобы не тревожить чуткую дрему друга.

«Глаза слипаются», — подумал он, и стало неприятно: Саня не терпит липкое с тех пор, как связался с клубникой, — сам не ест сладкую ягоду и долго после нее моет руки.

Чтобы глаза не слипались, раскрыл их пошире, посмотрел на небо. Чистое оно, синее, спокойное. Плывут по нему редкие облака. Кружат ослепительные голуби. Голуби... Саня поднялся. Шарик, мигом вскочив, вопросительно посмотрел в лицо.

— Голуби, — буркнул Саня, и Шарик сердито брехнул: что-то не понравилось ему в голосе хозяина, который широко зашагал по песку. Этот решительный шаг тоже не по душе Шарику: чувствовал — опять начинается для одного ползание на коленках по грядке, для другого — нудное лежание под надоевшим крыльцом, где пахнет крысами и паутиной. Не ожидая при-

казания, понятливый пес уныло потрусил вверх по узкой выбитой тропочке. Саня, размахивая руками, полез следом, изредка бросая жесткий прищуренный взгляд на голубей.

«Ребенок он и есть ребенок... — вспомнил слова бабки Марьи. — А ты мужичок крепенький, сдюжишь...»

— Сдюжишь тут, — тихо сказал Саня и сплюнул в сердцах в белую пыль: мимо сползала с гремучими ведрами бабка Марья — посторонился, пропуская крепкую еще старуху. Она, ткнув костяным пальцем в небо, бросила:

— Видал?

— Чего? — не хотелось разговаривать человеку, но бабка цепко ухватила его за рукав:

— Гоняет! Ему б за сыном глядеть, а он! У-у, глу-пай!

Саня неловко выдрался из железных бабкиных пальцев и побежал, она еще что-то участливо крикнула вслед — не слышал.

За калиткой — дремотная тишина, пчелиный наложенный гул. Чертенок беззвучно хохотал, выглядывая из крапивных зарослей. Отец, обняв колени, сидел, сгорбятсь, на крыше, смотрел в небо, на счастливых своих голубей. «Почему не на работе?»

— А-а, — сказал он, услышав шаги. — Ты... А я вот... Отгул...

Глаза сына блеснули.

— Слазь, — сказал негромко, но отец расслышал, поспешно стал сползать животом к краю крыши, нащаривать босой ногой перекладину хлипкой лестницы. Спустился, встал, одергивая рубаху — небритый, неглаженный:

— Ну, это, обедать?.. Бабка вон шей... Дед Кузьмин яичек...



— Опять? — приняхался сын, и отец опустил глаза.

Саня загнанно огляделся. На что стал похож их садик, когда-то веселый, солнечный, прибранный, а теперь мрачный, в крапиве, в траве-лебеде. Млели у забора корявые вишни, набухала на их стволах янтарная смола-живица, от которой так приятно склеиваются зубы во рту. Окно в маминой терраске разбито, глядит черно — надо бы вставить, но до всего не доходят Санины руки. А тут еще новая забота — отец.

— Ну что ты? — укоризненно поглядел сын на несчастного: сидит, опустив руки, на гнилой скамейке, позабыл про голубей, которые воркуют себе на крыше. — Ну что ты, па? Окосил бы сад-то, пока я тут с делами...

— Да, да! — как всегда, быстро отозвался тот и, сунув ноги в галоши, зашлепал по саду, взял зачем-то не косу — молоток.

«Может, окошко заколотить хочет?» Лист фанеры Саня раздобыл недавно. Нет, и молоток выскользнул из равнодушной отцовской руки. «Папка мой, папка!»

— Пошел бы, лег...

Отец вздрогнул, как проснулся. Поглядел на Саню, который не успел отвести отчаянный взгляд, и закричал вдруг, замахал руками:

— Ну чего, чего ты, а?! Думаешь, пропал батя, конченный, да? Нет! Врешь! Не возьмешь! Захочу вот — и враз, понял?!

Саня смотрел не мигая, и отец все выше поднимал плечи, все тоньше становился его голос, пока не оборвался. «И хорошо,— подумал сын с облегчением: обидно и больно слушать обкусанные слова.— А ведь был речистый, умный был... И куда все подевалось?..»

Саня отвернулся в досаде. Отец близко дышал за спиной.

— Са-ань... Слышь-ка... Ну, чего ты, право... Я ж чуть только... Для бодрости...

— Эх, папка! А мне-то что тогда?! — вырвалось у мальчишки, и они замолчали, стоя друг против друга — оба такие похожие лицом, фигурой и чубчиком.

— Саня!

Отец с трудом совладал с прыгающей губой и впервые за этот месяц внимательно поглядел на собственного сына — жилистого и невысокого, в клетчатой рубашке, которую сам он и постирал, а погладить как надо

не сумел, так и таскает смятую. Волосы с весны не стрижены, висят лохмами, шея кажется тонкой, а голова большой. Синяя жилочка бьется на виске — такая тонкая...

— Саня... Сынок...

— Батюшки! — совсем как бабка Марья испугался, всплеснул руками Саня. — Обедать-то! А ну-ка садись-ка, батя! Где тут у нас наша любимая грешная каша с молоком? Садись! Я сейчас!

И скорей, скорей. — в дом, в дальний угол, в измятую подушку! «Мама, мамочка!»

...Потом они сидели напротив «мамино» чертенка, под «мамино» любимой яблоней, за «мамин» столом и, мягкие, молчаливые, взглядывая друг на друга красными опухшими глазами, ели бабкины щи да Санину кашу.

Шарик выполз, лизнул руку отца.

— Скучно без хозяйки-то? — осторожно погладил его старший хозяин. — Так-то, брат... Пошла наша жизнь под откос...

— Па!

— Не буду, не буду! — замотал головой отец, и захотелось ему сделать для сына, для этой вот ласковой собачонки, для дома, уставшего без хозяйки, что-то доброе, хорошее, облегчающее их судьбу. И сделать это надлежало сейчас, немедленно!

Он встал, быстро оделся поприличней, похлопал себя по карманам — денег маловато, но на торт, на конфеты хватит — и поспешил к калитке.

— Па! — вслед встревоженный голос.

— Ничего, — пробормотал отец. — Я щас! Чесслово!

И, сказав «честное слово», сам поверил себе, зашагал крупно, по-мужски — только до магазина и обратно, только за гостинцами, и все! И никаких бутылок — хватит!

Вернулся не скоро, помятый, деятельный. Саня сутулился над столом. Отец снял кепочку, утерся ею, пригладил мальчишеский свой чубчик:

— Слышь-ка, Сань, слышь, как вышло-то: иду, а навстречу Петька из литейного. «Куда, говорит, идешь...» — «Иду, говорю, туда». Это... Сань... Сынок...

Саня отвернулся: мамочка, когда же это было-то? И было ли?.. Золотые руки, умная голова... Где это все? Как же раньше толково объяснял ему отец про мото-

ры, про деревья, про Шарика, собачку невидную, про голубей, а теперь и послушать нечего. А скажи — обидится, уйдет к магазину, к новым своим приятелям, будет пить с ними в пыльных лопухах, жаловаться на жизнь, плакать, а ночью опять стонать, и метаться, и нагонять на сына тоску.

— Чего молчишь-то? Гордый, да?..

— Чай горячий, — сказал сын, не глядя.

— Чай, чай! Погоди-ка!

Отец схватил лопату — приспичило порубать крапиву да лопухи. Поскрипывала ручка, похрустывала сочная зелень, частенько слышался мягкий удар — отец всаживал лезвие мимо, в землю.

— Ничего! — бодро вскрикивал он тогда. — Не робь, Саня! Не пропадем! Заживем мы еще с тобой! Во как заживем! Точно! Все обзавидуются!

Последнее слово он выговорил не вдруг — с разбега. Саня горько усмехнулся.

— Обзавидуются — точно.

И встал, с жалостью оглядел отца. У того наморщенный от усердия лоб, а по лбу — крупные капли. Глаза больные.

— Ну и хватит, хватит. — Он отобрал лопату. — Садись-ка, а то чай остынет...

Молча брякнул на стол кружку, двинул чайник, стукнул ложкой, мягко положил на газету хлеб, а сам полез в погреб за ягодами. Выбрался с корзиной.

— Слушай, не гоже нам, — забеспокоился отец. — Зачем это? Мы, Сергеевы, рабочие люди, а рабочий человек, он...

Саня глянул, отец сконфузился.

— Рабочий!..

Сын хлопнул калиткой и пошел, не оглядываясь: ничего путного позади не было и быть теперь, пожалуй, не могло.

Не по-доброму катилась их непутевая жизнь — все вниз, в пыль, под крутую проклятую гору. И хоть до зеленой тоски жалко ему отца, а нет-нет да и вгрызется в сердце обида: нашел он, видишь ты, для себя утеху — вино, а каково сыну? Что ж ему-то, Сане, тогда делать: тоже к магазину, на троих?

Когда Саня ушел, отец долго сидел понурясь — не слышал, не видел Шарика, напрасно тот скулил и ласкался. Наконец разглядел, нагнулся к собачке,

— Все, а? Все... Ну и пускай! Без нее-то все одно пустота...

Он надвинул кепчонку и ушел — озабоченно, насупленно. Шарик проводил его до калитки. За старшим хозяином идти не хотелось: там, у магазина, какие-то люди будут присаживаться перед ним на корточки, дышать табаком и еще чем-то невыносимо противным, от чего Шарiku хочется выть и чихать. И за младшим хозяином не бежится: страшно Шарiku под ногами базарной толпы. Подумал, подумал и забрался обратно под надежное привычное крыльцо.

3

Самое страшное — пройти улицу, где бывшая краповщица бабка Марья обязательно встретится, как на грех, где старый токарь дед Кузьмин проводит тяжелым лохматым взором. Дед-то смолчит: поймет Саню, а бабка не утерпит:

— И-эх, сынок, сынок, для тебя ль тако занятие? Иль я денег тебе не дам? Чего маешься, зачем с кошелкой? Иди-ка на речку, сердешный!

И-эх, бабка Марья, добрая душа! Разве не догадываешься, каково гордому Сане хлебать твои щи и брать твои пенсионные деньги, зная, что никогда ты про них не спросишь, а он вряд ли когда тебе их отдаст. Неужели тебе не видно, как тяжела мальчишке эта ягодная корзинка, как кремнист путь на базар?

— Спасибо,— потупил голову Саня.— А эту тридцатку я, честное слово, отдам! Вот продам...

— Да господи, чудак человек! Об чем ты говоришь-то?! Не знаю никакой тридцатки, не ведаю!

И под укоризненным взглядом Кузьмина бабка виновато шмыгнула в свою калитку, чтобы хоть на вечер оставить Саню в покое, не бередить неловкой неумной своей жалостью.

— Чего с нее взять — дура баба,— сплюнул вслед ей дед Кузьмин и тоже не стал загораживать Сане дорогу.

До базара добежал он взмыленный, сердитый, втиснул свою невеликую корзинку меж чужих корзин, поставил сверху стакан — не обрезанный, хитрый, а настоящий вместительный стаканище. Разложил не-



ловко кульки и, все еще краснея, как от ворованного, укрепил ценник, на котором кратко, но ясно значилось: «50 коп.».

— Да где это виданы такие цены!

Саня стиснул зубы: ох, тяжело жить на свете! Хоть много в нем хороших людей, добрых стариков и старух, что, теснясь, уступают мальчишке место на рыночном прилавке, угощают яблоками, да семечками, да свойским пахучим медком, а вот на тысячу хороших найдется десяток таких вот, нудных, прилипчивых: покупать не покупают, а прицениваются, придираются. Санины соседи по правую и левую руку советуют мальчишке в таких случаях огрызаться, щетиниться и показывать зубы. Ни того, ни другого, ни третьего Саня делать не умеет — не ежик он, не овчарка — человек. Не отвечая на базарные крики, Саня думал о своем: об электричестве, газе и воде, за которые нужно платить, о той тайной коробочке, куда спрятал он остатки последней отцовской зарплаты — на черный день, на батин плащ, на его же ботинки, необходимые к зиме.

Самодельный этот базарчик расположился очень удобно: тут тебе рядом заводские проходные, платформа пригородного поезда и шумная дорога от пристани. Всегда полно народа, гама, воробьиного чириканья. Трещит под ногами подсолнечная шелуха. И Саня спешит распродать свой товар до того часа, как пойдет смена с завода, а новая — с пристани, с поезда. Ему совестно брать деньги с заводских — значит, со своих. Лучше пускай уж придираются к нему толстые эти тетки и нудные старики:

— Такой молодой, а уже торгуешь? Да мы в твои годы!..

«Ну чего пристал-то? Не хочешь — не бери, только не приставай, пожалуйста!» — клонит Саня голову, словно виноватый в чем-то, чувствуя на себе взгляды людей, которые, наверное, тоже осуждают его за безмерную цену, за кошелку, за базар.

Саня силится подумать о чем-то радостном — о лагере, например, в который он скоро поедет, коли отец достанет путевку, о теплоходах, гудящих на синей реке, о рощах, в которых он никогда не бывал, об облаках, — да не думается: лезет в уши назойливое: «Поработал бы за эти денежки!»

«Полазил бы на карачках!» — уже сердито смотрит мальчишка на покупателя, на руки его, белые, холеные, с длинными розовыми ногтями. У отца совсем не такие — вечные работяги, не знающие покоя. Кто этот старик? Нет, не старик, стариком-то его, пожалуй, не назовешь. Кто этот молодящийся, с подкрашенными волосами гражданин, что злыми глазами прокалывает Саню, норовя добраться до самой его сердцевины?

— Слушай, товарищ дорогой, шел бы ты отсель, а?

Саня встрепенулся: слишком весел был этот новый голос, без сердитости и занудливости, будто покупатель пришел сюда не по нужде, а от радости. Весел голос, а поди ты, напугал подкрашенного старика — попятился, скрылся в толпе, что-то бормоча.

— Привет! — подмигнул Сане чубатый круглолицый речник, который сразу понравился мальчишке и чубом, и улыбкой, и глазами. Было видно, что все у этого человека хорошо, складно, что и самому ему жить здорово, и другим он того же желает.

— Привет! — ответил Саня, а парень-речник pokrutil головой:

— Ну и дух от твоей ягоды! Продаешь?

— Ага! — засмеялся Саня: для чего ж тогда стоит тут со стаканом?

— Дороговато! Ты, купец, часом не рехнулся? — вылез из-за чубатого его приятель, тоже, судя по одежке, речник, низкорослый, но с такими широкими плечами, что казался квадратным. Сила-силица угадывалась в этих плечищах, а голос был тонкий, базарный, и Сане от этого голоса стало скучно. Он посмотрел на деревянное лицо квадратного парня и увидел в нем дубовое упрямство.

— Не рехнулся, — ответил с вызовом. — Не хочешь — не бери!

И ему впервые захотелось, чтобы в разговор втиснулась соседка его, старуха Макарова, — она бы так отбрила!

— Нет, мы, пожалуй, возьмем, — сказал третий, доселе молчавший речник — поджарый, с сухим лицом и быстрыми, чуть раскосыми горячими глазами.

Поджарый сказал, а остальные двое замолчали, как-то отодвинулись, отошли, пропуская узкоглазого вперед. «Начальник», — понял Саня, разглядывая тонкий, с горбинкой нос, серые хитрые глаза.

— Берите, — надоело разговаривать мальчишке. Он покосился на соседку.

Старуха Макарова поджимала губки, готовясь к великому крику, на который была она мастерица. И Саня даже пригнулся немного, словно крик этот уже прозвенел в пыльном воздухе.

— Насыпай, — сказал поджарый, но тут решительно протолкнулся вперед квадратный:

— погоди, Гриша! Мне необходимо выяснить!

— Что тебе выяснять, Иван Михайлович? Это же базар, — с досадой сказал Гриша, но Иван Михайлович уже подступил к прилавку, который оказался едва ли не по грудь ему. Буравя Саню глазами, он начал «выяснять»:

— А ты знаешь, что торговать не положено? Что в твоём возрасте?..

— Уйди ты! — плачуще сказал Саня, и ближние его соседи загудели, стали вытягивать шеи, смотреть недовольно.

И уже кто-то кому-то громко сказал про «нахалов, которые только прицениются, а брать не берут», уже

старуха Макарова из-за прилавка подала голос, когда тот, веселый, чубатый, неожиданно спросил Саню:

— Слушай, а родные у тебя есть?

Глаза у него ласковые, какие-то девчоночьи, с длинными ресницами, и весь он, чистый, наглаженный, промытый, был как случайный путешественник на деловой и бестолковой огуречно-ягодной толкучке. Все ему интересно, все занято, и Саня тоже. «У отца такие же были глаза», — подумал вдруг Саня. Были... А какие стали, он и не знает: некогда ему заглядывать в смутные отцовы очи. Чубатый улыбнулся — улыбка у него хорошая, добрая, и слова вроде бы искренние:

— А звать-то тебя как?

Саня моргнул раз и другой. Вот ему бы, пожалуй, рассказал об отце-матери, только не здесь, не при этих квадратных, которые глядят непреклонно, говорят, словно рубят:

— Ты что, разве купец коломенский? А? Разве тебе тут место? Имеются и другие места для детей!

— Какие еще места? — насторожился Саня.

— Да разные, — тихо ответил поджарый Гриша, и двое его товарищей опять почтительно смолкли, слушая. — Пионерский лагерь, например... Черное море, допустим... Отдых ведь, каникулы, а ты — на базаре, среди торгашей.

Возмущенно заворочались, низко загудели хорошие Санины соседи, и гул этот прорезал женский голосок квадратного Ивана Михайловича:

— Точно, Гриша! Человеку место в лагере пионерском! На море Черном! Станный он, однако, человек — заявить бы о нем куда надо!

— Пошел к черту! — угрюмо отрезал Саня и отвернулся. И уже хотел сбежать со своей корзинкой куда подальше, но тут поджарый Гриша вытащил пятерку, положил перед Саниной корзиной:

— Насыпай-ка. На все.

— Бумага-то хоть имеется? — влез квадратный Иван Михайлович.

Саня ему вообще ничего не ответил — торопясь, отсыпал в кульки клубнику, сунул, не глядя, деньги в карман, и парни-речники пошли толкаться по базарчику, а старуха Макарова, бранчливая базарная со-

седка, ругнула Саню за то, что он «дурак и чудной»: зачем насыпал с таким походом?

— Им бы, горластым, я не такую бы ягоду всучила! Ишь!..

Саня, не слушая ее, исподлобья с непонятной завистью следил за ними. Было в них что-то независимое, на все смотрели они с любопытством и чуть пренебрежительно. Вот троица прошла вдоль рядов, вот квадратный привязался к какой-то старухе с семечками — та начала махать руками, и товарищи едва оттащили возмущенного Ивана Михайловича от семечек. Обойдя невеликий базарчик, «морячки» остановились в отдалении и, поглядывая на Саню, заговорили о чем-то. «Надо сматываться», — понял мальчишка и хотел было попросить старуху Макарову присмотреть пока за своими ягодами, чтобы не толкаться с корзинкой у парней на виду, но та куда-то пропала. А парни уже направлялись напрямик к нему, и вперед вышел чубатый, имени-фамилии которого Саня пока не узнал.

— Вот что, человек хороший, — уже без улыбки заговорил незнакомец. — Надобно нам с тобой потолковать...

«Надобно потолковать!» — кивал издали Иван Михайлович. «Надобно!» — сурово и недоуменно смотрел Гриша. «О чем?» — тоскливо думал Саня, вертя головой. И тут увидел отца. Очень старательно, прямо, вежливо, уступая дорогу всем и каждому, шел по базару родитель, шел и все улыбался. Щеки его были бледны до синевы, глаза ввалились. Саня закусил губу: опять стонать отцу всю ночь, охать, и корчиться, и хвататься за живот — нельзя ему пить, слабому.

— Батя, батя! Ну зачем ты?!

— Батя? — бросил быстрый взгляд чубатый. — Понятно...

И отошел немного в сторону. Отец неверной рукой шарил за пазухой, шарил долго, и смотреть на него было неприятно и Сане, и, верно, тем троицам, странным. Наконец он вытащил кулак, разжал пальцы, чубатый вытянул шею. Блеснуло что-то яркое, зелено-желтое.

— Зачем ты, — жалел Саня и отца, и смятого попугайчика, а заодно и последние деньги, ухлопанные зря. — Зачем ты?..

— Тебе... птичку, — совал отец. — На-ка, Сань...

Петь будет... Все веселей с нею, а? А то, брат, тоскливо у нас с тобой стало... Жить не хочется...

— Пить надо меньше! — с привизгом, с ненавистью сказал квадратный, и отец вздрогнул.

Попугайчик сорвался с ладони, часто взмахивая короткими крылышками, врезался в пыльную липовую крону, пропал среди ветвей.

— Лови, — сказал чубатый. — Улетит.

— Эх, какой же я, — улыбнулся ему отец. — Понимаешь, купил вот... Думал...

— О сыне думать требуется! — встрял опять Иван Михайлович, и Гриша что-то сердито прошептал ему на ухо.

Иван Михайлович упрямо потряхивал башкой — она у него коротко стриженная и тоже квадратная — и бил землю копытом, вырывал локоть, не слушая начальство.

— Пьяны! — крикнул он наконец. — Давить таких!

И лицо его сделалось жалким, как у обиженного ребенка.

Саня, схватив корзинку, побежал с базара.

— Погоди-ка! — кричал ему вслед чубатый. — Саня! Куда ты! Некуда тебе!

4

В тихом переулке Саня отдышался. Парило. Видно, собирался дождь. Куры, распутив крылья, млели в горячей тени акации. Бежала под высоким берегом Ока — речка вольная, своя, и неслись с пляжа вольготные крики.

«Куда? Почему некуда?» — вспомнил он слова чубатого и поник: а ведь и верно, некуда ему деваться... Присев на корточки, доел странные пресные ягоды и побрел к дому. Перед калиткой остановился, подумал. Сейчас отец придет следом — плакать и каяться. Не может и не хочет Саня слушать отца.

— Шарик, на речку пойдешь?

Даже на речку не хотелось Шарику, не выполз из-под крыльца. Саня побрел один.

На Оке благодать, прохлада. Саня всласть накупался, повалялся на куче горячего песка и среди других, таких же шоколадных, помаленьку снова стал

чувствовать себя человеком... Развалившись на песке, задремал под дружеский шлеп волны, проснулся под вечер, сел. Медленно, бесшумно и широко текла розовая река. У самого берега пыхтел знакомый, сотни раз виденный буксирный пароход по имени «Пережат», а на том «Пережате» похаживали давешние покупатели. Саня быстро залег, потом отполз за кучу песка, откуда был незаметен. Он бы тихонько ушел домой, но пришла та самая минута, которая перевернула его жизнь...

По хлипкой дощечке сходил на берег с парохода молоденький, Саниных лет, морячок. Рябило в глазах от сине-белых полос на тельнике, слепила глаза надраенная пряжка, матросские клеши мели пляж. Торчали из-под фуражки волосы странного цвета, какие-то буровато-рыжие с прозеленью.

Саня смотрел с интересом, как неторопливо и очень важно шествовал морячок по берегу, ничего не замечая вокруг.

Какие-то парни, сидевшие неподалеку, свистнули ему — не повернул головы. Тогда бросили камень — и брызги обдали паренька. Он подпрыгнул, оглянулся. Парни залегли, Саня торчал столбом.

— Я те кину! — крикнул ему моряк.

И, подышав, пошел, дрыгая ногами, стряхивая с клешей воду.

Не успел шагнуть три раза, как новый увесистый камень плюхнулся рядом с ним, окатив его лучше прежнего. Размахивая долгими руками, паренек кинулся на Саню. Доказывать и объяснять было поздно, а убежать — противно.

...Взрывая песок, катались они по берегу.

— Дай ему! — неведомо кого подбадривали с верхушки пацаны.

— Коркин! — орали с парохода. — Держись!

Коренастый Иван Михайлович сбежал с трапа, оторвал и отшвырнул Саню — тот упал, задрав ноги. Иван Михайлович за шиворот поднял Коркина. Саня встал, отряхиваясь.

— А-а, — разглядел его Иван Михайлович. — Чего с тебя ждаты!

И, подпихивая, погнал своего на пароход. Тот озираясь, тряс кулаком.

— Иди, иди, пожалуйста, — сказал разгоряченный борьбой Саня. — Моряк с разбитого корыта!

Иван Михайлович тоже обернулся на минуту.

— Слушай, коломенский купец, брысь, пожалуйста! Саня отошел, равнодушно уселся неподалеку.

Вечерело. Красным подернулась река. Длинная тень парохода дотянулась до Сани, а он все сидел на остывающем песке, задумчиво посматривал на «Перекат». Что в нем такого? Обыкновенный древний буксир, каких много было на реке — остались единицы. Бокастый колесник, выкрашенный грязно-желтой краской, охрой, которую Саня не уважает, — он любит яркие, сочные цвета.

Иногда на палубе появлялся морячок Коркин — теперь в рабочей толстой робе. Саня смотрел на него без злости, смотрел, скорее, с интересом, хоть морячок косился зло и спешил укрыться в пытящей утробе парохода.

Потом вышла повариха, разложила прямо на палубе на столе миски, нарезала хлеб, принесла в чашке Санину клубнику.

— Ребята, ужинать! — позвала громко, и начали выползать Санины покупатели — Гриша, Иван Михайлович, чубатый, а с ними Коркин и еще какой-то дед в кепке. Команда чинно расселась за столом, Коркин — у самого борта, спиной к обидчику.

Чубатый несколько раз взглядывал на Саню, видно узнавая, а узнав, вскочил. Его схватил за локоть Иван Михайлович, что-то сердито зашипел, кивая на Саню квадратной головой, и все тоже стали смотреть на мальчишку.

Он поднялся и побрел прочь, направляясь к узкой каменистой тропке, к своему дому, ржавая крыша которого рыже виднелась из-за деревьев.

— Стой! — Кто-то дернул его за рукав.

Саня остановился, нехотя повернул голову. Коркин отпрыгнул, встал на безопасном удалении.

— Иди! Капитан зовет.

— Никуда я не пойду...

— Но капитан ведь!

— Ну и что?

Коркин шагнул, посмотрел в глаза с таким удивлением, что Саня и сам удивился.

— Зовет ведь! Пошли!

Саня пожал плечами и неведомо зачем пошел за Коркиным, который шагал впереди, настороженно ог-

лядяваясь. По дрожащей доске тот взбежал первым. Саня шагнул и остановился: узко.

— Это тебе не ягоды продавать! — сказал Иван Михайлович, и чубатый, поглядев на него с укором, подошел к трапу.

— Смелей, Саня! — И протянул руку.

Саня не хотел на глазах у всех хвататься за эту руку, но, когда добрел до середины доски и она заколебалась над черной водой, он все-таки ухватился. Иван Михайлович хихикнул. Чубатый, крепко держа Саню, так за ручку и подвел к столу:

— Принимайте гостей! Садись, Саня! Иван Михайлович, будь добр, подвинься!

Бурча, тот подвинулся. Саня сел на краешек и, хотя от запаха жареной еды его мутило, ел неспешно, будто сытый. Чубатый подмигивал ему зачем-то, Гриша помалкивал, уткнулся в свою миску странный дед в кепке, шумно чавкал Коркин, повариха посматривала озабоченно.

— Кушай, кушай!

— Спасибо.— Не кушалось Сане под взглядами, он ерзал, мучился, пытался как-то унять нервную дрожь в руке.— А кто капитан? А?

— А вот, Гриша! — показал чубатый на поджарого, и Саня обрадовался, что тогда, на базаре, не ошибся и что капитан именно Гриша, а не вредный Иван Михайлович, хотя, конечно, лучше бы, чтобы капитаном был чубатый, как его?..

— Володя! — понял тот мальчишку.— А мы с кем имеем честь?

Иван Михайлович шумно, как медведь в курятнике, завозился, заскрипел табуреткой. И Володя озабоченно сказал ему что-то про машину. Иван Михайлович мотнул головой и убрался. Вслед за ним ушли дед в кепке, Коркин. За столом остались Гриша, Саня, Володя, поодаль — повариха. Речники были уже не в той форме, в какой шлялись по базару, а в обычных штанах и рубашках. Зато у поварихи, нестарой полной женщины, из ворота кофточки выглядывала тельняшка. Повариха поставила перед Саней полную миску макарон — вторую.

— Кушай, кушай,— пропела она.

— Давай,— подбадривал Володя, а капитан приказал — кратко, по-капитански:

— Ешь!

И шмякнул перед Саней кусок хлеба.

Саня стиснул ложку, вспомнив вдруг: «Отец!»

А ребята, чтобы не смущать человека, отошли в сторону и, издали наблюдая, как Саня «кушает», осторожно переглядывались и вздыхали.

Накормив гостя, капитан повел его в свою каюту, дал вволю нагладиться на круглые окошки, кожаные койки, дал подышать всласть незнакомым корабельным духом, а потом усадил перед собой за столик, уселся сам, бросил в рот сигарету, а Сане протянул леденец и тихо приказал:

— Выкладывай!

Саня пожегся: что выкладывать-то? Вся жизнь его уместилась бы в кулаке. Школа, дом, отец...

— Мама недавно умерла,— сказал он с запинкой.— А батя...

Капитан сам видел «батю» и потому больше не спрашивал, курил, смотрел в иллюминатор, молчал. Потом как бы стал размышлять вслух:

— Значит, что мы имеем? Человек кончил восемь классов... Так? Ага, так... И решил школу бросить... Работу искать... А на работу-то не возьмут — мал, скажут...

— А этот! — вскинулся Саня.— Ну, Коркин? Сколько ему?

— Коркин — другое дело. Он в училище занимается, а тут на практике. Понял?

— Понял...— поднялся Саня.— Пошел я, а?

Они вышли на палубу под темное небо. У воды грустил Шарик. Увидев Саню, закрутился, повизгивая.

— Твой? — спросил Гриша-капитан.

— Моя радость.— Саня поспешил к трапу, но его остановил Иван Михайлович строгим вопросом:

— И куда намерен?

— Слушай, давай к нам! — предложил Володя.— Не пожалеешь! Речники — такой народ!

— Где ему! — за спиной Ивана Михайловича протянул язык Коркин.— У нас, чай, дисциплина.

— Тихо! — приказал капитан, и все замолчали, глядя, как Саня стоит в нерешительности у самого трапа.

— Ну? — тихо сказал Володя.— Решайся, парень.

Саня улыбнулся ему, хорошему человеку, сказал всем спасибо и сбежал на холодный песок.

Знакомая улочка полна ночной тишины, свежести, запахов. Саня остановился: чем пахнет? Вроде бы травой, цветами, землей. И, перебивая все, доносится с ветерком родной запах реки, на которой тягуче и близко загудел пароход. Сердце вдруг дрогнуло: «Перекат»? Ну и пусть «Перекат»! Сане-то что? Пускай плывут себе счастливые мимо прекрасных берегов и заманчивых городов — у него своя дорога: вдоль заборчика — к калитке. Калитка настезь. «Жулики? А что тут воровать-то?»

— Верно, радость?

Шарик задышал в ладони: наскучался за день.

— Ну, иди, спи. Спокойной ночи.

Шарик полез под крыльцо. Саня тихонько прошел на кухню, в окне которой одиноко горел свет. Отец уронил голову на стол.

— Папка!

Испуганно вскинулся, заморгал красными глазами.

— Ты... А я ждал, ждал, да вот и... Ну как ты?..

— Ничего... — ответил Саня. Побродил по комнатам — все тут в порядке, вернее, в том же беспорядке, какой остался после маминой смерти: все собираются они с отцом разобраться, да никак не могут: подойдет отец к шкафу, к полке ли — уронит руки: «Ее платье... Ее чашка...» Какая уж тут уборка! Саня зажег плитку на кухне, поставил на газ чайник и сел напротив отца:

— Ты-то как, а?

Отец шевельнулся, посмотрел на Саню и, поеживаясь, сипло сказал:

— Я-то ничего... Судить меня будут...

До проходных завода отец и сын шагали вместе. Чем ближе, однако, проходные, тем больше замедлял отец шаги, озираясь, вертел головой, отставал от Сани, бормоча:

— Ты... это... давай-ка, сын... Я сам. Ты иди, а? Вот придумал... Сам виноват — самому и ответ держать. Иди...

Трезвый как стеклышко, отец покорен и тих.

— Ладно, ладно! — взял его под руку Саня. — Нас же двое, мы и должны вместе — через бури и штормы!

— Да, да, — кивал отец. — Вместе — это ты верно сказал...

И Саня крепче сжимал локоть отца: он не оставит, не бросит, пройдет вместе через насмешки и взгляды, сквозь ехидные речи.

— Ба, гляди-ка, Сергеев! С заступником!

— Раньше надо было о сыне-то думать!

— Распустился!

— Ну и хватит базарить! Чего к человеку привязались?

Саня благодарно посмотрел на деда Кузьмина, что шагал позади, а теперь пошел рядом, бросая суровые взгляды на болтливых, все знающих кумушек. Горбоносый и тощий, он напомнил Сане Гришу-капитана, и мальчишка с неожиданной тоской подумал: «Ах, если бы!..» Если бы был тут чубатый Володя, он бы понял, помог, посоветовал... А что Саня сможет один?

— А этот куда еще? — спросил вахтер, и дед Кузьмин сказал укоризненно:

— Ты что, Степаныч, не видишь разве? Сын ведь это! Санька наш!

— Не положено, — еще немного поерепенился вахтер, но дед Кузьмин, схватив Саню за руку, провел его мимо ворчащего Степаныча, и другие сосновские люди, унося в своем потоке Саню и отца, оглядывались на них: на мальчишку смотрели сочувственно, на отца — с досадой. Тот все ниже и ниже клонил голову.

Поток разделялся на ручейки — в механический, на сборку, в литейку.

— Наш! — кивнул дед Кузьмин на крепкие ворота, и Саня вспомнил, как восторженно рассказывал ему отец про свой цех — про станки его, про крышу, про плавающий фундамент. Последнее время позабыл он рассказывать сыну...

И Сане вдруг стало страшно: ну каким теперь покажется его отец рядом с этими умными станками, мудрыми начальниками и умелыми сосновскими рабочими, которые еще так недавно звали отца «золотые руки», а теперь зовут по-другому.

— Я тут, — заупрямился Саня у фонтанчика, намереваясь присесть в спокойной тени у тихой воды.

— Сань, — робко взглянул отец. — А может...

— Конечно, может! — отрубил дед Кузьмин и подтолкнул Саню к железной калиточке в воротах.

Как во сне, шагал Саня мимо длинного ряда станков, которые он не раз видел мысленно и которые, к его удивлению, оказались именно такими, какими представлялись, шагал мимо белых стен и стеклянных конторок, мимо цветов, плакатов и стеллажей, не видя людей, а только синие халаты, и светлые лица, и темные глаза. Шагал, спотыкался на ровных плитах, дышал запахами железа, масла и краски, вспоминал на ходу: «Как на пароходе!» — и снова торопливо шел за дедом Кузьминым и отцом куда-то наверх, по железной лесенке, в красный уголок, где стулья рядами, и стол перед ними, и плакаты на стенах, а на тех плакатах строгие рабочие люди смотрели на Саню, требовали крепить дисциплину труда и быть в авангарде соревнования. А на стульях под плакатами сидели совсем не похожие на тех, нарисованных, живые ребята, толкались, шумели и на ворчанье деда Кузьмина горласто отвечали:

— Давай скорей, старый! Работать надо, а не болтать!

И насмешливо поглядывали на Саниного отца, который мешал им работать и отвлекал от дела.

Саня присел в уголке, рядом пристроился отец — на краешке стула, как незванный гость, а не хозяин этого цеха, не друг этих людей.

А хозяином-то оказался дед Кузьмин, которого Саня тысячу раз видел на берегу и на улице, — пенсионер, бывший токарь, недалекий сосед, жалеющий Саню с отцом и таскающий им яички. Сейчас дед Кузьмин в новой рубаше, в пиджаке и галстукe, не похож на того старика, шаркающего опорками по поселку и кряхтящего над своей поясницей. Он подошел к столу и постучал по графину карандашом.

— Товарищи! Прошу внимания! Членов товарищеского суда прошу занять свои места.

Задвигались стулья, пошли к столу члены суда, знакомые и незнакомые Сане люди, но все какие-то смущенные, словно в чем-то провинились, и не они, а их собираются судить, при всем честном народе.

— Товарищи, — возвысил голос дед Кузьмин, когда члены суда заняли свои места за зеленым сук-

ном.— Все собрались? Миша! Иванов! Это и тебя касается! Сядь как положено!

Саня покосился. Миша Иванов — мальчишка, чуть постарше его, ухмыльнулся ему и, щелкнув себя пальцем по горлу, хихикнул.

— Миша! — осадил его дед Кузьмин.— Выведу!

И, усмирив, уселся сам, нацепил очки, начал неторопливо при всеобщем молчании оправлять сукно, передвигать графин и шуршать бумагами. И чем дольше он шуршал, тем тягучее становилась тишина, даже Миша Иванов перестал вертеться, приоткрыл рот. «На Коркина похож»,— подумал Саня и рассердился на себя: при чем тут Коркин?!

— Товарищи! — поднялся наконец дед Кузьмин.— Дело такое... Сегодня мы судим нашего товарища, Сергеева Сергея Петровича... Сергеев! Давай-ка сюда, на общее обозрение!

Отец посмотрел на сына, помертвел с лица и побрел на свет, на вид, к одинокому, стоящему особняком стулу. Стул был такой же, как все стулья здесь, но и другой — странный, неприятный, зловещий в своем одиночестве. И таким же одиноким показался Сане отец, неуклюже умещающийся на стуле. И сын, помимо своей воли, встал вдруг, начал пробираться поближе к подсудимому, наступая кому-то на ноги и никого не видя, кроме отца с его несчастным чубчиком, который он вытирал одной ладонью, в другой сжимая кепочку. Саня сел в первом ряду, совсем близко от отца, и дед Кузьмин посмотрел на него странно: не то осуждая, не то одобряя. Спросил негромко:

— Уселся?

— Да,— ответил ему Саня, и тишина на минуту нарушилась: завозился непоседливый Миша Иванов, кто-то еще зашипел громко:

— С завода пьяницу выгнать, чтоб не позорил!

— Вот и я говорю,— без перехода начал дед Кузьмин.— Хороший, нужный человек Сергеев, грамотный специалист, золотые руки...

Отец вроде бы всхлипнул, и дед Кузьмин, на миг оглянувшись на него, продолжал тем же размеренным голосом:

— Только малость он сейчас не того...

— Чего там не того! — крикнул кто-то задиристо.— Позорит он наш коллектив! И себя позорит, и других!

— И сына! — вставил Миша Иванов, и дед Кузьмин, взглянув на него сердито, все же подтвердил:

— И сына!

Все плыло перед глазами у Сани, он плохо слышал, плохо понимал, о чем толковали люди, которые судили отца, видел только его лицо и глаза, неприятно мигающие, и руки, что судорожно мяли кепочку, ломали пальцы, дрожали.

— Ни одна бригада работать с ним не хочет! — изредка, как сквозь вату, прорывались чьи-то гневные слова, и Саня ежился, вздрагивал. — Был человек, а тут нате — запил! На работу не выходит, лодырь!

Сане становилось все жарче и жарче, плыл голубой туман в глазах.

«На речку бы!..» — захотелось ему так, что, казалось, не было сил терпеть духоту.

— Товарищи, семья у меня была... А теперь... Сын вот...

Саня выпрямился, в упор взглянул на отца. Тот уже стоял возле своего позорного стула, переминался и бормотал невнятное, поглядывая на сына, словно прося у него заступы. И рабочие люди, повернув головы, тоже стали глядеть на Саню — тот не знал, куда деваться от этих взглядов.

— Хоть бы мальчишку пожалел! — вздохнула до того молчавшая бабка Марья. — Вишь, мается мальчонка-то!

И размяк народ от этих ее слов, засопели товарищи судьи. А отец осмелел — Саня видел это. Заговорил что-то насчет крепкого последнего слова, которое он дает «перед лицом всего коллектива»...

— Да уж давал ты слово! — с досадой сказал дед Кузьмин, и все зашевелились, как-то сразу потеряв интерес к отцу и к сыну, заспешили, засуматошились, а Миша Иванов в голос зашумел про работу и драгоценное рабочее время.

— А что ты скажешь, Сергеев? — вдруг обратился дед Кузьмин к Сане, и все опять притихли.

Отец поперхнулся посередке какой-то фразы, заморгал.

Саня встал, тишина придавила его.

— Ну зачем это? — жалобно-проговорил отец, опускаясь на стул и закрывая лицо кепочкой.

И Сане вдруг так жалко стало и его, непутевого, и себя, и маму, что слезы заблестели в его серых глазах, уже не похожих на льдинки.

— Садись, садись! — испуганно замахал руками дед Кузьмин, но Саня не сел, он крепко мазнул себя рукой по глазам и сказал:

— Он хороший... Он так работал... Он слабый...

Ух, как расшумелись!

— Все слабые, парены! Сказанул тоже!

— Да ведь пацан еще!

— Пацан! Мы в его годы!..

— Сын ведь, сын, понимать надо!

— Говори-ка, сын!

Последнюю фразу произнес дед Кузьмин, и Саня, благодарно улыбнувшись ему, попросил:

— Отпустите, а? Я за ним присмотрю...

Когда расходились, Миша Иванов сказал звонко:

— Спустили дело на тормозах! Эх, мягкотелость! Все равно не поможет ему: коль начал пить — не остановится!

— Помолчал бы, знахарь! — хмыкнул дед Кузьмин и, отведя в сторонку Сергеевых, усадил их, сказал старшему: — Ну, Серега, отступать, видишь, некуда. Народ тебе последний раз поверил! Больше не выгорим — не надейся!

— Тяжко... — не смотрел на него отец, уткнулся потерянными взглядом в руки свои, стиснувшие кепочку. — И никто в душу не заглянет...

Дед Кузьмин крикнул:

— Да ты это брось... — Опустил на плечо отца ладонь. — Ты знаешь, как я после супруги-то... Помнишь?..

Отец молча кивал. Саня помнит, как неприкаянно бродил дед Кузьмин после похорон старухи Кузьминой и как они с отцом и матерью уговаривали деда бодриться, не поддаваться и жить назло всему. Дед не поддался, только согнулась малость его крепкая спина да в глазах навсегда поселилась тоска.

— Иди-ка, — тихо, но твердо сказал дед Кузьмин отцу, и тот посмотрел удивленно:

— Куда?

— В цех иди — куда ж еще? Работай!

— Да-да! — согласился отец. — Конечно! А Саня?

— Не пропадет твой Саня — не та жилка! Иди!

Отец вышел из красного уголка. Дед Кузьмин проводил его тяжелым взглядом.

— А ведь был человек... Был...

— Нет,—перебил его Саня.—Неправда! Будет! Есты!

— Ну-ну! Поглядим...

— Только... вы уж не бросайте его, ладно? — попросил Саня старика, и тот безнадежно махнул рукой.

А потом дед Кузьмин провел Саню по цеху — показал и станки, и блестящие детали, только что выточенные, теплые. К отцу не подвел: не стоит волновать, пускай отмякнет... Вывел мимо Степаныча на улицу, и они вдвоем молча постояли под часами, уважительно слушая, как сдержанно гудит огромный завод, на котором трудятся тысячи разных людей — и хороших, и не больно ладных, и несчастных, как Санин отец.

— Трудно? — спросил дед Кузьмин.

— Трудно! — доверчиво ответил Саня.

— Может, помощь какая требуется? Не стесняйся.

— Спасибо.— Саня почувствовал, как опять тает ледок в его глазах, которым стало горячо.— Спасибо вам...

— Может, лечить его надо, а?

Саня напрягся. Глаза сузились недобро. «Нет!» — отчаянно закрутил головой.

— Ну, как знаешь,—пробормотал дед Кузьмин.— Я как лучше...

До конца смены Саня сидел в скверике — глазел на грачей, орущих на липах, читал газету, купленную тут же в киоске. Когда стало совсем немоготу, стал похаживать, ежеминутно поглядывая на огромные заводские часы, что висели над проходными, рядом с «Крокодилом». Сане не нравится эта здоровенная самописная газетина, в которой ничего путного — одни лодыри да прогульщики. Люди стоят возле, смеются... А мамалюют вот так же отца?.. Нет уж, Саня этого не допустит! Будет снова портрет Сергея Петровича красоваться на той вон, другой витрине — почетной и гордой. А не будет — не беда: Сергеевы народ скромный, им не больно нужна слава, только бы стал отец прежним — добрым, спокойным, ласковым, как при маме...

Саня запихнул рубашку в штаны и решительно направился к проходной.

Не успел еще подойти, как распахнулись сразу мно-

гие двери и ринулись в них самые нетерпеливые — в большинстве мальчишки и девчонки постарше Сани. Вот и Миша Иванов промчался. Потом деловито вышел отец. Саня зорко взгляделся: лицо отца спокойно, глаза приветливые, кепочка сидит на затылке чуть набок, как раньше.

— Папка!

— Саня, — обрадовался, а потом смутился отец. — Вот видишь, как меня...

Сын взял его под локоть и повел за собой — к родному дому, к новой, пусть не счастливой, но нормальной жизни, которая, конечно же, придет обязательно — надо только очень-очень захотеть этого им обоим.

Они выкупались, потом отец задумчиво и как-то успокоенно похаживал по саду, а Саня готовил ужин, и Шарик, чуя перемену к лучшему, то вертелся возле отца, то, встав передними лапами на подоконник, хитро заглядывал к молодому хозяину.

— Соскучился, радость? — смеялся мальчишка над лукавой этой мордочкой — ухо кверху, ухо вниз: беспородная, преданная животиная.

Ужинали мирно и ладно в саду, посмотрели телевизор, спать легли поздно, и отец, оттаяв, все говорил, говорил — про работу, про товарищей, про пионерский лагерь, путевку в который он вот-вот достанет.

А ночью Саня проснулся от шороха. Отец рылся в заветной железной коробке, где лежали чудом сбереженные на черный день, на хлеб да кашу, его же трудовые рубли.

— Па...

Он испуганно вздрогнул, но коробку не выронил — крепче зажал в руках.

— Зачем? — спросил Саня, и отец не смог слукавить.

— Пятерочку, Сань... Я отдам...

— Зачем?

Отец вздохнул.

— Что ты понимаешь, сын... Душа горит... Сил нету — тоска. Слетай, что ли, к Сычихе — она и ночью продаст, у нее всегда есть. Слетай, Сань...

— Папка... Людей постыдись!

Босоногий, тощий, Саня прошлепал к отцу, выхватил коробку из вялых пальцев. Она раскрылась, упали

их невеликие деньги — отец и сын туповато уставились на них.

— Люди... Что люди. Что они понимают?.. — пробормотал отец, странно раскачиваясь на постели.

Саня не стал собирать деньги — присел к отцу, обнял.

— Успокойся, ну! Что ты, в самом деле... К тебе ж хорошо относятся.

— Замечательно! — хмыкнул отец, вырываясь. — Особенно нынче! Даже Мишка, черт сопливый, — и тот учит. А когда-то я его... А теперь учит! Меня, Сергеева! Сволочь!

— Батя!.. — Саня с удивлением отшатнулся: никогда и нигде отец его не ругался — не шло ему это ни с какой стороны. Как не шло и злое выражение на лице, тонко поджатые губы. Неужели водка выпила отцовскую доброту? Саня ужаснулся, подумав так, упал на колени, торопливо комкая, собрал трешки, рубли, зачихнул их в коробку.

— Все, батя, хватит! Докатишься. Вон Кузьмин говорит: лечить тебя надо! А он дед мудрый, он повидал...

— Что он повидал! — закричал отец, который никогда раньше не повышал голоса ни дома, ни в саду. — Что он знает, старый пень?!

— Папка, папка!.. Старый пень кормит нас, и хотя бы за это...

— Что за это? В ножки ему, да? Не дождется! И ты туда же! Лечиться! Упечь меня хочешь, да?

Саня поднялся с колен, встал над сидящим отцом, глядя на его беззащитную макушку.

— Что ты говоришь-то, папка?.. Опомнись.

Отец поднял голову, погрозил пальцем:

— Ты тоже хорош!.. Отцу родному пятерку пожалел... Может, мне пятерка эта вот как нужна, а ты... пожале-ел... Эх, ты!.. А еще сынок...

— Папка! Еще слово — и я... я из дома убегу!

Отец пожевал губами, выискивая нужное слово, и выискал:

— Катись...

Пошла кругами настольная лампа, качнулись грязные занавески на черных окнах. Поплыл в дальнюю даль отец вместе с кроватью... Саня зацепился пяткой о порог...

— Деньги-то, купец, оставь!

Саня разжал пальцы, брякнулась об пол коробка, отец не пошевелился.

По этой тропочке все бежит к реке — и ветер, и ручьи, и листья. По этой тропочке, под уклон, мчался теперь и Саня. Куда, зачем бежал он глухой полночью — ему и самому было неизвестно, только бежал он, не останавливаясь, подальше от спящих домов, мимо бузины и крапивы, по росе, среди ленивого собачьего лая, пока не выскочил на влажный береговой песок. Тут и опомнился — рубаха и штаны в руке, башмаки остались дома. Сейчас отец выскочит следом, догонит, уведет в тепло, скажет, что слово то не он вымолвил — само оно вырвалось помимо воли. «А как же «купец»?» — подумал Саня в тоске. За что же отец так обидел его? Прислушался: калитка не скрипнула, шаги не слышались — тихо, пусто кругом и темно, только луна проблескивает из-за моста, роняя на реку призрачную дорожку — смотри не наступи.

Саня поглядел на мост — не ажурную красоту его увидел, не черное кружево под желтой луной, а смертную высоту, с которой ахнуть бы вниз головой, чтоб перестало болеть сердце.

Помаленьку Саня начал замерзать — оделся, сел на корму Кузьминовой лодки, свесил застывшие ноги в парную воду.

Скрип по песку — ближе, ближе. И с каждым новым шагом теплее на душе. Ага, все-таки опомнился, ищет! Дружеская ладонь на плече, возглас полон удивления:

— Саня?

Мальчишка вскочил, лодка качнулась — пришлось упасть в крепкие объятия Володи, тот смотрел в упор большими темными глазами и не улыбался сейчас, а был необычайно строг и холоден:

— Ты зачем?

Ого, спрашивает совсем как Иван Михайлович.

— Так, гуляю...

— А где обувка? И вообще, что стряслось?

Володя за руку вывел мальчишку из лодки и, не отпуская руки, крепко потряхивая ее, требовал:

— Говори!

— Пусти-ка...

Саня вырвался и побрел обратно — теперь вверх,

вверх, опять мимо бузины и крапивы, к родному дому, где отец, конечно же, ждет его и переживает. Шарик, мокрый от росы и потому крепко пахнувший собакой, метнулся в ноги.

— Пусти, пусти!

Свет на кухне, родной огонек. Встречай меня, папка! Саня, шлепая ногами, оставляя на немытом полу черные следы, пробежал в комнату. Отец навзничь лежал на кровати — одетый, в туфлях. Лицо его было бледным, дыхание тяжелым. На стуле неподвижно сидел дед Кузьмин. Саня сперва не увидел его, отшатнулся, когда черный дед повел темными глазами:

— Не бойся, малый...

Голос у деда тоже темен и глух.

— Что?

— Обычное... Привел вот... Не спится старику — вышел в сад, а он — по заборчику... Привел... Ну, я завтра эту Сычиху-самогонщицу! Я ее вытащу на общественный суд!

Саня попятился, и дед Кузьмин кивал, не вставая со стула:

— А и верно, парень: нечего тебе тут делать. Иди-ка ко мне, я посижу и явлюсь, а утром мы тебя...

В тихом неладном доме простучали вдруг быстрые ловкие шаги.

— Сань, ты?

Вошел, вглядываясь, Володя. Зоркие молодые глаза его враз зацепились за пьяного отца.

— Ну, пойдём-ка, брат, — приказал Володя и решительно надвинул на лоб, на пышный свой чуб, лаковый козырек белой фуражки.

6

Резкий, дробный, оглушительный грохот. Саня взвился на койке:

— Что?!

На соседней койке заворочались. Из-под одеяла высунулась взлохмаченная голова.

— Спи. Якорь положили.

Саня подбежал к иллюминатору. Близо гуляла, была в борт волна. Шипел где-то пар, пахло железом, машиной. Вот опять что-то загрохотало, уже потише.

Зашумело колесо, пароход качнулся — пошли! «Куда я?» — в растерянности думал Саня, глядя на розовую рассветную воду.

Вчера ночью они долго сидели в его доме, потом втроем вышли на берег. «Идите, идите, я тут погляжу», — все успокаивал дед Кузьмин Саню, а тот оглядывался на берег, на крышу родимого дома, тянул шаг. Потом они вдвоем с Володей бежали мимо каких-то мастерских, в которых гудели станки и вспыхивала сварка, мимо ящиков, бочек и тюков, потом едва успели вскочить на борт отваливающего от причала парохода, и Гриша-капитан откуда-то сверху крикнул: «Где тебя носило?» А Володя с непонятым весельем ответил: «Не меня, а нас! Принимай гостя, капитан!» Как поили чаем, Саня уже помнит смутно, а как спустился сюда, в каюту, почти и не ведает. Только ткнулся в подушку — и все.

Вздыбленная голова тарачила полусонные глаза с соседней койки.

— Коркин?

— Ну! — ответила голова.

— Где мы?

— Тама! Спи! — пробормотал Коркин и завалился.

Саня тоже лег на жестковатую подушку, но сон не шел к нему. Пароход шлепал колесами, сопел, посвистывал. Где-то близко — то ли под ногами, то ли за стенкой — равномерно погромыхивало, позвякивало — работала машина. «Надо все продумать», — решил Саня и приготовился: положил руки под голову, вытянулся повольней, закрыл глаза и уснул.

— Эй, вставай, что ли! Завтракаты!

Саня открыл глаза. Коркин сидел на койке и одевался в рабочее. Встал, застегнулся, стукнул толстой подошвой по железному, покрытому матиком полу. На соломенно-зеленые волосы натянул беретик.

— Проснулся, коломенский? — спросил не совсем еще миролюбиво, видно помня схватку на берегу. — Как спалось?

— Хорошо. А тебе?

— Так ведь мы не на даче — на вахте, — ответил Коркин непонятно и прищурился вдруг: — А ты уж злой...

— А ты какой? — спросил Саня. — Добрый?

— Я? Нормальный. На людей не кидаюсь.

Саня подумал: не объяснить ли все Коркину? Но объяснять такому важному не хотелось, и он только спросил:

— Как тебя зовут?

— Семеном кличут! — ответил мальчишка. — Пошли, что ли?

Они поднялись по узкой железной лесенке на палубу, прошли в просторную каюту, где за столом сидели свободные от вахты, поздоровались. Коркин уселся, Саня затоптался у порога.

— Садись! — подвинулся Гриша-капитан. — Ешь-ка!

Саня огляделся: где же сердитый Иван Михайлович? И Гриша, угадав его, засмеялся:

— На работе он, не бойся.

— Я не боюсь, — смутился Саня. — Только...

И не стал объяснять, что не любит он дубовых и квадратных. Молча уткнулся в миску. Ел, искоса поглядывая на плывущие берега, раздумывал, что же делать ему дальше и зачем он вообще сидит тут и ест флотскую лапшу с мясом. Поднял глаза на капитана, и Гриша сказал:

— А ничего страшного: поживешь с нами, поглядишь, а там на берег сойдешь, если захочешь...

Саня передернулся, как от ледяной воды за воротом.

— Берег... А что там, на берегу-то?

— Ну и ладно, и все! — встал Гриша. — Может, и наладится, да? А сейчас походи, погляди, как мы живем. И веселей, веселей, Саня! Коркин! — позвал он и, когда тот подошел, попросил: — Покажи-то товарищу судно.

— Есть, капитан! — лихо ответил Коркин и повернулся к гостю. — Пойдем?

— Пойдем, — вздохнул Саня, и было ему все равно, куда идти, кого слушать: что-то оборвалось с прошлой ночи, что-то треснуло, осталось там, на берегу.

— Значит так, — начал Коркин, вышагивая рядом с Саней и побряхтывая от важности. — «Перекат» наш — корыто старое. Дохаживает свое, понял? — Саня молчал, не интересовался, и Коркин, поскучив, продолжал: — На нем паровая машина...

— Паровая машина, — послушно повторил Саня.

— Так барахло, в двести лошадей! — оживился

Коркин и тут же, не утерпев, пошел распинаться, на каких теплоходах будет он ходить после училища, получив специальность машиниста-рулевого, а пока приходится кантоваться тут, на «паршивом буксире».

— А почему тут, раз не нравится? — спросил Саня. — Шел бы на хороший.

— Да-а, шел бы, — подумав, ответил Коркин и, обещав скользкую тему, начал распинаться про товарищей своих: про Володю — первого штурмана и помощника капитана, про Ивана Михайловича — механика и второго штурмана, но тут Саня перебил его:

— Почему у вас все двойное? Машинист-рулевой, первый штурман — второй помощник, токарь-пекарь, повар-плотник...

— Сам ты пекарь! — высокомерно улыбнулся Коркин. — А по-серьезному — так это совмещение, понял? Где раньше, например, двадцать человек работали, теперь десять управляется, ага? Совмещение — естественный процесс.

«Естественный», — вспомнил Саня Ивана Михайловича, любителя таких вот словечек, и спросил про совмещение:

— Зачем это?

— Надо, — отрезал Коркин, подумав.

Он открыл какую-то дверцу, Саня увидел лопаты, ведра, трупки.

— Кладовка, что ли?

— Материалка! — с удовольствием ответил Коркин, поглядывая на неопытного Саню.

— Я и говорю, кладовка!

— Материалка! — со вкусом повторил Коркин, и Саня подумал, как, должно быть, нравится тому и парход со всеми его материалками, и собственные штаны с беретом, которые он таскает с таким небрежным удовольствием. — Материалка, понял?

— Почему не просто кладовка? Зачем так сложно? — захотелось Сане поддеть Коркина, но тот поглядел недоуменно, как на глупого, и единственная глубокая морщина, которая почему-то поперек пересекала его лоб, стала еще глубже.

— Положено! — кратко отрезал он, и Саня, подумав: «Тупой!», потерял интерес к практиканту, а Коркин, наоборот, распаляясь, потащил его в машину.

Там, внизу, наваливалась жарница. В желтом элект-

рическом свете тускло поблескивали облитые маслом железные части машины.

Вкусно чавкая и шипя, ходили в цилиндрах поршни, неторопливо двигались шатуны, крутились валы. И кругом — трубы, трубы, трубы. Трубы маленькие и большие, толстые и тонкие, голые и обмотанные проволокой, укутанные асбестом. Вопреки ожиданию, в машинном отделении было сравнительно тихо, можно разговаривать, не повышая голоса.

Коркин что-то объяснял, Саня слушал не его, а машину и смотрел только на нее, живую, огромную, умную. Дрожал под ногами пол, посапывал, поухивал пар. Коркин похлопывал машину, словно коня, по вспотевшим масляным бокам, трогал железки, на ходу подливал масло в масленки, похожие на шляпки грибов маслят. Двигался он свободно, уверенно, и Саня впервые самую малость позавидовал ему, человеку, кому-то нужному, к какому-то делу приспособленному.

— Ты башку тут не разбивал? — спросил он неприязненно, кивнул на вал, и Коркин почему-то обрадовался:

— Во-во! Трескался! Об него! Вишь, какой низкий! Устаревшая конструкция! Сколько мне шишек насажал! Ты осторожнее!

И снова бросился растолковывать что-то, а Саня глядел на машину и с тоской думал о бывшем сборщике и механике, фотография которого недавно еще красовалась на доске Почета у проходных. А вспомнив про отца, вспомнил он и про маму, про Шарика, про грушевого чертенка, которого она гладила тогда по рожкам... И показалось Сане, что давным-давно он с берега и что берег этот не увидит уж никогда.

— Ты что? — удивился Коркин остекленевшим глазам мальчишки. — Трахнулся? Я ж говорил! Ты куда?

Не слушая, не отвечая, Саня полез наверх, к солнцу.

У входа в машину сидел на обыкновенной, совсем не корабельной табуретке Иван Михайлович — в обыкновенных штанах и ботинках и в короткой рубаше, которая у него то и дело вылезала из брюк, и он ее ожесточенно закидывал обратно.

— Ну? — спросил он, запыхавшись, поглядывая на Саню круглыми, как пуговики, глазками. — Понравилось, естественно?

— Ничего,— вежливо ответил Саня, и Иван Михайлович закричал: видно, не так, как положено, отрапортовал гость.

— А ты, Сергеев, вникай, понял? — холодно посоветовал он и отвернулся — не гляделось ему на Саню, которого он почему-то не принял с самой первой встречи.

Коркин, тоже вроде как малость окостеневший вблизи Ивана Михайловича, отойдя подальше, немного обмяк, хоть и косился настороженно:

— Железный человек.

— Железный,— согласился Саня, а подумал: «Деревянный».

Иван Михайлович по-прежнему не сходил с табуретки, и Саня спросил, почему же механик не в машине, не внизу.

— А незачем,— снисходительно пояснил Коркин.— У него машина как часы. Он ее по слуху узнает, коли что не так. Слышишь? Да ты послушай!

Саня невольно прислушался: и верно, машина дышала ровно, спокойно, только временами что-то в ней вроде бы посвистывало.

Из рубки выглянул чубатый Володя.

— Нравится, Саня? — спросил он, не придумав новенького.

— Ничего,— ответил Саня, не желая обидеть человека, не сказав про непыльную работенку.

— Тогда лезь! — пригласил Володя, а Коркин, подталкивая Саню в спину, добавил:

— Лезь, коломенский!

И они полезли на верхнюю палубу.

Железо под ногами горячее — чувствовалось даже сквозь подошвы. И поручни горячие, и спасательные круги, и огромные трубы, похожие на курительные трубки. Саня поглядел на трубы, Коркин не удержался:

— Ветраусы!

«Вентиляторы», — понял Саня, и стало ему повеселей немного, стало поинтересней жить и узнавать странные прозвища знакомых и незнакомых предметов. Он разглядывал верхнюю палубу и рубку на ней — маленькую застекленную будку с плоской крышей.

— Входи! — распахнул Володя дверь, и Саня вошел.

За ним втиснулся Коркин, сел потихоньку на какой-то ящик, насупился — верно, от важности. Может, подбирая слова, вроде «рубка — сердце корабля» или еще какие-то в том же духе. Володя оглянулся на него, посмотрел на оробевшего Саню, улыбнулся парням.

— Смотрите — красота-то!

И точно, красота вокруг! Из рубки видно далеко, на многие километры. Ока впереди не сероватая, как у поселка, а зеленовато-коричневая, с синевой. Берега незнакомые, зеленые, чистые, временами на них заметны желтые лысины — это песок, пляжи. Саня тут никогда не был, он вообще нигде не был дальше сада-огорода и своего берега — затоптанного, замусоренного: такой уж ему достался сухопутный отец.

Отец... Саня оглянулся — где же Сосновка? Ее нет, пропала, растворилась в дрожащем мареве. За парходом тянулись три баржи, тяжелые, как утюги, и такие же неуклюжие. На них болталось белье, бегали ребятишки. «Счастливые», — позавидовал Саня.

Володя не мешал ему осматриваться, молчал и Коркин: пускай новичок сам удивляется. И Саня удивлялся. Совсем не так представлял он рубку: где же тут хитрые приборы, где капитан с трубкой и в белом кителе, куда подевались его грозные команды: «Полный вперед!», «Так держать!» Нет, все-то не так... Сидит на высокой табуретке Володя в тренировочных штанах и клетчатой рубашке, крутит маленькое колесико, что впереди большого штурвала. На вопросительный Санин взгляд Коркин торопливо, чтобы не опередили, зашептал, что колесико — тот же штурвал, только механический. Внизу — паровая машина, она-то и ворочает руль. «Благодаря!» — размышляет Саня, но почему у Володи покрасневшие глаза и усталый вид, почему Коркин зевал, зевал за спиной у Сани да вдруг и сомлел в своей толстой робе, и Володя, ласково разбудив его, велел освежиться в душевой и топать на вахту.

— Ага,— пробормотал парень и спотыкуче побрел в душевую.

— Не высыпается, не привык,— с улыбкой проводил его взглядом Володя, и хоть Саня не понял пока, к чему нужно еще привыкнуть Коркину, он почувствовал, что не все так просто и легко на неспешном этом буксире, плывущем мимо беспечных берегов.

— Ну а мне куда? — спросил Саня. — Мне-то кому помочь?

— Молодец! — с удовольствием сказал Володя, тряхнув чубом, чтобы прогнать сон. — Понял... А помоги-ка ты, брат, тете Дусе.

Саня вышел из рубки на белую верхнюю палубу, кинул еще раз взгляд на берега, на Оку, подышал запахами нагретого корабля — железом, краской — и неловко, бочком, держась за поручни, спустился по очень крутой лесенке на вторую палубу.

Как раз Коркин выбрался откуда-то снизу, из душевой — не посвежевший, а, наоборот, распаренный. Обмахиваясь полами тяжелой брезентовой куртки, под которой у него ничего больше не было, он блаженно постоял под ветерком, потом, застегиваясь, сказал:

— Ну, я в кочегарку! Не хочешь?

— А мне Володя к тете Дусе велел, — нерешительно ответил Саня, ожидая насмешки, презрительной гримасы от этого морячка: кому же хочется к плите, к горшкам да кастрюлям? Но Коркин впервые за это утро посмотрел на него по-доброму и сказал по-Володиному:

— Молодец! — А потом добавил свое: — А ты сумеешь, а? Ежели что — крикни, я мигом.

И, покачивая узкими плечами, загремел ботинками по железу. Догредев до узкой, совсем по нему сделанной дверцы, оглянулся, мигнул, ухватился за поручни, лихо поехал куда-то в дыру ногами вперед.

Саня один, без провожатых, медленно пошел по пароходу, внимательно и неспешно ко всему приглядываясь и много замечая. Вот просторная каюта, в которой они завтракали. Тут телевизор, книги в шкафу, журналы на столе. Чисто, как и положено на корабле, но почему-то любимые Санины «Крокодилы» не засалены, не залистаны — так и лежат свежей стопочкой, будто только что из типографии. И кроссворды в «Огоньках» не исписаны, и телевизор накрыт слишком уж наглаженной скатеркой... Что-то больно чисто, что-то все как-то аккуратно, словно в музее. Неужели некогда людям после вахты посидеть тут, в тишине, в уюте, почитать газеты, поглядеть футбол, дружно болеть за «Спартак»?

Повариху тетю Дусю нашел он в тесной горячей

кухоньке, где шипа и свиста было побольше, чем в машине.

— Здравствуйте, а я вот...— сказал Саня, когда женщина в тельняшке повернула к нему багровое потное лицо.

— Как хорошо, миленький ты мой! — обрадовалась она.— Бери-ка картошку!

И кивнула на белый бачок. Больше разговаривать ей было некогда: что-то забулькало на тесной плите, поднялся пар до потолка.

Саня схватил бачок и притиснул к животу, выскивая, куда бы примоститься.

— На улицу, на улицу,— крикнула тетя Дуся, не поворачиваясь. Он потащил бачок на палубу.

— Так, так, привыкай,— проходил мимо заспанный Гриша-капитан.

И не успел Саня моргнуть, Гриша притащил откуда-то табуретку, похлопал мальчишку по плечу и легко взбежал наверх, в рубку. А из рубки спустился Володя. Тоже поглядел, тоже сказал насчет привыкания и остановился было, но Саня решительно прогнал его:

— Я сам, а вам отдыхать нужно!

— Нужно,— ответил Володя, присаживаясь на корточки над бачком.— Только днем тяжело: не сразу уснешь. Едва задремал—вставать пора. Ночью полегче...

— И так все лето?

Представил Саня длинную цепь Володиных дежурств, короткий, перебиваемый вахтами сон. Может, потому и Семкина постель не убрана — некогда Семке. Может, поэтому и ботинки свои Коркин не шнурует — шлепает без завязок, чтобы не терять драгоценные минуты, отведенные для отдыха?..

— И так все лето,— ответил Володя, выскивая картошку покрупней.— А куда денешься? Работа такая. Тетя Дусь! Дай-ка ножичек!

Тетя Дуся и ножичек дала, и кастрюлю огромную — под очищенную картошку. И минуту-другую постояла, любуясь, как вьется тоненькая непрерывная стружечка из-под Володиного ножа.

— Я ведь без папы-мамы жил-то,— пояснил Володя Сане.— Чему только не научился!

— Такой парень! — похвалила тетя Дуся.— Женится — вот девке какое счастье подвалит!

Володя засмеялся, блестя молодыми зубами, а Саня все смотрел и смотрел на ловкие его руки, в которых, как заведенная, вертелась картофелина, легко расставаясь с кожурой. И так жалко стало вдруг мальчишке, что ласковый, добрый Володя не старший брат ему, не дядя — совсем чужой, а и вроде уж не чужой. Саня поглядел в Володиные усталые глаза, поймал ответный взгляд, полный участия и понимания, и на миг, сам того не желая, прижался к Володиному плечу, даже потерся об него и тут же отодвинулся. Цепочка под Володиной картофелиной дрогнула, оборвалась.

— Ох ты,— сказал Володя.— Не вышло. А ты? Попробуй.

Саня попробовал — получилось тоже неплохо, и тетя Дуся, примолкнувшая было, обрадованно пропела:

— А ты тоже парень, видать, деловой.

— Деловой,— поддакнул Володя, и встал, и вроде бы невзначай коснулся ладонью Саниных волос.— Ну, я подался, ребята!

И тетя Дуся и Саня дружно закивали: да, да, уходи, Володя, отдыхай, поспи, если сможешь, в тесной душной своей каютке, хотя какой уж сон на жаре, да в железе!

7

Пока Саня чистил картошку, тетя Дуся успела сварить борщ, вымыть пол в каюте и, попросив мальчишку открыть воду, полила из шланга горячую палубу. Наконец приняла полный бачок вымытой картошки, постояла над ним, словно в изумлении.

— Будет теперь ребятам картошечка — давно просят. Спасибо тебе, миленький мой!

И Саня, кажется, понял, за что такое огромное ему спасибо: без него разве смогла бы тетя Дуся управиться, когда у нее такое хозяйство, а руки-то только две, да и те немолодые, работой изломанные.

— А теперь отдыхай-ка,— сказала повариха.— Помойся и отдыхай, тревожить тебя не станем.

А вот это последнее она сказала, пожалуй, зря: Саня вспомнил опять, что он только гость у хороших хозяев, которые не хотят его утруждать работой — жалуют.

— Спасибо,— сказал он и пошел не в душ — в кочегарку, где трудился Коркин. Но тот сам неся ему навстречу — в одних плавках и кедах, высоко вскидывая мохлястые ноги.

— Давай! — запаленно крикнул, пробегая мимо Сани, обдавая его ветром и запахом пота.

«А что давать?» — Саня недоуменно двинулся за бегуном, который, обогнав его, кругами носился по палубе. Он шумно дышал, широко открывая большой рот. Никто не удивлялся. Гриша-капитан спокойно смотрел из рубки, только шкипер на встречной самоходке покрутил пальцем у виска.

— Закаляется,— пояснила без улыбки тетя Дуся, а Иван Михайлович, запихивая рубаху в штаны и глядя на Саню недовольно, повторил:

— Закаляется.— И добавил: — Молодец!

Бегун наконец остановился на корме и, напрягая мускулы, потащил на грудь скат от вагонетки. Дотащив раз, другой и третий, бросил с грохотом, поглядел на Саню деловито:

— Давай!

Саня оглянулся: Иван Михайлович строг и непроницаем. Саня вприщурочку посмотрел на самодельную штангу и, прикинув вес ее, ухватил вдруг, начал, покряхтывая, высоко вскидывать над головой.

— Молоток! — закричал Гриша-капитан, высываясь из рубки.

— Молодец,— удивилась тетя Дуся, и Саня очень пожалел, что его не видит Володя.

Он положил штангу на место, вытер пот. Коркин стоял, разинув рот и моргая светлыми глазами. С длинного носа его капало. Саня пожалел его: и зачем только он связался с этой штангой! Осторожно покосился на Ивана Михайловича: тот вперевалячку надвигался на него. Надвинулся, нагнулся и, схватив штангу одной рукой, стал играючи подкидывать ее. Коркин обрадованно завопил:

— Один, два, три!..

— Пожалей железо,— вышел на палубу, видно разбуженный криками, Володя, когда Иван Михайлович уже работал другой рукой, а Коркин охрипшим голосом досчитывал до сотни.

Иван Михайлович швырнул колеса на палубу и,

показав народу что-то вроде ухмылочки, сказал небрежно:

— А чего ему делается-то, иному лодырю? Нагуляет пузо-то... Не работает, а так...— И посмотрел на Коркина: — А ты, трудовой человек, не на базарах шляешься, естественно...

— Естественно,— пробормотал Коркин, и всем стало как-то скучно, захотелось разойтись по углам.

И разошлись: Иван Михайлович — в машину, Коркин и Володя — отдыхать. Саня остался один под солнцем. Чтобы тоска не навалилась, поднялся к Гришка-капитану. «Можно?» — спросил, кивнув на черный тяжелый бинокль, и, получив разрешение, поднес его к глазам. Увидел совсем рядом зеленые палатки в зеленой тени, шоколадных мальчишек и девчонок. Покосился на Гришу-капитана — беленький... Удивился, положил осторожно бинокль. Как же так? На воде, под солнцем, а беленький? И Коркин вон тоже белый, аж до синевы... И Володя. Саня посмотрел на свои руки: загорели они только по локоть, а выше — совсем светлые, пузо бледное. Понятное дело: ему-то некогда на песочке у реки прохлаждаться — отец, хозяйство. А эти?..

— И пристать нельзя? — как бы сам с собой рассуждал мальчишка.

— Пристать? — услышал, понял его Гриша-капитан. — Как же пристанешь, когда мы с барками? Гляди, как напирают — только держись! А когда против течения идем — назад тащат, а когда уж сверху — того и гляди, чтоб не смяли. Когда сверху идем — цепочки бросаем.

— Какие цепочки?

— Да вон на корме лежат...

Саня разглядывал свернутые кольцами огромные цепи. «Волокуши,— размышлял.— Ход замедляют. Вроде тормоза...» И подумал, как же таскать эти «цепочки», которые не под силу и Ивану Михайловичу.

— Отдыхай,— сказал Гриша, но Саня покачал нечесаной, непромытой головой.

— Не отдыхается мне... Все думаю...

Гриша-капитан отвернулся, сунул сигарету в рот, нахохлился на своей табуретке. Саня посмотрел на него, сухого и горбоносого, похожего то ли на пирата, то ли на Челкаша.

Река закруглялась, и баржи стало прибывать к берегу.

— Ой! — испугался Саня.

— Ничего, тут не страшно, — оглянулся на него Гриша.

— А где страшно? — посмотрел мальчишка на тугой и, казалось, зазвеневший от напряжения трос.

— Дальше похуже, — рассеянно ответил капитан, не сводя глаз с каравана. — И куда, куда он лезет?!

Задняя баржа уже скребла бортом высокий глинистый берег, и какие-то мужики на ней суетливо отпихивались багром. Гриша приказал сбавить ход, пароход еле шлепал колесами. На мостик прибежал Володя, взобрался сюда же и Коркин в плавках, остановился, запихнув руки под мышки. Смотрел от борта Иван Михайлович, смотрел очень недовольно: что-то там делали не так, не по его. Покачал головой и убрался в машину, которая пыхтела с натугой. По-прежнему баржа царапала берег, над которым с криком вились ласточки. По-прежнему мужики на барже норовили отпихнуться баграми — они не кричали, не шумели, работали молча, видно, понимая друг друга с полуслова. Так же трепыхалось на веревках бельишко, и только ребята не бегали по борту — стояли, смотрели и тоже помалкивали, пока взрослые справлялись с напастью. Наконец полоса воды между берегом и баркой стала увеличиваться. Народ разошелся по местам. Гриша вытер взмокшее лицо и сказал Сане очень тихо и очень серьезно:

— А лучше нашего дела на свете ничего нет. Я, например, с подростков плаваю. Сперва вот так же, на барже, с отцом...

— С отцом... — эхом откликнулся Саня. — А где он?

— Да так, брат, случилось... Мальчишка тонул — он и кинулся. Мальчишку-то спас, а самого — под лед... Весной дело было, мы на ремонте стояли, а мальчишка на льдине решил... Хороший парень, на тебя чем-то похож... Он сейчас уже в армии служит...

— А этот, ну, Иван Михайлович? — спросил Саня после долгого молчания.

Гриша покусал сигарету, ответил как-то нехотя, нерешительно, словно сомневался, стоит ли знать все Сане, человеку, пока что неизвестно какому.

— С ним сложно... Понимаешь, всю жизнь мечтал

о морях да океанах, а пришлось тут вот, на речке. Поэтому и обиделся... А на кого обижаться? Отец его — пьянь, семья большая, мать из сил выбивалась — вот Иван Михайлович и тянул как вол, пока всех сестер и братьев в люди не вывел. У него, знаешь ли, они в большие люди вышли, артисты есть, ученые... А сам... Он ведь капитаном дальнего плавания хотел быть — не пришлось... У него, если б ты видел, вся каюта картинками оклеена — белые океанские теплоходы...

— А у меня и лодки не было, — вздохнул Саня. — Отец воды боится как огня...

— А ты?

— Я речку люблю... Вырос на ней... Утром к окошку подойдешь, а мама...

Разговор прервался, долго молчал Гриша-капитан, пока не нашел новую ниточку:

— А если определим тебя в училище? А? Летом вместе поплаваем, ты практику у нас пройдешь, а? Хорошо ведь?

— Не знаю, — искренне ответил Саня. — Куда мне от него... Я, пожалуй, на берег сойду, а?..

Гриша положил крепкую и неожиданно тяжелую ладонь на Санино плечо:

— А что у тебя там, на берегу-то?..

— А у вас что там? — спросил Саня и, увидев, как заискрились Гришины глаза, позавидовал его светлой радости.

— Жена там, сын, — застенчиво поделился этой радостью Гриша-капитан, и мальчишка помрачнел. — Ну хорошо — на берег так на берег! — быстро сказал Гриша. — Вот дотянем караван, бросим барки в Серпухове, новые подцепим, и обратно в Коломну. Там и сойдем. Чего уж посередке-то?

— Ладно, — кивнул Саня. «А пока дед Кузьмин присмотрит...»

— Знаешь что, а поди-ка ты к Карпычу, — сказал Гриша таким веселым тоном, словно посылал человека на праздник.

«К Карпычу так к Карпычу!» Саня повернулся и пошел, чувствуя тяжелый Гришин взгляд.

Карпыча Саня видел мельком и вниманием своим обошел: чего интересного в потертом старом дядьке,

про которого Коркин сообщил мимоходом и с пренебрежением: долго кантовался на берегу, а теперь, поближе к пенсии, решил сделаться кочегаром — пойти по горячей сетке.

— Здравсте,— сказал Саня будущему горячему пенсионеру, подходя к кочегарке.

Карпыч, сидящий на корме, на закрытой брезентовой шлюпке, повернулся, поглядел непонятно — у него кепка всегда надвинута на нос,— буркнул что-то. Сане стало почему-то весело, он сел рядом с Карпычем, зорким молодым глазом подмечая и просаленную Карпычеву шкуру — куртку да широкие брюки, которые, видно, не стирались и не снимались сто лет, и бутсы на ногах, которые, как и у Коркина, были тоже без шнурков: видно, с печки прямо в валенки.

— Красивый берег,— звонко сказал Саня, и Карпыч с видимой досадой встал, повернулся боком к берегу и к Сане — сутулый, пузо вперед арбузиком, руки в карманах.— Что? Не понял...

Карпыч опять что-то пробурчал, и Саня уловил теперь одно словечко, сказанное особенно сердито: «К черту!» Может, словечко это относилось к береговым красотам, а может, и к мальчишке, который невесть зачем отирается на пароходе и неведомо для чего пристает к занятому человеку.

— Я не сам,— сказал Саня старику.— Гриша велел.

— Зачем? — угрюмо спросил Карпыч.

— Помочь...— с удовольствием смотрел Саня на пузатого и тощего Карпыча, дивясь этому великолепному несоответствию.

— Ты?

— Я.

Карпыч долго молчал, шевелил губами, потом, бросив Сане в руки брезентовую куртку, сказал с многозначительной расстановкой.

— Ну... тогда... полезли!

Саня в последний раз огляделся, глотнул свежего воздуха и следом за Карпычем опустился по гремучей лесенке в самую утробу корабля, в пекло. Переведя дух, огляделся: ну и что, жить-то, оказывается, можно. Ничего страшного в кочегарке, даже не слишком и жарко. Чисто, светло. Две топки, смотреть в них через круглое окошечко — глазам больно. И гудит: это две

форсунки со свистом впрыскивают в огонь распыленный мазут.

Карпыч стоял у котлов довольный:

— Что, жарит?

Саня пожал плечами — куртка спадала с них, рукава были длинноваты.

Карпыч еще ниже надвинул кепку на острый нос, заговорил повнятней:

— Это еще что, а вот раньше...

Повернулся к Сане сутулой спиной, что-то делая возле топок.

— Что раньше? — спросил в эту спину мальчишка.

— А ничего. Лопаткой шуровали. Вот ад был крошечный. Песню знаешь: «На палубу вышел, сознания уж нет»?

«Ты шуровал,— вспомнил Саня коркинские слова.— Ты всю жизнь бегал. Вот Гриша — тот хватил лиха, Иван Михайлович — тоже, а ты...»

Чтобы не молчать, Саня ткнул пальцем в какую-то трубу:

— Что это?

— Труба!

— Какая, зачем она нужна?

— «Зачем, зачем»! Для нады! Много будешь знать — скоро состаришься! Давай-ка лучше бери вон тряпку да протри эту трубу. И не суетись — помаленьку до всего доходи. Гляди, запоминай...

«Сам не знаешь!» — подумал Саня, глядя, с каким важным видом старик подкручивает вентили и постукивает по манометру.

— А долго? — спросил он, горячо налегая на тряпку.

— Чего долго? — недовольно проворчал Карпыч.

— Ну, это, доходить-то до всего?

— А-а... Ты, я вижу, шустряк, парень... Смотри, штаны лопнут от шустрости... Хватит, хватит для первого раза. Лезь-ка наверх, нечего тут...

Они полезли наверх. Карпыч невнятно стал втолковывать про автоматику и горючее, а когда запутался, сердито закончил:

— Вот так, значит, и вкалываем! Тут, значит, сердце корабля — котел!

— Корабли! — пробормотал Саня, снимая куртку с мокрых плеч и отдуваясь. — Разве ж это корабль?

— Да уж какой есть! — разборчиво отрезал Карпыч. — А не нравится — не лезы!

Саня сказал «до свидания» и побрел в каюту, но на пути повстречался с Володей, глядящим недобро.

— Ты... это... не дразни старика, не надо, — попросил штурман и еще раз повторил: — Не надо.

Саня оглянулся. Карпыч сидел на своей шлюпке, уткнувшись взглядом в корявые ботинки и опустив меж колен ладони. Саня, искоса поглядев на эти ладони, тяжелые и черные, подошел вдруг к старику:

— Ну ладно, я так... Вы уж не надо... Корабль так корабль...

Карпыч шевельнулся.

— Глупый ты, малый... Вот что...

— Давай в душ и обедать, — приказал Володя мальчишке, и тот ответил невесело:

— Ага.

И Карпыч сплюнул за борт, услышав такой скучный ответ, когда речь шла о хорошем деле.

В душевой Саня столкнулся с Иваном Михайловичем.

— Становись, пока свободно! — сказал механик, занимая одну кабину, и Саня, раздевшись, пошел в соседнюю.

Ах, как славно побежал теплый дождичек по уставшей спине, как ласково коснулся волос! Стоять бы так, подняв руки и ощущая пальцами тугие струйки, долго-долго.

Но показалась голова механика в белой пене, мускулистая его рука с куском мыла.

— Держи, коломенский!

И полотенце запасливый Иван Михайлович отыскал для Сани, и даже помог ему вытереть спину — Саня почувствовал, какая сила в железных лапах механика.

— Спасибо, — сказал, невольно оробев.

— Ничего, — ответил Иван Михайлович, розовенький и будто бы не такой уж сердитый, как всегда. И чтобы как-то отблагодарить его за мыло, за полотенце, за теплый, ласковый душ, Саня сказал:

— А хорошо у вас... Чисто.

— Чисто, — согласился Иван Михайлович, глядя поласковой. — Это тетя Дуся. Молодец она.

— И в машине здорово... Интересно.

Иван Михайлович улыбнулся:

— Правда, что ли, понравилось?

— Правда! — Саня очень понравился улыбчивый Иван Михайлович, и, чтобы подольше оставалось лицо механика таким же светлым, он быстро продолжал:

— И в кочегарке, я думал, жарища, а там ничего, жить можно. И Карпыч, видно, мужик хороший!

Саня замолчал — лицо Ивана Михайловича опять одеревенело.

— Вымылся — и ступай! — сказал он неприязненно.

За обеденным столом механик сидел надутый, на Саню поглядывая недоверчиво, словно бы ожидая какой-то нелепой выходки, а тетя Дуся вовсю расхваливала новенького: такой уж он дельный да умелый, такой уж понятливый помощник! Вот и картошечка — его, его рук дело!

Карпыч, уминая картошечку, хмыкал, но на Саню поглядывал помилей. А после второй миски, отвалясь, сказал:

— Корабль не корабль, для кого-то, может, и плох, а только все равно сердце имеет. И ласку понимает. А главное в нем котел, а значит, мы с тобой, парень... Мы всему движение даем... А потому человеку нашей профессии много знать надобно, так?

— Так, — отвечал Саня, несколько ошарашенный этим «мы», поглядывая на серьезного Володю, на Ивана Михайловича, на тетю Дусю, накладывавшую миску для Коркина, который у котлов, и для Гриши — он у штурвала.

— А раз так, значит, ты остаешься! — за Саню решил Карпыч. — Я беру тебя: ты парень ничего, старательный.

— Нельзя так-то сразу, — недовольно сказал Иван Михайлович, и Саня понял, почему он недоволен: нечего Карпычу встревать вперед начальства. — Тут всякие сложности имеются...

— Да ладно тебе! — перебил его Володя. — Парня надо к делу определять! Ты же знаешь!

— Знаю, — кивнул Иван Михайлович. — Я и говорю: определять к настоящему делу, а не к Карпычу! Чему он научит?

И тихо, нехорошо стало за столом, словно сказанул Иван Михайлович что-то недозволенное. Громяхая ми-

сками, неуклюже полез из-за стола Карпыч — к своей заветной шлюпке, курить там, плевать в воду, сутулиться.

— Эх, ты! — бросил Володя. — Думай, прежде чем ляпаты!

— Да я, — пробормотал Иван Михайлович, и вид у него был виноватый. Только ненадолго — через минуту механик снова сделался сердитым, будто не он, а все вокруг него провинились и за это им необходимо сделать внушение. — Я не ляпаю! Я говорю, как есть!

— Ваня, Ваня, — сказал Володя тихо. — Не всегда и как есть говорить надо...

— Нет! — Иван Михайлович вскочил, кинулся запихивать рубаху в штаны, а запихнув, продолжал: — Нет! Говорить надо, как есть! Правду! — И вдруг повернулся к Сане. — Ну?

— Что? — растерялся мальчишка от неожиданного и непонятного «ну» Ивана Михайловича.

— Решил? Если решил — говори. Сразу. Обещаю тебе помочь. Речника из тебя сделаю, а там... — Глаза его затуманились, и Саня понял, что увидел механик «там»: наверное, бескрайнее море, белые корабли...

— Мне нравится, — сказал Саня, и механик заморгал, прогоняя видение, снова сделался сухим и официальным.

— Хорошо! Завтра в конторе оформим!

«Оформим» и «контора» напугали мальчишку — Саня беспомощно взглянул на Володю.

— Ничего, ничего, — успокоил тот. — Завтра подумаем... Иди отдыхай...

Саня лежал на койке, когда в каютку ворвался Коркин с полотенцем через плечо. Плюхнулся к нему на постель — рот до ушей, глаза — щелочки.

— Молодец! Я знал, что ты наш! Я сразу увидел — у тебя интерес ко всему! Ну и заживем мы с тобой! И в училище вместе, а? Вот здорово!

Он махал руками, говорил, говорил, а Саня лежал и думал, что неплохой, видно, человек этот неуклюжий Коркин, о котором он ничего пока не знает.

— Хочешь, койками сменяемся, а? — предлагал уже Семка. — Тут получше, у окошка-то.

— Да ничего, спасибо...

Семка предложил и тумбочку его забирать «безо всякого», и «вообще»...

— Спасибо.— Глаза у Сани слипались, а Коркин, видно наскучавшись без ровесника, уже выкладывал ему все: про дом и огород в деревне под Серпуховом, про маму и батю, «которые в совхозе вкалывают», про Нюрку-соседку...

— В которую ты втрескался,— подсказал Саня, и Коркин радостно вытаращил глаза:

— Точно! Вот так, по уши! Она меня встречать приходит! Увидишь! Хорошая девчонка!

— Хорошая,— легко соглашался Саня, и жизнь в самом деле казалась ему не такой уж сумрачной, и захотелось вместе с Коркиным и Володей и вместе с этим чудным Карпычем плыть до Серпухова, до Коломны, встречать, как они, рассветы и закаты и ни о чем не думать.

И он уснул, успокоенный, под шип и шлепанье, под мерное покачивание.

8

Ночью приснилась мама: сидит будто под любимой своей яблоней возле грушевого чертенка и гладит его, а этот грушевый уж и не чертенок вовсе, а отец — смотрит, смеется вовсю. «Чего ты, чудачок, смеешься? — спрашивает мама.— Проглядел сына-то и рад...»

Саня проснулся в холодном поту. Сел на койке.

— Семка!

Никто не отозвался. Тускло поблескивало стекло иллюминатора, плескалась волна за бортом, шлепало колесо и шипел пар. «И так каждый день?» — убито подумал Саня, и стало ему одиноко и горько. Неужели каждый новый день будет все одно и то же: эти плески и шипы, эта железная палуба, каюта в четыре угла?

Вспомнились берег, песок, тихая улочка, двор, сад, грушевый чертенок, Шарик.

— Батя,— сказал Саня и, всхлипнув, кинулся одеваться. Напялил свои затертые брюки, нащупал стоптанные туфли, натянул рубашку и без топота выбрался на палубу.

Было ветрено и свежо. Низко плыла за пароходом луна. Желтели огни на мачте. Красным глазом мигнул бакен, и тревога одолела мальчишку. Показалось, что

много дней и ночей плывет он на «Перекате» неведомо куда и непонятно зачем, а дома, может, больной несчастный отец ждет его помощи...

Саня поднял голову, в рубке краснел огонек сигареты. Гриша... На шлюпке сидит, клонит голову Коркин. Эй, не спи на вахте...

Саня на минуту спустился вниз, в каюту, нашел клочок бумаги, карандаш, хотел написать несколько слов и задумался надолго — слов таких не находилось. Наконец Саня нацарапал: «Володя! Простите вы меня за все, но я больше не могу. Спасибо за тепло и ласку, но я не могу оставить отца одного. Прощайте. Ваш коломенский».

Шевельнулось в душе то ли раскаяние, то ли сожаление, шевельнулось и не ушло вдруг — оплело душу надолго. Саня постоял с запиской в руке, положил потом ее на Семкину койку и вылез опять из душной, но такой надежной каюты на ветер, в ночь. Коркина на шлюпке не было — видно, полез в кочегарку. Саня быстро разделся на корме, связал в тугой узел одежду, укрепил его на голове ремнем — не впервой, так частенько переплывали они Оку раньше, еще при маме... Мама, бывало, ругалась, когда узнавала...

Саня на руках спустился с палубы, повис, коснулся голыми пятками жесткой воды — она рванула, и Саня разжал пальцы. Понесло в черноту, под тупой грузный нос баржи. Он вмиг перевернулся на спину — ногами к барже, оттолкнулся вовремя. Мимо, царапая и норовя затянуть, пронесся осклизлый борт с привязанными к нему покрывками. Потом мелькнул кормовой огонек. Саня покачивался на волнах, уже здорово сглаженных баржами, отплевывался, переживал только теперь родившийся страх. Отдышавшись, неторопливо, экономя силы, поплыл к берегу, чернеющему недалеко.

В воде было тепло, а в росных кустах зябко. Лязгая зубами, прыгая в ознобистой траве на одной ножке, Саня натянул мокрую одежду, вколотил ноги в разношенную обувь и рысцой побежал белеющей во тьме тропкой высоким берегом реки. На повороте оглянулся. Чернея, далеко тащился караван, пытел, шлепал колесами «Перекат».

— Ну и все, — сказал сам себе Саня и опять побежал, не пугаясь кустов и перелесков.

Часа через два затарахтел позади мотоцикл, и он поднял руку.

— Далеко, рыбачок? — спросили из тьмы, ослепив его лучом.

— Мне бы до Коломны, — жмурясь, ответил Саня. — До Сосновки...

И, уже сидя в теплой коляске мотоцикла, он, как давний сон, вспоминал пароход, Карпыча, сердитого Ивана Михайловича. А когда в заревом розовом свете показались вдали старые коломенские церкви, задымили знакомые трубы и вот уже появилась милая ржавая родная крыша, Саня начисто забыл и пароход, и Карпыча, словно их и не было вовсе.

— Ну, мне сюда! — остановился на повороте мотоциклист.

— А мне туда! — весело ответил Саня, отдавая ему шлем. — Спасибо!

— Бывай!

Обдав мальчишку пылью и бензиновым духом, мотоцикл укатил.

— Здравствуйте! — сказал Саня родному городу и поселку и зашагал широко, радостно.

Вот и улочка, еще полная тишины, сырости, яблоневых запахов. Вот и калитка. И свет в кухонном окошке.

— Иди-ка, Шарик, не мешайся, погоди...

С каждым шагом пропадала радость, а когда Саня вошел на кухню, сожаление, родившееся еще там, на «Перекате», сдавило горло так, что захотелось плакать.

Ничего не изменилось в доме, да и что должно было измениться! Грязный стол, лампа без абажура. Отец над столом.

— Батя...

Он слегка повернул голову. Не пьяный, не трезвый — застывший.

— А-а, — протянул равнодушно, словно Саня на минуту выходил в сарай или в огород.

— Не спал, что ли?

— Не спал, — так же равнодушно ответил отец. — Не хочется...

— Прилег бы, батя! — Саня поднял странно отяжелевшего отца, повел в комнату.

Тот послушно лег и пролежал молчком до гудка,

глядя в потолок, не отвечая на вопросы сына. Едва проревело — поднялся, сел на постели, свесив грязные босые ноги. На небритых щеках серебрилась щетина: что-то рано начал отец стареть.

— Петрович, встал, что ли? — загремел по дому дед Кузьмин. Увидев Саню, горестно скосил глаза на отца: каков?

Таким странным отец еще никогда не был. Что с ним? Заболел? Обиделся на него, на Саню?

— Папка!

— Да, да, я щас! — ответил быстро и продолжал сидеть, уронив на колени руки, словно уж и не нужны они никому.

«Может, и вправду лечить его?!» — с отчаянием посмотрел на деда мальчишка, представляя светлые палаты, строгих врачей и белые простыни — совсем не такие, как у них.

«Лечить? — сомневался Кузьмин. — Поможет ли? Есть ли лекарство от тоски?»

— Хорош, — добродушно заворчал дед, сиюсь расшевелить отца. — Вот бы жена на тебя поглядела.

— Жена? (Саня видел, как трудно отцу собрать воедино мысли и как мучается он от этого.) Жена... Нету у нас, Сань, мамы... Все...

«Все... Неужели все?!» — с ужасом смотрел Саня на чужого, убитого горем человека, который даже не спросил, где пропадал сын, и, верно, не хочет вообще видеть этого сына, тяжело уткнулся в пол — трезвый, а хуже запойного.

Неужели не будет больше того веселого и делового человека с золотыми руками и добрым взглядом? Ведь и прошло-то после маминой смерти так мало времени! «Слабый», — твердит дед Кузьмин. А разве слабый не может стать сильным?

— Батя! Ну что ты в самом деле! Опомнись! — Саня упал перед ним на колени, схватил отца за руки. — Ну, хочешь, я сам тебя отведу?

Отец медленно повел глазами на окно.

— Куда? — спросил безразлично.

— Ну, это, лечиться!

Сказал и замер: а ну как опять зашумит на него отец? Но тот был тих и покорен.

— Да, да, надо лечиться... Ты прав, сын...

Саня уткнулся в колени отца, а тот гладил сына, повторяя за ним:

— Да, да, я не пропащий... Да, надо взять себя в руки, забыть... Забыть все... Работать, жить... Чтобы она радовалась... наша мама... радовалась... Да, а сейчас на завод... Я пойду... Отдохну и пойду... Да, все будет хорошо.

Саня встал, поглядел просветленно на деда Кузьмина, почему-то мрачного. Не верит? Но ведь отец давал твердое слово. Он сможет!

— Ну что ж вы? — просил поддержки Саня, но дед упрямо молчал, наблюдая, как сын одевает отца, как помогает ему умыться, подает полотенце, застегивает пуговицы на рубашке, надевает кепочку на посвежевший чубчик: «Хорош? Хоро-ош!»

И отец вроде оттаял от рук, от глаз, от слов. Остановился посреди комнаты, покашливая:

— Пошел я?..

— Иди, батя! Я провожу.

— Нет, нет! — впервые не согласился и даже испугался тот чего-то. — Я сам! А ты, это, по хозяйству... — Затаптался, разглядев наконец-то сына. — Вырос, Сань... Увидела б тебя мама...

И пропал человек! Стоял перед Саней, растекался в слезах мальчишка, в кепочке, с чубчиком, восковой и слабый, — делай с ним, судьба, что хочешь!

— Папка!

— Саня... Как же мы одни-то, без мамы... Пропадаем совсем... А?..

— Ну и хватит парня мучить! — прикрикнул дед Кузьмин. — Напустил на себя! Эгоист чертов! Только о себе и думаешь, печаль свою пестуешь! А ты об сыне подумай! Что ж ему-то тогда делать, коли ты сам за себя постоять не можешь! Эх, дать бы тебе!

Отец даже пригнулся — так широко взмахнул дед Кузьмин трудовой своей лапой. Но слезы пропали — помогло.

— Сердитый... Ну, я пошел! — уже нормальным голосом сказал отец.

— Да уж давно бы ушел! — буркнул дед.

Отец пошагал успокоенно, Саню, рванувшегося следом, дед Кузьмин попридержал за руку:

— Видал, опомнился. Нет, Санька, нельзя его жалеть. Смерть это, жалость-то. Привык он с нянькой.

Привы-ык... А если без нее, а? Ежели хоть на недельку-другую оставим мы его без няньки? А то, понимаешь, больно легко ему живется...

— Да что вы? Плохо ему! Он... он слабый!

Но дед Кузьмин уже ухватил в горсть подбородок, глаза его стали хитрее, чем у лешего.

— Сла-абый,— протянул он.— На таком слабом пахать... Погоди-ка, а не поехать ли тебе на недельку к моей сестрице в Москву. А? Или хочешь — в лагерь тебя определяю? Через завком путевку достану.

— Спасибо... — покривился Саня.— Достали уж...

— Ну ладно, еще потолкуем, отдыхай пока...

Дед Кузьмин ушел, похмыкивая, покачивая головой. А Саня в сопровождении Шарика обошел заброшенный, как-то вдруг заросший сад, поглядел на грушевого чертенка, на лишайники и паутину, на бледные тонкие поганки в чащобе и, обойдя, остановился было в растерянности.

Шарик заскулил — потерянно, безнадежно.

— Цыц! — прикрикнул Саня.— И ты туда же? Ну нет же!

И, схватив косу, пошел сшибать буйную крапиву, молодую зеленую бузину и чертополох. Густо запахло сочной травой, запищали полевки, легкое серебро одуванчиков поднялось в воздухе.

Дед Кузьмин и бабка Марья приспели ко времени: в доме был полный разгром, а среди опрокинутых стульев в луже воды стоял с тряпкой босой Саня и смотрел на них с вызовом.

— А и верно! — взяла у него тряпку соседка.— Может, у мужика и глаза ни на что не глядят, оттого и тоскует.

— От баловства, от мягкости нашей тоскует — кнута бы ему! — сказал дед Кузьмин и пошел трясти дорожки.

Не через час, не через два, а к вечеру, но заблестела изба чистотой. На сверкающих окнах умиротворяюще колыхались тяжелые «богатые» занавески бабки Марьи. К босым ногам деда Кузьмина ласкалась мягкая дорожка, заметно полегчавшая после выколачивания. Не на кухне, а в гостиной стоял застланный, сверкающий скатертью стол, а посреди его возвышался бабкин самовар с медалями. Самовар погудывал,

бабка Марья устало шурилась на него, а дед Кузьмин пока помалкивал, выжидал.

Уже давно прогудел завод, прошла смена, уплыли на своих моторках на выходные дни рыбаки, а отца все не было, и самовар устал гудеть. Но вот раздались шаги, и все подняли головы. Отец появился на пороге, и трое впились ему в лицо взглядами.

— Ну, сегодня ты молодец,— опережая деда Кузьмина, который начал было тяжело подниматься над столом, заговорила бабушка Марья.— Сегодня ты самую малость, чуть-чуть, ради такого случая...

— Цыц! — цыкнул дед на бабушку, и та замолчала. А дед потопал к двери.— Ну-ка! — Как неживое, отодвинул отца и, на пороге вогнав ревматические ноги в опорки, вышел на улицу. Не утерпев, стукнул по раме кулаком: — Убить тебя, Сережка, мало!

Отец остолбенело молчал, оглядывая скатерть, самовар, бабушку Марью в новой кофте.

— Ну и я, пожалуй, пойду! Бывайте! — тоненько пропела бывшая крановщица, зычный голос которой и сегодня помнили ветераны завода.— Пошла я, значит, а вы тут, это...

Соседка исчезла.

Отец, едва заметно пошатываясь, прошел по дорожке, осторожно сел к столу, взглянул на свое широкое отражение в самоваре.

— Помнишь, сынок, она тоже любила так вот, вечером, в саду... Она...

— Папка! — Саня хватил кулаком по столу.— Я ведь тоже человек! Пожалей ты меня!

Отец повел глазами на окна, на бабкины занавески, посмотрел на чисто выскобленный пол.

— Это ты... Вы это... для меня? Зря ты, сынок. Зря... Прости, если сможешь... Прости дурака. И пойми... Сам себе я не рад...

Саня стиснул зубы так, что они заболели. Неужели дед Кузьмин прав? Неужели прав? А если решиться, если суметь?.. Нет... Нельзя... Ну как оставить его? Что он может, такой бледный и одинокий?

Сын украдкой кинул быстрый зоркий взгляд: отец вроде бы уже успокоился, сидел смирно, шмыгая по-мальчишески носом. Он явно чего-то дожидался, и Саня понял, чего именно ждет отец: его утешительных слов, заботы, и внимания, и горячего чая, и булки

с вареньем, придвинутым к его немошной руке.

— Слушай-ка, батя,— странно медленно и странно спокойно заговорил Саня, и отец удивленно посмотрел на него.— Запомни, пожалуйста: картошка в погребе, масло и яйца — в холодильнике, мясо — в морозилке. Запомнил?

— Саня...

— Слушай, не перебивай. Я уезжаю. Может, долго — не знаю. Придется тебе побыть пока одному — привыкай уж, пожалуйста.

— Са-ань...

Мальчишка досадливо повел бровью, и отец с испугом увидел льдинки в серых его глазах — они поблескивали холодно, отчужденно, ребячий рот был тонок и зол.

— Помолчи, послушай! Я уезжаю. Куда — не все ли тебе равно? За газ, за свет дед Кузьмин заплатил — отдашь с полочки, если не пропьешь!

— Ну зачем ты так, Сань?..

— А пропьешь — сам отдам! Заработаю и отдам! Прощай!

— Са-ань... Сынок!

Только не оглянуться, не дать волю слезам — тогда конец, тогда все! В тумане плывет кухня, стол... Еще три шага, и вот калитка, забор — дойти, а там...

— Шарик, черт, ты-то еще тут! Отстань! И так тошно!

«А почему отец не бежит следом?» Нет, не надо, чтобы бежал, — тогда Саня не выдержит, вернется, а этого как раз делать нельзя!

— А-а, вот он где!

Сильные руки схватили мальчишку.

— Живой, черт?!

Володя, передохнув, отступил и вдруг влепил Сане подзатыльник — в голове зазвенело. Брызнули близкие слезы.

— Саня! — Володя затряс его, неживого. — Прости! Мы уж все передумали! Сбежал ночью! А если бы под барку затянуло?!

Саня вытер глаза ладонью.

— Не затянуло...

Из-за Володи выступил Коркин, закричал запоздало, с привизгом:

— А ну-ка еще тресни! Черт чудной! Бегай за ним! Я вон всю ногу стер!

— Да ладно, пройдет твоя нога! — Володя, подышав, пристально посмотрел на Саню. — Ну?

— Я не знаю, — безнадежным голосом ответил тот: он действительно не знал, что ему сказать на это тяжелое «ну» с таким огромным вопросом.

Оглянулся. Шарик, несмелый домашний пес, уполз безмолвно под крыльцо. Свет в окне дома погас. Стало темно вокруг. Темно и пусто. И дед Кузьмин куда-то пропал, и бабка Марья исчезла. Решай, Саня, — один за всех и за себя.

— Да ну его! — махнул рукой Коркин. — Я ногу вон...

Повернулся, побрел, хромая. Володя пошел за ним следом.

— Стойте! — не вынес муки мальчишка. — Я с вами!

Они не оглянулись, но замедлили шаги. Саня нагнал их и потащился позади, не смея поднять голову, заговорить. Так и дошагали до реки. Только когда сажались на катерок, на мокрые от росы скамейки, Саня на мгновение обернулся. Родной берег был пустынен и хмур... А впереди заметно светлело небо, клубился, рвался на воде легкий туман, играла, чуя близкое и славное утро, резвая рыбная молодежь.

— Ну и черт с ней! — негромко сказал Саня, прощаясь с прежней никчемной жизнью.

...Вдали на застывшей от жары реке показалась сперва темная точка, быстро разраставшаяся в бокастый пароход. Вот уже пенные усики видны возле острого носа, вот и труба выдохнула султанчик белого дыма. Низкий гудок раскатился над гладью — знакомый старческий, будто рассерженный голос.

— Встречают, — ни к кому не обращаясь, сказал Коркин и привстал, держась за ветровое стекло.

В другое время, может, и Саня гордо сидел бы себе рядом с мотористом, у самого руля, но теперь место ему — позади всех, на корме. Сиди, не рыпайся, жди, простят тебя или...

Катерок подвалил к борту парохода.

— Давай! — свесились дружеские руки, и один за другим двое вознеслись на родную палубу, третий маялся пока внизу. — А тебе что, особое приглашение? Давай!

Саня протянул несмелую руку, Иван Михайлович

ухватил — втащил. Очутился мальчишка один перед всеми, глядящими на него совсем, совсем не так, как глядели вчера. Покашливал, прочищал горло, Иван Михайлович. Сейчас откроет рот и начнет длинно, скучно говорить, как плохо поступил Саня и как хорошо нужно ему теперь жить, чтобы заслужить прощение.

— И долго мне тебя дожидаться? — закричал Карпыч, и Саня, не ожидавший этого крика, вздрогнул. — Одевайся и давай ко мне!

Иван Михайлович сморщился — очень не ко времени вылез из своей кочегарки Карпыч: только что придумал и произнес про себя механик отличную фразу, которую не дали высказать вслух!

Саня поспешно совал руки в рукава куртки, а Карпыч все бурчал и бурчал о грязных котлах, о непорядках в кочегарке, о том, что бросит он все к чертовой матери, потому что одному ему не разорваться.

— Ну скоро ты, что ли! — зашумел он на мальчишку и, не дожидаясь, пока тот застегнется, за руку потащил за собой. Сунул ведро и швабру — велел, чтобы пол в кочегарке блестел, как стекло.

Саня гонял шваброй грязную воду по железному полу и благодарил судьбу, что есть на свете такие вот кочегарки, в которых и тесновато, и темновато, и нельзя проводить общие разносные собрания. А Карпыч покуривал себе, сидя на милой шлюпке, изредка заглядывал:

— Ну, как?

— Все в порядке! — отвечал ему Саня, хоть никакого порядка в душе его не было — один хаос.

— Молодец! — невеста за что похвалил Карпыч.

А однажды вслед за «молодцом» сказал:

— Вылазь-ка! Обедать.

— Не! — сильно замотал Саня головой, и Карпыч сердито заорал: не хочет ли «малый», чтобы он выволок его к столу за волосы. «Малый» не захотел — «малый» смущенно улыбался, выползая на белый свет.

— Ты чего такой веселый? — пробурчал Карпыч, стаскивая с помощника куртку и подталкивая его к душевой. — Чему рад-то?

— Я не рад, — признался Саня. — Мне, честное слово, страшно.

— Во! — сказал с большим удовольствием Кар-

пыч.— Так и должно быть! Страшно! И совестно, да? (Саня закивал.) Во-во! Ну да, бог даст, обойдется,— сжалился старик, и Саня тихо, зато с большим чувством сказал ему:

— Спасибо...

9

— Вставай, коломенский! Будя дрыхнуть-то!

Коркин после Саниного побега только так и обращается к нему — рассердился, значит, сильно.

Саня проснулся уже, но глаз не открывает, будто спит: что он скажет в свое оправдание Семке-матросу, который уже не предлагает ему поменяться койками, ворчит, что залез он со своей зубной пастой на его полку в тумбочке, и про любовь свою Нюрку не рассказывает — не достоин беглец такой откровенности.

Шумно сопя и топая, Коркин ушел на вахту. Саня соскользнул с постели, быстро натянул рубаху, пиджачок и высунул голову в иллюминатор — он как раз рядом с колесом. Пахло водой, туманом, железом. А еще почему-то дегтем. Запахи удивительно чистые, свежие, Саня даже задохнулся. Берег только-только прорезывается из сумрака. Рядом с ухом, обдавая прохладой и брызгами, весело стучит, шлепает колесо.

— Приветик! — говорит ему Саня.

Туф-туф-туф! — отвечает колесо, бойко молотя воду.

В иллюминатор виден только кусочек неба: палуба нависает низко. Зато когда Саня вылезает наверх — красотища кругом невиданная!

Солнце будто взорвалось за облаком, осветило его края, брызнуло длинными лучами. Лучи аж до синего леса достают, до самого дна! А мимо плывут плесы, стелется сизый-сизый, какой бывает только погожим утром, дым от затухающих костров — эх, видел бы отец всю эту благодать!

Вспомнив про оставленное там, на далеком берегу, Саня опять запечалился и не сразу услышал голос Гриши-капитана.

— Что? — поднял брови.

— Прохлаждайся, коломенский! — Семка-матрос сунул ему швабру, и капитан укоризненно покачал головой:

— Перестал бы, Коркин. У каждого человека имя есть.

— А еще и должность имеется! — поддакнул Иван Михайлович, намекая: нету пока должности у Сани.

— Нету должности — будет, — проговорил капитан, зорко высматривая что-то в розовой дали, и Саня впервые подумал о той единственной своей должности, которая дает человеку уважение и независимость. У всех на свете есть эти самые должности, а он пока так себе — помогает всем помаленьку, ни от чего не отказывается и ни к чему не прикипает сердцем.

Не успел подраить палубу, как зовет повариха: ей кажется, что обижают большие маленького, она жалеет Саню и не скрывает своей жалости:

— Сыночек, иди-ка, миленький, помоги!

И пока Саня чистил картошку, так любимую Карпычем, тетя Дуся, утешая, напевала ему о добрых людях, на которых держится старушка земля. И Саня кивал, соглашаясь: много добрых людей на свете: и дед Кузьмин, и бабка Марья, и вот — тетя Дуся. И Карпыч, замызганный ворчун, тоже добрый, только почему так зло смотрит на него Иван Михайлович? Хороший человек и Володя, хороший и Гриша-капитан, и Коркин, так смертельно Саней обиженный, тоже парень, в общем-то, свой. Непонятен только Иван Михайлович. Непонятен сам себе и Саня. А его отец — он-то какой? Саня замер, повисла над кастрюлей, замерла тонкая стружечка — тетя Дуся глядит на нее осторожно, спрашивает негромко:

— Что ты, миленький?

— Тетя Дуся! — решается он. — А вот если отец, ну, как мой, выпивает там с горя, сам мучается и других замучил — он, что же, совсем уж плохой? И не добрый?

Тетя Дуся долго молчит, потом роняет тяжелые слова, будто камни бросает в воду:

— Тот человек добрый, кто для другого доброе делает. А он?

А он за последние месяцы ничего хорошего не сделал ни для сына, ни для дома, ни для себя самого.

— Но ведь отец же! Мой!

— Горемычный! — жалеет тетя Дуся и Саню, и отца его непутевого, а заодно и своего Семена Гордеича,

человека тихого, рассудительного, все в жизни делающего правильно, все, кроме одного, последнего дела, да и то не по его вине случившегося: зачем ушел в сыру землю, почему покорился болезни, на кого оставил вдову свою неутешную?

— Э-э, что-то вы, братцы, загрустили! — Володя всегда заглядывает к месту, к самому времени, когда и Саня закручинился, и глаза тети Дуси набухли. — Саня! Давай-ка со мной, а?

— Иди-иди, — торопливо провожает тетя Дуся своего помощника: с Володей мальчишке хорошо, с Володей спокойно, не то что с уставным да размеренным Иваном Михайловичем.

Саня с охотой сопровождает Володю в машину, в красный уголок, в рубку — с ним интересно: штурман про все рассказывает понятно, не то что Иван Михайлович — деревянно ответит на вопрос, а лицо сердитое, будто Саня виноват, что не знает пока всего на пароходе. Поэтому мальчишка старается не лезть к занятому механику. Не докучает и Грише-капитану. Коркин сам не больно-то жалуется его вниманием, а Карпыч, хоть и силится втолковать про котлы и форсунки, ничего объяснить не может, злится, бурчит и в конце концов завершает свои наставления привычной фразой: «Приглядывайся, запоминай!»

А что запоминать, к чему приглядываться Сане, когда за неделю плавания, за долгую, показавшуюся ему годом неделю столько узнано от Володи про кочегарку, про машину, про историю русского пароходства и про многое-многое другое! Саня только удивлялся, но не тому, как много знает Володя и какой он умный, а тому, как искренне хочется человеку, чтобы и другой знал столько же и был таким же умным. Слушает, слушает его мальчишка и запечалится вдруг. «Ты что?» — «Ничего!» — поспешно ответит Саня: ну почему Володя, с его ласковым взором, чистой улыбкой и шелковым, странным в наше время чубом, не брат ему, не родня?! Где ни появится он — стихают свары, Коркин не так обидчиво косится на Саню, Иван Михайлович и тот вроде бы глядит повеселей, и Карпыч, кажется, готов улыбнуться и сказать: «Ну и славный же ты мужик, Володя!»

И кажется, всё дружит с ним — пароход, небо, вода. И думается Сане: будь у него братом Володя, и за-

был бы отец про свою тоску — Володя развеял бы ее, а он, Саня, не умеет сделать этого.

Хорошо в рубке, когда в ней Володя. Тянется мимо зеленых берегов караван. Негромко играет «Спидола», мягкие руки Володи мягко лежат на штурвальчике — все-то у него плавно, без рывков. А Коркин вечно за что-то цепляется, зашибается об углы да столы, даже о бильярд в красном уголке умудрился разбить коленку!

Ох уж этот бильярд! Хоть и не успевают ребята толком выспаться, отдохнуть, а все же выкраивают минуточку постоять с киями, как рыцари-копьемосцы средних веков. И сейчас из переговорной трубы, из машины, раздается довольный голос Ивана Михайловича:

— Володь, не забыл? Двести сорок на двести!

Саня знает: счет ведется с начала навигации.

— Помню, помню,— отвечает Володя, а потом поясняет Сане, какой железный человек Иван Михайлович и какой точный у него глаз, какая твердая рука.

— Твердая...

Не забыл Саня, как легко втянул его Иван Михайлович на пароход — как щенка! Не нравятся ему такие твердые руки — у Володи лучше. И вообще очень непонятно Сане, как это Володя сохранился таким добрым: тетя Дуся за долгие кухонные часы поведала ему про то, как ломала и мяла судьба человека, мяла, да не смяла, ломала, да не покалечила. «Сильный он», — уважительно не однажды говорила повариха. Где же она, эта сила? Неужели в мягкости? В доброте?

Саня задумался, не увидел встречного каравана. Опомился, когда Володя сунул ему в бок белый флажок-отмашку:

— Махни!

— Я? — воззрился Саня.

— А чего? Махни.

Саня не раз замечал, с каким удовольствием выполнял эту нехитрую процедуру Коркин. Сам же принял флажок с сомнением: а вдруг что не так, не получится? Хмыкнет Семка-матрос, нехорошо поглядит Иван Михайлович. Однако Саня вышел из рубки, встал на мостике, на виду. Володя, подмигнув ему, протянул руку к сигналу. Гудок у «Переката» какой-то свой, особенный: старческий будто, с хрипотцой. «Почтенный у нас гудок», — сказал как-то Володя, и Сане это

очень понравилось. «Почтенный гудок», — подумал он и сейчас, прислушиваясь. Помахал, как положено. На встречном буксире словно белый огонек вспыхнул — ответили. И тоже погудели. И Саня подумал: «Встретились два старых товарища, два речных работяги, и радостно им видеть друг друга, вот они и говорят: «Здравствуй, милый мой др-у-у-у!»

Гриша-капитан, протирая глаза кулаком, зевая, вошел в рубку:

— Наши?

Влез Иван Михайлович — сразу тесновато сделалось в будочке, — приложил ладонь:

— Наши!

Коркин запрыгал, тощий и длинный, замахал длинными руками, и Саня посмотрел без насмешки: многое он уже понял, до многого дошел сам, а сколько узнал от Володи!

Разошлись буксиры, отмахались друг другу люди, встретившись не в океане — на знакомой до камешка речке и не после долгой разлуки — только неделю назад, может, виделись где-то на берегу, в конторе. Так почему же так рады они? Наверно, потому, что одно дело делает, одно дело любят — и на всю жизнь.

Саня спросил бы про это Володю, но в рубке Иван Михайлович, а при нем не спросишь.

Гриша не пошел досыпать, Иван Михайлович тоже. Уселись позади Володи на ящик со спасательными жилетами. Механик засопел то ли сердито, то ли сосредоточенно, и Саня понял: пора уходить к Карпычу. Он сделал шаг к двери и остановился: Иван Михайлович сказал простое короткое слово:

— Берег...

Но каким голосом он сказал его! Трепетным, проникновенным. И хотя Саня слышал, как ласково произносят это слово речники «Переката», услышать такую ласковость от самого механика было в новинку!

— Берег, — произнес Гриша-капитан тоже как-то по-своему, уважительно, словно бы с большой буквы.

А Володя сказал мягко, по-Володиному:

— Берег... — И как бы мысленно добавил к нему еще: «Милый мой».

И Саня удивился: у всех на берегу кто-то был, а у Володи никого, так почему ему-то так желанен этот незнакомый Сане берег?

— А что там? — посмотрел Саня на Володю. — Грязь, пыль... Здесь лучше — простор, солнце, вода. И тишина...

— Тишина, — повторил Володя, глядя на Саню очень внимательно. — Да ведь надоедает она, тишина-то...

Саня понимал: трудно людям без берега. Редко удастся им ступить на твердую землю — разве когда баржи грузятся или, наоборот, не разгружаются подолгу. А то как взяли воз и ходом до Коломны. Дотянули одни баржонки — бросили, другие подцепили — и обратно, до Серпухова. Так и ходят. Ходят... А люди вон загорают, купаются... А Володя да Гриша беленькие, словно солнца на них не хватает... Трудно, тяжело без берега, без нормального сна. «Замотался!» — с непонятным удовольствием говорит, заваливаясь после вахты на койку, Семка-матрос. «Упарился вчистую», — бормочет, выбираясь из кочегарки, засаленный Карпыч. «Эти машины проклятые!» — достается и железкам от сердитого Ивана Михайловича, который, конечно же, должен вот как злиться на старенький пароход, на злую судьбу, загубившую его голубую капитанскую мечту.

«А зачем такую работу выбрал, коли трудно?» — как-то, еще в самые первые дни, спросил Коркина Саня, спросил и осекся, вдруг посреди вопроса вспомнил: отец так же вот, бывало, рассказывал о цехе — как трудно да как там сложно. Рассказывал, а сам без цеха этого жить не мог... «Значит, надо, коли выбрал!» — отрезал тогда Коркин. Саня теперь-то и сам начал понимать: чем трудней дело, тем, видно, дороже оно человеку. Видно, так уж он устроен, чудной человек, что не хочет жить легко, не желает. А раз так, может, и Саня прав, покинув отца не для собственной легкости, а для его же, отцовской новой необходимой суровой жизни?..

— Не положено всем в рубке-то, — сказал за его спиной Иван Михайлович, разгоняя народ по местам, и Сане показалось, что голос механика был не всегдашним брюзгливым, а словно бы немного потеплевшим.

«Берег виноват», — понял мальчишка, выходя на палубу и вглядываясь в дрожащее марево, в котором показались уже далекие мосты Серпухова.

Свободный от вахты народ засуетился. Коркин в тесной каютке напяливал на себя тельняшку поновей и брюки повольней, вертелся, силясь весь уместиться в маленьком зеркальце.

— Хорош,— сказал Саня, и Коркин благодарно улыбнулся ему:

— Не, правда, ничего?

— Правда! Нюра твоя ахнет!

Коркин насупился: насмешка? И Саня поспешил успокоить:

— Да нет, точно я говорю — хорошо тебе! Особенно брючата!

Коркин недоверчиво покосился и полез на палубу, где беспокойно тянули шен вымытые и выбритые перекатовцы, где Иван Михайлович все никак не мог сладить с проклятой рубахой, где Гриша-капитан одергивал белый китель и даже Карпыч не стоял, поплеывая беззаботно за борт, а тоже шевелился — провел раза два ладонями по замызганным брюкам, словно стряхивая с них пыль. Даже Саня, глядя на него, заволновался, хоть никто не ждал его на этом серпуховском берегу.

А берег приближался, и росло волнение, пока непонятное Сане.

Из рубки показался Володя, и все уставились на него, даже Карпыч задрал свою кепчонку.

— Стоим два часа,— помахал Володя каким-то листком, и народ приуныл.

— Ма-ало,— протянул Коркин.

— А ты вообще помолчи-ка,— сказал ему Гриша-капитан.— Кто в прошлый раз четыре часа на берегу прохлаждался? Тебе сейчас посидеть придется: привезут харчи, поможешь разгрузить, принять.

«Ладно, капитан»,— обычно отвечал Коркин бодро, но сейчас он молчал, и Сане стало жалко его новых брюк и тельняшки, зря надетых.

— Я помогу,— сказал он Грише, и Коркин обрадованно забормогал:

— Конечно, поможет! Чего там! А в Коломне я за него отстою! Вот те крест — отстою!

— Ты уже за меня отстоял,— ехидно сказал Карпыч.— Позабыл, что ли? Я тебя отпустил, а ты обещал отстоять, и в другой раз тоже смотался... Теперь

нечего! Теперь будешь как миленький! У нас котлы не чищены, трубы текут, дел по горло.

— Он! — ткнул в отчаянии пальцем Коркин. — Верно, Саня, ты же сможешь? Подумаешь там, трубы текут — вентиль подтяни! Это скоро!

— Я подверну,— мотнул головой Саня, и послышался скрипучий смешок Ивана Михайловича.

— Кто же тебе доверит? — сказал механик. — Это ж сложное дело — котел... И махнул рукой: — Идите все! Придется мне, естественно...

— Иван Михалыч! — посмотрел на него Гриша-капитан, голос его был строг, а глаза смотрели добро. — Балуешь ты его! Совсем Коркин тебе на шею сядет!

Иван Михайлович похлопал себе по шее, и Саня засмеялся, представив длинного Семку верхом на этой шее: сидит, ноги болтаются.

— И ничего смешного не видно,— металлическим голосом сказал ему Иван Михайлович и обернулся к Грише: — Последний раз! Будем четко придерживать графика! Сегодня, ладно уж, идите, мы с Сергеевым остаемся!

— Остаемся! А может, Сергееву тоже на берег хочется? — обронил Карпыч, и все уставились на мальчишку.

Не очень-то хотелось Сане на берег, и еще больше не светило ему оставаться на «Перекате» вдвоем с механиком — наслушаешься наставлений досыта!

— Да нет, нечего мне на берегу-то, я лучше тут,— проговорил Саня, и Коркин не мог, как ни старался, удержать радость — перла она из глаз его, из растянутого рта.

— Но в следующий раз — гляди! — погрозил ему пальцем Иван Михайлович и посмотрел на Саню с плохо скрытым раздражением, и тот не понял, чем же опять не угодил он сварливому механику.

Серпухов приближался, и Саня, замечая, как жадно разглядывают ребята невидный, заваленный рабочий берег, стал тоже смотреть на все эти барки, катерки, мостки и мастерские, так похожие на барки и мастерские возле грузовых причалов Коломны. Вот и

пристань — деревянный домик на деревянной барже. Вот и контора на высоком берегу, Саня уже знает ее — туда в прошлый раз бегал он с Володией за какими-то документами. Вот какой-то народ дожидается. Мелькнул белый халат.

— Опять врачиха! — проворчал Коркин. — Только недавно проверялись!

— Положено, — обрубил разговоры Иван Михайлович, и Коркин быстренько замолчал: а то еще, чего доброго, оставит на «Перекате».

Бросив баржи, ненадолго вздохнувший «Перекат» налегке подвалил к пристаньке, и на пароход полезло начальство, врачиха, грузчики. Потасили аккумуляторы, продукты, газеты. «Как проходной двор», — косился Саня, помогая Ивану Михайловичу укладывать принесенное. Потом, как и всем, ему смерили давление, послушали, обстукали, отпустили.

— Здоровый как бык! — льстиво хихикнул Коркин, убегая на свой заветный берег, где ждала его неведомая Сане Нюрка. Пока Саня вертел головой, выискивая на берегу Коркина, он не заметил, как пароход опустел, только Иван Михайлович громыхал в машине ключами.

— Лезь, коль желательно, — сказал он заглянувшему мальчишке, и тот, хоть было ему не очень желательно глядеть на квадратную голову, полез.

Так же желто светились промасленные шатуны и валы. Поршни, уставшие за дни и ночи, не сучили своими локтями — отдыхали. «Умотали руки-то», — сказал бы про них Володя, и Саня повторил сейчас:

— Умотали руки-то...

Механик оглянулся на него, посмотрел потом на шатуны, удивленно проговорил:

— Похоже...

И погладил усталую машину. «Любит», — не очень удивился Саня: дубовый Иван Михайлович мог любить только железную свою машину и больше никого.

Забыв, казалось, про Саню, механик возился и возился, что-то подкручивал и подвинчивал, смазывал и вытирал, и мальчишка почувствовал вдруг, что он совсем не нужен Ивану Михайловичу — ни он и никто другой. А кто же ему нужен-то?

— Вылезай, чего ты, — прервал механик Санины мысли, и он послушно выбрался наверх.

У трапа стояла какая-то толстая женщина и смотрела на пароход. Другая, тоже толстая, но с тонкой девочкой, сидела на ящике, подстелив газетку. Не по лицу, не по квадратным плечам женщины, а по аккуратной этой газетке Саня угадал механикову родню и сказал ей:

— Иван Михайлович здесь. Позвать, что ли?

— А он не занят? — спросила женщина, вставая. — К нему можно?

— Наверное, можно, — оглядел Саня пришедших и пошел к Ивану Михайловичу доложить про посетителей и спросить, может ли Иван Михайлович принять их.

— Скажи, сейчас буду! — буркнул механик, и точно: тут же появился на горячей палубе, поглядел, нахмурился, и сбежал по трапику.

Саня с интересом наблюдал за непонятной этой встречей: женщины приблизились к механику не как к родному, а как к едва знакомому Ивану Михайловичу — словно бы неловко было им подходить к занятому человеку, боязно смотреть в глаза. Но подошли. Он пожал всем руки, даже девочке, потом стал что-то выговаривать, а те слушали виновато, торопливо кивали платочками. Саня поежился, представив, какой нудный, должно быть, голос у механика, раз у людей, непременно ему родных, такие постные лица. Как, верно, хочется им, чтобы Иван Михайлович поскорее закончил говорить! Закончил. Саня заметил это по тому, как облегченно вздохнула девочка и как Иван Михайлович недовольно поглядел на нее, вздохнувшую. Потом механик стал рыться в кармане брюк, вытащил кошелек, а из него деньги и начал считать их, а женщины смотрели, и девочке, наверное, смотреть было неловко — отвернулась. Отсчитав, Иван Михайлович передал деньги одной женщине и другой и повернулся к родне широкой спиной. Саня увидел, что лицо у механика покраснело, на лбу обильный пот: тяжело, должно быть, отдавать трудовые рубли!

Иван Михайлович шел по трапу, женщины ждали, и, когда он повернулся к ним, они замахали руками, крикнули вразнобой:

— До свидания!

И не добавили ни слова. И только девочка вслед за ними выкрикнула тоненько:

— Спасибо, дядя Ваны! Приезжайте!

— Ладно! — махнул он ей. — Идите!

И побрел в свою милую машину, а Саня видел, как тяжело ему шагать: впереди ни счастья, ни радости, мечта о белых теплоходах рассыпалась, и остались только эти женщины, которым, конечно же, очень нужны трудовые деньги Ивана Михайловича.

Женщины пошли, деловито и облегченно о чем-то переговариваясь, а девочка осталась. И Саня спросил ее, просто так спросил, от нечего делать:

— Как тебя звать?

— Наташа, — улыбнулась она. — А ты новенький? Я тебя не знаю.

— Новенький, — ответил Саня, которому захотелось вдруг на берег — просто так захотелось, ступить на траву, поговорить о чем-нибудь с этой девочкой Наташей, видно, очень доброй и хорошей, судя по ее глазам.

Но девочка убежала, помахав Сане, тоненькая, голенастая. И Сане подумалось, как неплохо было бы, если б эта Наташа пришла в следующий раз не к Ивану Михайловичу, а к нему — вот бы поглядел и скривился Коркин! Он провожал ее глазами долго, пока Наташа не взбежала на высокий берег и оттуда еще раз не махнула Сане рукой.

— Наташа, — довольно громко выговорил мальчишка и, услышав сопение механика, вздрогнул. Посмотрел через плечо: Иван Михайлович уставился на берег, на девочку, и лицо его было злым, неприятным.

— Наташа, — кивнул Саня.

Иван Михайлович перевел на него взгляд, покатав камни на скулах, ответил придушенно:

— Сволочь!

Саня круто свел брови, сжал кулаки: ругательство, неведомо кому брошенное, ударило больно. Механик поглядел на взъерошенного мальчишку.

— Да не... Отец у нее, у Наташки, сволочь... Бросил... А их вот пятеро... Дом надо перекрывать...

— А ту? — Саня, пока Иван Михайлович разговаривал по-простому, хотел узнать про него как можно больше. — Ту, другую женщину, тоже бросили?

Иван Михайлович засмеялся и очень понравился такой вот, веселый, Сане. Смеялся он с удовольстви-

ем, закрыв глаза и дрыгая кадыком. Отсмеявшись, сказал, вытирая глаза:

— Ту-то? Не-ет, не бросили пока. Это супруга моя.

— Супруга-а? — растянул слово Саня. — И не целовали...

Иван Михайлович заморгал — это он-то заморгал, всегда правый и уверенный?!

— Да-а,— сказал потом негромко. — Целоваться... Люди ведь кругом. И не молодые уж. Семь лет в браке состоим.

— Семь лет! — от души пожалел Саня бедную супругу механика.

Иван Михайлович вытащил свои громадные карманные часы:

— Скоро прибывать начнут.

И забрался опять в машину, а Саня встал у борта, гадая, кто же прибудет первым.

Первым прибыл Володя. Не взбегая по трапу, крикнул:

— Михалыч!

И тут же, словно только и дожидался зова, появился механик — начищенный, наглаженный, как на свидание. Саня переводил взгляд то на него, то на Володю, с которым механик, сбегав на берег, зашептался. Пошептавшись, Иван Михайлович приказал мальчишке собираться.

— Куда?

— Закудыкал! — нахмурился Иван Михайлович. — Иди-ка переоденься!

И швырнул ему сверток, который Володя вытащил из сумки.

Когда через десять минут Саня появился на берегу, на него уставились Володя, Иван Михайлович и приспевший Гриша-капитан. Не под этими взглядами было неловко стоять мальчишке, а непривычно ему в форменке и брюках и в новых туфлях, очень сдавивших ноги, привыкших к вольной разбитой обуви. Трое старших переглянулись, заговорили междометиями:

— Ну?

— Ага!

— Угу...

Саня вертел головой. Володя наконец сказал ему, оглядев:

— Пошли!

Гриша пошел на корабль, Володя, Иван Михайлович и Саня по тропочке поднялись к бревенчатому домику-контуре.

Мимо секретарши и телефонов парни провели мальчишку к начальнику, который, усадив его перед собой, принялся с интересом рассматривать. «Все знает»,— понял Саня, где пропадал Володя, и испугался: ну как штурман по доброте своей такое про него рассказал! Однако, покосившись на надутого Ивана Михайловича, он немного утешился: этот все поставит на место!

Рассмотрев Саню, начальник в белом кителе, видно, остался доволен.

— Хорошо,— сказал он.— А теперь давай-ка потолкуем.

Долго, прерываясь изредка для телефонных кратких разговоров, занятый человек выспрашивал Саню про жизнь, про школу, про Сосновку, старательно, как подводные камни, обходя отца, и за это Саня был очень ему благодарен, за это отвечал с охотой.

— Значит, нравится у нас? — спросил в конце беседы начальник, и Иван Михайлович подался вперед — стул под ним запищал.

— Нравится,— ответил Саня, вспомнив рассветы над рекой.

— А чем нравится?

И опять встали в памяти розовые воды и зеленые берега. И шумное колесо, и тихая рубка, и желтая машина...

И вдруг голенастая Наташа опять появилась на берегу! Торопливо спускалась она с кручи, одна, без женщин, а за Наташей неловко семенил Карпыч, за Карпычем — Коркин и еще какой-то народ. Саня задохнулся, покраснел. И привстал, чтобы не потерять из виду своих возле парохода.

Начальник тоже приподнялся, перехватил его взгляд:

— Ваши?

— Наши!

— Ну...— не успел сказать начальник, и Саня вскочил, торопливо пожал протянутую руку, метнулся к двери и, налетев на взгляд Ивана Михайловича, затоптался: что-то опять не так сделал. А что? Огля-

нулся на начальника за столом, уселся на краешке стула.

Иван Михайлович покряхтел: кряхтение это было несердитым: теперь Саня сделал то, что надо.

— Так! — сказал начальник. — Не суетись, суета — она первый враг речников.

— Естественно, — одобрил его Иван Михайлович, который, верно, и тонуть бы стал без суеты, с достоинством.

— Ну, что мне тебе сказать, Санька, — вздохнул начальник. — Стоишь ты, парень, в самом начале пути, и от тебя самого зависит, каким будет твой путь. Нам всем вот хочется, чтобы путь этот был светел и чист.

— Как наша река, — подсказал Володя.

Иван Михайлович закряхтел — теперь очень недовольно, а начальник, тяжело оглядывая Володю, повторил:

— Как наша река...

Несколько минут все сидели молча, слушая реку — гудки и шлепы на ней, и звон якорных цепей, и рокот мастерских, и уханье парового молота. В открытые окна долетали и запахи реки — ракушками пахла Ока, и теплой смолой, и нагретыми досками дебаркадера...

Старый «Перекат» ворчливо позвал народ, и Саня первым вскочил.

— Счастливого пути! — еще раз подал ему руку начальник, и Саня пожал ее теперь крепко, неспешно и пошел неторопливо, а закрывая за собой дверь, услышал:

— Славный парень!

Это сказал начальник. И тут же забубнил что-то Иван Михайлович — видно, про отца, про Санин побег, про ягоду клубнику. «Ну и пускай!» — подумал Саня, а еще подумал, что не больно-то даст разговориться ему Володя.

Возле «Переката» собрались уже все свои. И Коркин обеими руками размахивал, призывая Саню, и Наташа смотрела на него, застеснявшегося вдруг своей новой формы.

— Я шас, — пробормотал Саня и под окнами конторы дождался своих.

Вышел озабоченный, как всегда, Иван Михайло-

вич, за ним Володя, тоже не очень веселый — верно, разговор был серьезный.

— Пошли,— сказал Володя, как-то рассеянно поглядев на Саню, и тот не сказал спасибо этим людям, хоть сказать надо было обязательно — именно теперь, сразу, пока не обступили его перекатовцы и Коркин не завопил восторженно:

— Ну хорош, хорош, коломенский!

— Красивая форма,— похвалила Наташа и пошла к Ивану Михайловичу с корзинкой, которую тот начал отпихивать.

— Яички же! — растерянно сказала Наташа.— По-забыли мы, по дороге вспомнили — я сбегала! Чудак вы, дядя Ваня! Возьмите!

— Возьми, дядь Вань! — засмеялся Володя и сунул корзинку механику, а Наташу звонко поцеловал в лоб и тут же стал подкидывать визжащего мальчишку лет четырех.

— Не урони! — пугались Гриша-капитан и очень молоденькая женщина — капитанова жена, такая же, как он, тоненькая и ладная.

— Не уроню!

Володя отдал мальчишку счастливому Грише и, ухватив под локоть Саню, пошел знакомить его с коркинскими родителями, с девчонкой Нюрой, рыжей и зеленоглазой, с Наташей — «хорошим человеком», которая смотрела на Володю, как на родного, совсем не так, как смотрела недавно на серьезного дядю Ваню. И Саня понял, что Володя для всех тут свой и близкий и всем легко с ним и просто,— вон даже Карпычева старуха, доселе воровато выглядывающая из-за деревянного сарая, тоже замахала:

— Володь, а Володь, подь-ка к нам!

Карпыч что-то шепнул ей, и старуха опять замахала:

— Саня, а Саня, подь-ка к нам!

— Здравсьте! — медведем поклонился ей Саня, а Карпыч, что сидел ото всех в сторонке и закусывал над разложенной газеткой, поднялся навстречу Володе и Сане и сказал, одергиваясь и роняя с подбородка хлебные крошки:

— Значит, это супружница моя...

— Садитесь,— пропела супружница таким елейным голосом, что ни Сане, ни Володе садиться не за-

хотелось, повернули к общей куче — в ней, в середке, стоял и механик с корзинкой, которая так не шла ему!

— Коломенский! — закричал Коркин. — Давай сюда, к пончикам!

Иван Михайлович не вытерпел беспорядка, сунул корзинку Наташе и дубово встал перед Семкой. Народ затих.

— Коркин! Чтоб я больше не слышал, понял? Нету у нас теперь коломенского, есть котельный машинист-матрос Александр Сергеев! Ясно?

— Ясно! — копнул ногой смущенный Коркин.

Баржи загрузили наконец, подцепили, и «Перекат» напрягся, зашлепал колесами. На берегу словно дожидались последнего мига: бестолково закричали наперебой про огурцы и картошку, про сад и огород — про всякую всячину, которой не место в любом серьезном разговоре, а в прощальном особенно.

— Домой, домой! — крикнул Иван Михайлович провожающим и повернулся к ним квадратной спиной, а к своим — квадратным лицом. — А тут что собрались? По местам!

— Точно, — потер ладони Карпыч. — Все за стол!

Все за стол — не получалось: кто в машину, кто в рубку, кто в кочегарку. Однако при случае и Гриша из своей застекленной будки, и Коркин из кочегарной дыры, и Володя от машины могли вставить слово в разговор за столом, в котором Саня не принимал участия — смотрел на далекий берег, различая там светлую голову Наташи...

— Сергеев! — вернул его на «Перекат» Иван Михайлович. — А мы, между прочим, насчет твоей судьбы думы думаем. Садись!

Саня сел и стал слушать механика, который, оказывается, за него уже все передумал: и где парню учиться осенью, и где плавать на практике летом — только в открытом море, на быстроходных судах, под штормами и ветрами.

Коркин слушал, ежился. И тут вроде неплохо: и речка своя, и берега рядом, и штормов, слава богу, нет.

— Главное, — распинался, похаживая по борту, Иван Михайлович, — есть у тебя хоть и временная, но должность, которую надлежит оправдать.

— Оправдает, — заверил за Саню Карпыч. — Я помогу. Как старшой.

Все почему-то с опаской посмотрели на Карпыча, и Коркин завожился у кочегарки, что-то надумал сказать, да так и не сказал, а Гриша-капитан сухо обронил:

— Ну-ну... Ужинаты!

И скрылся в рубке.

— Ешьте пончики! — сказал Коркин, прибежав на минуту и вытряхнув из своей сумки круглые пахучие пончики. — Налетай!

Саня, как и все, принялся жевать их, хрустящие, сладкие, — от одного вида слюни рекой. И народ вслед за Коркиным принялся вываливать все из сумок на общий стол. Иван Михайлович хмурил брови, видно, жалел про яички в кошелке, которые так и не взял у Наташи — застеснялся. Только Карпыч ничего не вывалил: оставил сумки в каюте — может, просто позабыл про них? Саня не больно раздумывал над этим.

— Ешьте! — приглашал он Карпыча, все еще топтавшегося поодаль.

— Ешьте! — Тетя Дуся притащила молока — удобней стало жевать, легче глотать.

Даже Иван Михайлович недолго стоял столбом — зажевал, захрустел, жмурясь. Наконец отвалились, насытились.

— Братцы, ну же! — взмолился Коркин. — Куда я их дену — рыбам?

— Все! — сказал сверху Гриша-капитан. — Объелся.

— И я! — засмеялся Володя. — Лопну.

Иван Михайлович поднатужился, убрал при общем благоговейном молчании еще тройку пончиков и тут же ушел куда-то.

— Ребя-ата, — затанул Коркин от кочегарки.

И Карпыч сжалился над ним. Подошел, раздвигая народ.

— Эх, мелкота!

На глазах изумленных зрителей (как сказал бы Володя) он, почти не жуя, проглотил десятка два пончиков, еще дюжину засунул в карман широких штанов и пошел на свою шлюпку.

— Они ж в масле! — испугался Коркин.

Карпыч похлопал себя по блестящим штанам:

— Масло к маслу не пристаёт.

Что-то веселый нынче Коркин — с утра рот до ушей! И Карпыч довольный какой-то, даже напевает, заглядывая в топку — мурлычет, словно старый и ободранный кот на солнышке.

— Карпыч, какой праздник? — присел Саня рядом с ним на шлюпке.

Тот повернулся — глаза, как всегда, скрыты под нахлобученным изломанным козырьком.

— Праздник не праздник — получка.

— А, зряплата! — появился на палубе грохочущий башмаками Коркин.

— Как это? — спросил Саня, и Коркин начал было пояснять ему, как глупому:

— Ну, я это к тому, что ничего ты за полмесяца не сделал, а деньги получай — зряплату. Ха...

— Дурак ты! — заорал вдруг Карпыч. — Это ты ни черта не сделал, балаболка! А мы!.. В поте лица своего!.. Тьфу!

— Карпыч, слышь, да ладно тебе, я так, брякнул, — заробел Семка-матрос, глазами умоляя Саню: помоги.

— Прости уж его, Карпыч, — удивился его вспышке Саня. — Ну, сказанул человек, не подумал.

— Думать надо! — отрезал старик и отвернулся. И больше уж не пел.

В каюту к капитану входили, словно к чужому начальнику, — серьезные, поодиночке, едва ль не со стуком. Саня приклеился носом к окну: повариха долго терла пальцы передником, прежде чем осмелилась взять в щепоть ручку. Расписывалась долго, старательно, губы собрала бантиком.

— Пересчитай, тетя Дусь, — сказал Гриша, и добрая повариха замахала руками:

— Да что ты в самом деле!

Вот и Семка вышел с каплей под носом, и Карпыч долго засовывал «зряплату» в карман — Саня помнит: так же старуха Макарова запиховала деньги куда-то в самую душу. И Володя получил, и Иван Михайлович, раза два пересчитав, долго, на виду у всех основательно раскладывал красные, синие и зеленые бумажки по отделениям желтого кошелька.

Мелочь ссыпал отдельно. Сделав дело, поглядел на Саню:

— А ты чего?

— Чего я? — пришла очередь вспотеть и Сане.

— Получай! — весело сказал Карпыч. — Зарплату!

— Да идите вы все! — испугался Саня, но Гриша-капитан высунул из каюты очень официальное лицо:

— Сергеев!

И Саня вошел к нему и остановился у порога в смятении. Гриша сидел при всей форме (только что из города, с берега), лишь фуражку свою капитанскую снял и положил тут же сбоку, и она, белоснежная, посверкивала якорьком.

— Распишись! — с необычной сухостью приказал Гриша.

— Ага, — мотнул головой Саня, и в глазах у него поплыло. — Где?

— Вот, — сказал Гриша помягче. — Видишь? Фамилия и сумма. Тридцать два рубля сорок копеек. Как ученику.

Саня проморгался и увидел: черным по белому выписана его фамилия, с инициалами. Тут же невиданная сумма. Не базарные гривенники — зарплата!

— Ну, Александр Сергеевич, — хитро заговорил Гриша-капитан, и Саня сперва не понял его, смотрел с недоумением, потом дошло — засмеялся.

— Ага! В школе Пушкиным звали!

— Ну, Александр Сергеевич, трудовой человек, поздравляю с первой получкой! Да ты погоди, погоди! Пересчитать деньги положено!

— Да ладно! — Саня не стал считать, так с пачкой в руке и вышел на палубу, глотая тягучие горькие слюни.

Сразу на глаза ему — Володя, в руке бутылка лимонада, коробка конфет.

— Вот, — сказал он, пихая Сане в ладонь подарок. — С праздником тебя, Сергеич! — Оглянулся на своих. — Помню, и мне в детдоме купили лимонад и конфеты... Подушечки... Каждому по одной досталось... Мы табуретки делали...

Иван Михайлович оттеснил Володю: неведомо куда заведут воспоминания! И сказал, как по бумажке:

— Уважаемый Саня! Мы всей командой сердечно

и горячо поздравляем тебя и желаем счастливого плаванья на долгие годы.

Коркин захопал, вслед за ним — остальной народ, кто с добрым смехом, кто со слезами, как тетя Дуся.

И был общий пир! И потом еще Саня с Коркиным пили лимонад, ели конфеты, которые оставили им после дележа. И болтали.

— У нас на судне сухой закон,— говорил Коркин с сожалением,— а то бы неплохо...

— Плохо, Семка, плохо! — сразу помрачнел Саня, и Коркин понял его, захопал глазами, наморщил свою единственную поперечную морщину:

— Опять я ляпнул! Не сердись, коломен... то есть Санька! Не со зла! С дурости!

— Думать надо,— повторил Саня Карпычевы слова, и Коркин над ними надолго задумался.

Был праздник для Сани на весь нынешний день. Все смотрели на него, говорили с ним так, будто мальчишка сделал для людей добрый подарок, и самому ему было неловко от взглядов и слов. Хотелось залечь на койку и думать о хорошем. Только о хорошем почему-то не думалось, а все о плохом. То отца пьяного увидит, то мамины похороны. Поневоле вскочишь с постели и скорей к людям!

— Карпыч, помочь?

— Да ладно уж, отдыхай.

— Не отдыхается...

Саня присел рядом со стариком и, глядя на медленную вечернюю воду, задумался. Карпыч молчал, видно, понимал его думы, и Саня был благодарен ему за это, как и за слова, сказанные потом:

— День-то у тебя сегодня... особенный...

— Особенный,— кивал Саня, по-особенному разглядывая и реку, и дальние огни на берегу, и самого Карпыча.

— И хочется тебе спасибо сказать всем, кто к делу тебя пристроил...

— Всем,— соглашался Саня. И Коркину, который научил его драить палубу, и Володе, и Ивану Михайловичу, хоть тот совсем замордовал в последнее время! Не дает покоя, ходит возле Сани — все о машине, о машине нудно рассказывает и тут же требует: «Повтори!» А серые разбойничьи глаза Гриши-капитана все время следят за новым матросом... А Карпыч?

Саня усмехнулся про себя, вспомнив, как по-своему натаскивает его старик. Учить-то он, может, и учит, не требуя повторить, как механик, но обязательно ему надо, чтобы Саня восхищался да ахал, когда он пускался в долгие воспоминания о жизни. Коркин давно устал слушать их, сбегает, другим, видно, тоже надоело, один Саня терпит, молчит. А старик тянет неспешно:

— Да-а... Бывало-то, как деньги получишь, так старшому, значит, с почтением... Время такое было... Теперь-то не то, теперь мы по велению души, а бывало, старшому...

— Какому? — стал приходить в себя Саня, чувствуя ветерок над Окой.

— Ну, который уму-разуму учит, на правильный путь наставляет... А как же, ежели б не старшой... Надо за то отблагодарить, посидеть с ним, чтобы человеку, значит, приятно...

Саня низко пригнулся, сисясь разглядеть Карпычевы глаза. Не видно их под козырьком — темень там, холод. «Вот ты какой... — стало зябко мальчишке. — Старшой...»

— А ежели шиш ему? — глухо спросил Саня.

Карпыч засмеялся — задрывал плечами, захватал, как курица, зло и мелко. Поднялся:

— Ни черта не понял! Одно слово — коломенский! Деньги мне, что ли, твои нужны?

«Деньги, деньги», — отдалось в Саниных ушах. «Жадный, — подумал мальчишка, глядя на Карпыча сердито и зорко. — Точно, жадный, оттого и чудной такой. Жадный... Прячет глазищи нахальные!»

Саня пошарил в кармане, вытащил деньги, сунул в жестяную — ковшиком — ладонь:

— На!

И тошно стало, захотелось на берег, домой, к маминной могилке.

— Ты! — простуженно засипел Карпыч, вскакивая и озираясь. — Да как ты?! Да я ж тебя!..

А самому никак не разжать кулак — так и потрясает зажатыми деньгами перед Саниным носом.

Наконец пересилил Карпыч натуру, распрямил пальцы и стал неумело запихивать деньги в карман к неживому мальчишке. Все почти запихал, что-то

бормоча ему в лицо, осталась одна бумажка. Свистнул ветерок — выдул ее из ладони.

— Что ж ты!.. — вскрикнул Карпыч, бухаясь на коленки и хватая бумажку у самого борта. Встал, тяжело дыша, разглядел бумажку. — Улетела б ежели, а? Пятерками швыряешься, купец?

Сане видно, как жалко Карпычу бедную спасенную пятерку, как горько старику расставаться с нею.

— Возьми-ка, — попросил он и пошел к себе.

— Да что ты в самом деле, — сердито прошипел Карпыч. — Нужна она мне, такая-то!..

Саня оглянулся — Карпыч пихал руку в дальний глубокий карман.

— Слышь, — неловко сказал он, — я, это, отдам...

— Ничего! — жестко ответил Саня. — Обойдусь! Выпей.

— Дурак, — откликнулся старик странным, будто бы плачущим голосом.

Коркин, сменившись, пришел из душевой. Разлегся на койке, пустился вслух размышлять, куда денет свою получку: и на пилы, и на вилы, и на новенький сарай. Саня слушал рассеянно, однако не утерпел:

— Скучный ты человек, Коркин! Я бы матери конфет купил! На все деньги! И еще — цветы!

Коркин заворочался, завздыхал, и Саня представил, какая глубокая морщина пробороzdила горячий Семкин лоб. Долго молчал товарищ, а потом сбивчиво заговорил:

— Это, конечно, хорошо, а только баловство это — конфеты, цветочки... Вот ежели бы сапожки ей к зиме? И дорого, и нужно.

«Ежели бы», — слышался Сане голос Карпыча в Семкиных рассудительных речах, и стало ему совсем скучно слушать.

— Спать хочу, — сказал он недовольно, но Коркина прорвало.

— А знаешь, Карпыч-то? — привскочил он на кровати. — Встретил меня сегодня...

— Ну? — насторожился Саня.

Семка засмеялся.

— А вот тебе и ну! У меня жирно не съешь! Он уже раз подъезжал! Когда я только прибыл сюда.

«Кто тебя в люди вывел да к должности приставил? Надо старшему с уважением...» Шиш тебе, а не уважение! За чтой-то? Верно, Сань? Не дураки мы с тобой, да?

— Не дураки,— пробормотал Саня.— Ну и что же? Что ты ему ответил-то?

— Я-то? Я прямо так и рубанул: «Будешь вымогать — Грише заявлю!» А он его живо — раз! — и на берег! Будет там опять болтаться, пока не подберут! Это у нас народ мягкий! Володя да я... Взяли к себе, пожалели, а то бы пропал мужик...— Коркин захихикал.— Надо же! Дуб, лодырь, а туда же! Уважение ему! Ишь ты... Обойдется! Свои небось сумки никогда не открывает — все чужое норовит слопаты! А, коломенский?

— Ты! — заорал вне себя Саня.— Еще раз назовешь так — башку отвинчу! Понял?

— Чего, чего ты?! — Семка-матрос шарахнулся спиной о стенку.— Во бешеный! Ну, не буду, не буду, ладно! Извини! Я ж по дружбе так, по дружбе...

Саня отвернулся от Коркина носом в подушку, затих. Семка долго бормотал что-то, горестно вздыхая в душном кубрике.

— Ладно,— неожиданно сказал ему Саня.— Не стони. Пойдем-ка лучше на речку поглядим.

— А чего на нее глядеть-то? — удивился Коркин, но потащился за товарищем на темную палубу, встал у борта, поплеывая.

Саня поглядел с неудовольствием: дурацкая это привычка — плевать! Особенно в воду, в чистую светлую речку. Володя вон рассказывал, что настоящий моряк никогда в море не плюнет, и это понятно: море для моряка — дом родной. В море и хоронили в войну — бросали прямо в воды. Тут не плюнешь...

— Ну что ты как верблюд! — рассердился Саня на Коркина и стал рассказывать то, что рассказал ему недавно Володя.

Семка-матрос слушал, не перебивал. Изредка появлялся из кочегарки Карпыч и тоже прислушивался к тихим Саниным словам и потом, повздыхав, как после груза, исчезал в своей горячей гудящей дыре. Саня закончил.

— Знаю,— пробормотал Коркин.— Видел в кино, как хоронили...— И, помолчав, добавил с неловкой

своей хитростью: — Так ведь то море, а у нас речка!
— Ну и дурак! — раздался из преисподней сердитый голос Карпыча, на который Коркин не обратил никакого внимания.

А Саня послушал, послушал и, не услышав больше кочегара, задумчиво сказал:

— Речка — это правда... Ну и что ж? Это же питьевая вода, а ее на земле знаешь как мало осталось? Всю исплевали такие, как ты.

Карпыч снова появился, уселся на шлюпке, вытянул шею.

— Мало? — удивился Коркин. — Кто тебе сказал?

— Володя! — отрезал Саня, и Коркин замолк. И плевать перестал.

Ребята молчали, смотрели на реку, слушали, как шумит колесом, плещет вода, шипит неумный пар. В привычные звуки реки и машины вклинивались иногда и какие-то новые, посторонние: это что-то бормотал, раскачиваясь на своей шлюпке, Карпыч — то ли молитву читал, то ли тихонько ругался на кого-то.

— Поддал, что ли? — прошептал Коркин на ухо Сане. — Ты, случайно, ему ничего?

— Случайно, ничего...

Саня с беспокойством, самому непонятным, смотрел в сторону Карпыча, который все раскачивался и бормотал. И вдруг мальчишка зажмурился, словно в глаза ему ударил яркий свет: так ясно увидел недавнее — грязную комнату, отца, раскачивающегося на смятой постели...

— Ну гляди, коли что, — гусаком шипел в ухо Коркин. — Я не погляжу, а тут же!

Карпыч перестал бормотать, выпрямился и застыл так, черной тенью на светлом.

— Пошли? — повернулся Саня к Коркину: этот Карпыч мешал ему смотреть на звездную речку, мешал думать, дышать.

— Пошли! — с облегчением ответил Семка-матрос, и, отойдя, оба почувствовали себя свободней, и Саня уже вспомнил смешное про Карпыча.

— Как пончики-то в карман пихал! — с улыбкой подталкивал он локтем Коркина. — Масло, говорит, к маслу не пристает!

— Дурак! — с непонятной злобой ответил Семка. — Грязнуля чертов!

Саня вздохнул, замолчал, опершись на поручни. С шипом летела вода под бортом, выплывали издалека красные огоньки бакенов, дрожали звезды в воде. А впереди, прямо перед носом парохода, время от времени с гулом вышлепывалась из темной холодной глубины немалая рыбина и, блеснув влажным золотом, уходила опять в разбитую лунную дорожку.

— Отец у тебя хороший? — спросил вдруг Саня, и Коркин осветился такой широкой улыбкой, что мальчишке стало больно от своего вопроса.

А Семка придвинулся, обдавая ухо горячим дыханием.

— Ага! Знаешь, какой он у меня! Добрый. Только... — Коркин поник головой, отвернулся. — Только, знаешь, больной он — сердце... Врачи говорят: волноваться нельзя. А как тут не заволнуешься? Кругом одни черти вроде Карпыча! Так и норовят обжечь!

— Семка, Семка! — укорил его Саня. — Ну что ты такой?

— Какой? — насторожился тот.

— Недовольный какой-то. Как будто тебя часто обманывали...

Семка подумал и ответил вроде бы с удивлением:

— Да не-е, не часто...

— И людей хороших много на свете! — упрямо тряхнул головой Саня.

Коркин опять подумал и опять удивился, видно пересчитав хороших людей вокруг себя и поодаль:

— Ой, много... — И засмеялся тихонько: — Вот и бабка моя... Такая добрая... Она ведь пончики-то делала, которые Карпыч сожрал... Помнишь, какие пончики? С корочкой... В масле... Слад...

— Коркин! — поспешил перебить Саня.

— Ну? — испугался тот.

— Коркин, Коркин, счастливый ты человек... И мать у тебя хорошая, и отец добрый, и бабка вон... Видишь, какое счастье подвалило одному. Я ведь бабку-то свою и не помню... Как твою-то зовут?

— Бабка! — быстро ответил Коркин. — Бабка Дуня. Евдокия... Забыл, как дальше...

— Эх ты, забыл! Я бы свою ни в жисть не забыл!

Семка-матрос виновато засопел, плюнул было по привычке в воду, испуганно вытер губы и вдруг закричал обрадованно:

— Петровна! Во!

— Молодец, родил-таки,— грустно усмехнулся Саня. И пошел в каюту.

Семка подумал, посопел и тоже отправился следом за товарищем — сутуловатый, большерукий и косолапый.

12

Проснулся Саня ночью непонятно отчего. Посмотрел на будильник: до вахты далеко. А почему проснулся? А-а, колесо не шлепает! Стоит пароход, и слышно, как Гриша кричит кому-то: «Трос, трос выбирай!»

— Коркин!

Не отвечает — спит.

Саня выглянул в иллюминатор. Огоньки на берегу: какой-то городишко — не Коломна, не Серпухов. Может, Озеры? Гриша кричит, командует. Он на вахте: ночью всегда капитан стоит — самое ответственное время. Но кричит почему? Саня удивился, а потом встревожился. И начал одеваться. Оделся, вылез на палубу. Как раз загрохотала цепь — якорь подняли, пошли.

Река лежала под ногами темная, и Сане показалось: вклеился пароход в чернила, вклеился и застыл. Но пригляделся, увидел: луна, удивительно плоская и большая, тихо плывет вдоль берега низко над кустами. Кусты пятятся, луна кажется близкой — палкой добросишь. Саня пригляделся получше — и река не такая уж темная. Встали вдали огоньки. На берегу они — точки, а в воде отражаются длинными столбами, это, значит, рябь по реке. Впереди парохода столбы ровные, позади — изломанные волнами, извилистые. И бакены в темноте светятся в два огонька: один — маленький, настоящий, красный или белый, другой — отражение, длинный острый столб, тоже красный или белый.

Саня вошел в рубку, освещенную только луной. Гриша в кителе, в кепке с большим козырьком и в любимых мягких домашних туфлях. Гриша татарин, родом из Казани, и оттуда ему прислали такие красивые тапочки, расшитые, с загнутыми носками, как у Хоттабыча. Саня посмотрел на темный профиль капитана,

и ему показалось, что Гриша со своим горбатым носом похож на большую суровую птицу, на орла, что ли? И такой же он молчаливый, как орел.

— Не спишь? — спросил капитан. — Чего?

— Так, — обрадовался Саня живому голосу, стал рядом, глядя на огоньки.

— Зачем кричали?

— Баржу занесло, — кратко ответил капитан и без перехода продолжал: — В Коломну придем — сразу на берег тебя, да?

— Да! — Саня счастлив, что так сразу и просто решил за него капитан: конечно, сразу на берег. Как там отец, что с ним? И теперь Сане кажется уже, что все станет на места, все будет хорошо — и с отцом, и с ним.

— Отца бы сюда, — сказал мальчишка.

Гриша повернулся.

— Почему?

Вопрос странный, однако понятный. Саня глядит на небо — совсем уж не черное, а синее, подсвеченное звездами, глубокое, бездонное.

— Чисто тут... у нас. Просторно. И люди... чистые...

«А Карпыч?» — вспомнилась вдруг жестяная — ковшиком — ладонь старика, и Саня замолк.

Потемнело сразу — это луна нырнула в тучу. Ветер ударил по стеклам рубки, и Саня почувствовал, как напряженно загудела машина. Посмотрел на Гришу.

— Ветер, — сказал капитан. — Баржи.

— Ветер! — с топотом влетел в рубку заспанный Иван Михайлович. — Надо за баржами поглядывать!

— Да! — ответил ему Гриша-капитан, и механик пропал во тьме.

А ветер вырастал из ночи, бил порывами, со свистом. Хлестала высокая волна — прямо в нос, в старческую грудь парохода. Все вокруг заходило ходуном, задрожало, закрипело, только Гриша-капитан оставался неподвижен и черен. Он сунул в рот сигаретину, и она, часто вспыхивая, освещала его тонкие губы и нос.

Вдруг пароход рванулся вперед, и Гриша, не оборачиваясь, как-то очень уж спокойно произнес:

— Баржи.

И протянул руку вверх. У-у-у! — часто понеслось

над рекой. И через минуту Гриша уже отдавал приказания прибежавшим ребятам — кому в машину, кому на корму, а Сане сказал:

— Иди-ка в котельную.

— Да, капитан! — ответил мальчишка и выскочил на ветер, который, совсем как в океане, был штормовым и злым и норовил сдуть в черную и тоже злую воду.

Гриша включил прожектор, осветил острым лучом баржи, испуганно сбившиеся в кучу. На них, черных, сутились черные люди.

Пароход кормой надвигался на баржи. По палубе, нагнув голову, прошел Володя — в робе, в рукавицах, но, как обычно, даже тут, в темноте, углядел Саня чистый белый его воротничок: Володя всегда опрятен.

— Трос лопнул! Баржа на камень налетела! Пробойна! — заорал, пробегая мимо, Коркин, и Саня увидел эту самую баржу — она беспомощно сидела на каменной гряде, ее сваливало волнами набок, захлестывало, заливало.

— Идем к вам! — рыкнул Гриша в мегафон и еще рыкнул: — Володя, насос!

— И я! — подскочил к товарищу Саня, хватая толстый корявый шланг пожарного насоса, но капитан оглушил его:

— Сергеев, в кочегарку! Коркин, к брашпилю! Михалыч, держи!

Подчиняясь командам, старый пароход послушно пятится к баржам, его сносит течением, и Иван Михайлович стопорит ход машиной, а у брашпиля — якорной лебедки — стоит наготове Семка-матрос.

Пароход приткнулся наконец к баржам, и Саня увидел, как тотчас полетел на первую гибкий конец — его ловко приняли на барже и следом поволокли тяжелый буксирный трос.

— Давай! — прогремел над волнами Гришин голос, и Саня не понял, кто же проволок мимо него негнувшийся шланг — то ли Володя, то ли Иван Михайлович, то ли Карпыч.

Шланг задергался, зашипел, полилась вода.

— Мешки! — крикнул Гриша-капитан, и снова какие-то молчаливые люди, неузнаваемые под брезен-

том, забегали на пароходе, на барже, потащили мешки, корзины и еще что-то.

Саня тоже схватил было мешок, побежал вместе с людьми, но Гриша-капитан на сей раз своим, без мегафона, голосом спросил устало:

— Сергеев, где твое место?

И Саня понял, что каждый тут, на баржах и на пароходе, знает свое место и делает то, что нужно, и лишь он болтается под ногами, мешает людям и нагоняет ненужную суматоху.

— Иди погляди, как там,— попросил Гриша, и Саня пошел, но, прежде чем нырнуть в кочегарку, успел увидеть, как баржа поднялась над водой и пароход начал медленно и упорно выволакивать ее на фарватер.

«Заделали дыру»,— понял мальчишка и, обессиленный, съехал в котельное отделение. Плюхнулся на что-то.

— Шляешься там, а мне разодраться? — заворчал тут же Карпыч, и Саня обрадовался этому привычному ворчанию, как и привычным огонькам в глазках котлов, привычному гуду форсунок. Он видел, что и старик рад его приходу: верно, насиделся тут в одиночестве, наскучался.

— Ветер-то, а? — сказал Саня, помаленьку отогреваясь в тепле.— Прямо ураган.

Карпыч повернулся к нему взмокшим лицом.

— Ураган! — скривился презрительно.— Разве ж это ураган? Вот у нас, бывало...

«Давай, заливай»,— устало привалился Саня к железной перегородке — ему так необходим сейчас этот Карпыч с его недовольным ворчанием, корявыми лапами и кепчонкой, насунутой на нос.

— Как там? — спросил старик, и Саня открыл глаза.

— Нормально.

Карпыч забухал к выходу.

— Ты тут побудь-ка,— сказал на прощание.— А я там... погляжу.

— Карпыч! — испугался Саня, что остается один на один с живыми гудящими котлами ночью, в ураган. А вдруг что случится? Это тебе не день, когда рядом, наверху, Володя, или Гриша, или сердитый Иван Михайлович. Где они теперь?

— Что? — понял его Карпыч и засмеялся, довольный. — Жутко? То-то, коломенский! Поймешь...

И, не досказав, что же должен понять мальчишка, Карпыч загремел по железным ступеням, и Саня остался один. Хорошо еще, что на палубе топали и шумели — значит, там народ, а с народом не так страшно. И Карпыч наверняка, разузнав новости, явится к нему, чтобы с чувством, с толком, с прибавкой поведать о сегодняшних страстях и о тех жуткостях, которые случались с ним, с Карпычем, прежде. «Заливай, заливай, — улыбался Саня. — Заливщик!»

Однако старика все не было. Топот на палубе прекратился, ветер вроде бы затих, и слышалось ровное, мерное шлепанье колес. «Значит, порядок», — подумал Саня и захотел было высунуться на минуту — поглядеть, действительно ли одолели они непогоду и так ли, как всегда, тянется по реке караван, но тут он заметил, что не туда пошла, побежала дрожащая стрелка манометра, что форсунка одного котла начала недобро посвистывать. «Ой! — испугался Саня. — Спросить бы механика!»

Но Иван Михайлович сам заглянул к нему.

— Стой-ка! — вскинул руку, хотя Саня никуда и не уходил.

Бросился к котлам, к автомату — Саня глядел во все глаза. Опять как надо запела форсунка, стрелка утвердилось на положенном месте. Иван Михайлович зверем взглянул на мальчишку:

— Почему ночью один? Где Карпыч?

— Пьяный он, черт! — всунулся Семка-матрос. — Недаром у меня деньги просил — я-то не дал! А этот, коломенский, поди, дал! Глупый!

...Карпыч мирно лежал на койке в своей каюте. Саня нагнулся — ему показалось, что старик не спит, притворяется. «Бросил! Оставил совсем одного!» Саня задохнулся от внезапной обиды, растерянно поглядел на механика.

— Ага! — торжествующе сказал Коркин. — Пьяный! Сколько дал?

Иван Михайлович растолкал Карпыча, тот сел, хлопая глазами.

— Ну? — спросил механик. — Достукался? И не стыдно перед народом? Зачем деньги у мальчишки выманил?

Карпыч жалко улыбнулся, и Саня впервые увидел его глаза, беспомощные, стариковские, покрасневшие — от вина ли, а может, от усталости...

— Отдам,— пробормотал он, нашаривая кепку и опять натягивая ее на нос.— Отдам... Все отдам... Сполна...

— Нет, ты ответы! — нависал над ним механик, и Саня поморщился: зачем, к чему он все это говорит?

— Устал ведь,— пожалел Саня старика.— Пускай спит...

— Что? Как это? — воззрился на него Иван Михайлович.— Он же позорит!..

— Завтра! — умоляюще прижал мальчишка руки к груди.— Завтра... Он устал, понимаете? Ему поспать бы... А деньги — ну их!

— Чудак ты! — буркнул механик, бухаясь на табурет и оглядывая низкую Карпычеву каютку, неприбранную, неудобную, где из-под койки торчали шлепанцы, а на столике стояла жестяная кружка неведомо какого года выпуска. Ни картинки, ни светлого пятнышка на стенках — пустота.

— Ладно,— с ехидством произнес вдруг Коркин.— Лежи, Карпыч! Спи спокойно, дорогой товарищ, а я капитану скажу!

— Молчать! — обрубил его Иван Михайлович.— Не вылазь вперед батьки!

— Верно! — кивнул Саня, разглядывая Семку-матроса, потом переводя взгляд на старика.— Спи, Карпыч, там все в порядке,— положил он руку на плечо старику, и тот шевельнулся.

— Эх ты, Саня! — сказал протяжно.— Саня, Саня... Учить тебя и учить. Чтобы понял ты... Чтобы знал... Чтобы участие имел к человеку...

— Пьяны! — визгливо крикнул Коркин.— Деньги брал? Они твои?

— На! — Иван Михайлович трахнул Семку по затылку — тот поперхнулся, выкатил глаза.— Уйди!

Коркин, шатаясь, поднялся, ушел, загребая ногами и налетая на все углы, которые только были в каютке.

— Спать, спать! — приказал механик Карпычу, и тот усмехнулся — совсем не пьяный, скорее, больной человек.

Иван Михайлович поглядел на Саню.

— Брысь!

— Ага! — вскочил тот. На минуту замешкался у порожка. — Спасибо!

И потом, в кочегарке, куда притащился механик, они промолчали всю ночь до рассвета, и только под утро Иван Михайлович угрюмо поинтересовался:

— За что же?

Саня поднялся — одного с ним роста, — поглядел в глаза и ответил:

— За человечность!

Иван Михайлович надвинул брови: видно, в его уставах и наставлениях такого пункта не значилось.

С первыми проблесками зари заглянул в кочегарку Коркин — сам светлее солнышка, на лице улыбка, в руке синяя бумажка.

— Вот! — потряс он бумажкой, скосив глаза на механика. — Отдал! На!

Саня взял бумажку — та ли это, которую спасал у борта Карпыч, или другая? Посмотрел на механика — что-то вдруг устал от бессонной ночи Иван Михайлович. И так, с пятеркой в кулаке, полез наверх — к светлому небу, к белой шлюпке, покрытой брезентом, на которой отдыхал после сна и перед сменой угрюмый Карпыч.

— Карпыч...

Старик не взглянул.

— Не обижайся, а...

Карпыч отвернулся.

Коркин переводил недоуменный взгляд с расстроенного Сани на квадратного Ивана Михайловича: почему молчат, зачем не обличают порок?

— Что за шум? — Из рубки на отдых шагал, по-стариковски шаркая тапочками, Гриша-капитан. Он все знает, все ведает — и про котлы, и про Карпыча, и про пятерку. Коркин ему напел, не за себя, за Саню беспокоясь. Суровы зоркие глаза капитана, обежали всех, цепко прощупали каждого. — Ну?

И Коркин проглотил язык, затанцевал, и механик крикнул, словно сказанул глупость, и Володя в рубке врубил «Спидолу».

Карпыч поднялся навстречу капитану, развел руки, уронил голову — пате, рубите.

— Не надо... — Саня с надеждой посмотрел на Гришу. — Не надо! — повторил с напором, и капитан прищурился: ого!

— Ладно, решу! — сказал наконец Гриша, и Саня передохнул: правильно решит капитан, раз теперь не рубанул сплеча.

Карпыч торопливо и сутуло полез в кочегарку. Гриша провожал его взглядом.

— А говорил... — заныл вдруг Коркин, и все посмотрели на него.

— Что? — поднял бровь капитан.

— Он вот! — Коркин ткнул пальцем в Саню. — Распинался! На воде люди спокойней, чище. Они от реки такие. Вот тебе — чистый! Карпыч! Деньги выманивает! И у меня тогда!.. И не отдал!..

— Коркин, Коркин, — сказал ему Саня. — Разве ж в деньгах счастье?

— А то в чем же? — ответил тот без раздумья.

Все замолчали, и в тишине раздался веселый Володин голос:

— Берег!

13

Пока грузили баржи, пароход подошел к высокому берегу. На него перекинули трап — узкую трепетную дощечку, и возле нее остановился в нерешительности какой-то старый человек, в длинном пиджаке и рыжих башмаках.

— Эй, товарищ! — крикнул Иван Михайлович, когда человек ступил на трап. — Не положено!

Но, отпихнув его, полетел вниз Саня. Остановился, растопырил было руки и опять опустил их:

— Папка... Здравствуй...

День был пасмурный, на берегу ни души, и Саня с отцом уселись под деревянным облупленным мухомором, тут же, на песке, среди окурков и газетин. Посверкивало горлышко разбитой бутылки, и отец, косясь на него, покашливал. Саня во все глаза жадно, открыто смотрел на отца, подмечая и опавшие его щеки, и длинные серебряные нити в нечесаных волосах. «Папка, папка!» — повторял про себя мальчишка и боялся спросить, чтобы не обмануться.

— Вот так... — медленно, без прежней суетливости начал отец, и Саня напрягся в ожидании. — Работаю... Дом наш сносят. Так что скоро переселимся... К осени...

— К осени...— все терпел, ждал главного Саня, и отец усмехнулся горько:

— Не пью... пока... Вот отпуск взял, тебя дожидаться...— Посмотрел на Саню внимательно и грустно и впервые за долгие эти дни спросил его по-родному: — Ну а ты-то как, сынок?

— Ничего...— Саня ткнулся головой ему в плечо, потерся.— Как... Шарик?

— Пойдем-ка,— поднялся отец.— Успеешь еще...

Вот и улочка, вчера еще тихая, сонная, а сегодня на себя не похожая: прет по ней, по садам-огородам, по яблоням и грушам широкая, очень ровная, очень желтая по гребню канава.

— Трасса,— произнес отец.— Поперек жизни нашей...

Саня смотрел, закусив губу, на растоптанный огород, на вывороченную с корнем смородину в саду, на мамину искромсанную яблоню. Вот он, подошел завод к поселку — раздавил, не оглянулся. Может, так надо? Хохотал, лежа на спине, грушевый чертенок. Обнажились его крепкие корни.

— Трактором рвали,— кивнул отец.— Не сдавался... Еле выдрали... И Шарик пропал... Не вынес... И голубей нету...

— Батя! — обнял его Саня.— Прости.— Уткнулся в пиджак, пахнувший машиной и землей.— Я виноват! Бросил! Прости!

— Нет, сынок, нет, ты все верно сделал... Я сам себя казню... Сколько я за эти дни и ночи передумал!.. Сколько понял!.. И главное...

— Что? — прошептал Саня, поднимая глаза.— Что главное, батя?

— А то,— смотрели ему в очи родные глаза, очень больные, очень усталые.— То я понял, Саня, что нельзя человеку одному... Одного-то его жизнь скрутит и вырвет, как нашего чертенка... маминого...

Привычно скакнула отцова губа — вниз, вкривь. Саня сжал его руку:

— Папка!

— Ничего! — совладал с собою отец, посмотрел строго.— Ничего. Иди-ка! Тебя зовут.

И тут только Саня услышал ворчливый гудок «Переката».

К трапу подошли они вместе. Подталкивая сзади,

Саня помог отцу взобраться на борт, задыхаясь, проговорил:

— Вот папка! Он со мной! Пускай, а?

И пока Карпыч усмехался и качал головой, пока Иван Михайлович хмурил брови, перед тем как выдать что-то длинное, уставное, капитан, переглянувшись с Володей, быстро и кратко сказал:

— Проходите!

— Очень хорошо,— заулыбался Володя.— Очень верно! Пускай товарищ посмотрит, как мы живем, пускай увидит. Проходите, товарищ!

— Сергеев,— тяжело вздохнул отец.— А когда-то Сергеем Петровичем звали...

— Проходите, Сергей Петрович,— сказал Володя.— Саня вас проводит! Он у нас молодец, Саня!

— Молодец,— монотонно повторил гость, оглядывая ребят и потирая небритый подбородок: видно, неловко было ему стоять перед незнакомыми людьми в таком затрапезном виде.

Саня притих: давно отец не обращал внимания ни на себя, ни на других — неужели переменялся?

— Право же, неудобно,— маялся пришлый.— Незванный гость, говорят, хуже татарина.

— А капитан наш — татарин! — дернуло Коркина за глупый язык, и отец смешался, шагнул было обратно к трапу, да его уже убрали.

— Извините,— пробормотал отец.

— Ничего,— сдержанно ответил Гриша-капитан.— Саня!

Саня глубоко, облегченно вздохнул, взял отца крепко под локоть и повел в свою каюту, чувствуя хороший взгляд Коркина.

Отец шагал, глядя под ноги, но, перед тем как спуститься в трюм, замедлил шаги перед узкой дверцей.

— Гляди-ка, солнышко!..

Дул ветер, накрапывало, отец мерз в легком своем пиджачке.

— Чудак,— исподлобья взглянул на небо Саня.— Какое там солнышко — тучи...

— Да нет же, Сань, во-он там, видишь желтенькое?..

Саня открыл глаза. Шумит колесо... Ночь наверху. И длинный гудок — Гриша просит у кого-то разреше-

пия пройти. Наверное, машинка, как зовут ребята земснаряд. Немного погода Гриша начинает ругаться злыми короткими гудками — видно, в машинке замешкались. Ага, гудят ответно! И мигает теперь отмашка — белый ночной огонек.

Качается пароход, плюхает колесо, тянет речным холодком в открытый иллюминатор. Хорошо жить на свете! И совсем здорово, когда рядом, на коркинской койке, спит самый близкий, самый родной человек. Сане не спится — скоро менять Карпыча. Одевается в рабочее, сует ноги в бутсы.

— Ты чего?

— Спи, батя, мне на вахту...

Отец садится на койке, свешивает ноги, старается разглядеть сына.

— Вахта... Слово-то какое серьезное... А ведь и я когда-то... На вахте...

— Ты не говорил, батя.

— Все некогда было...

Саня пересел на койку отца, обнял его. Отец задыхался в сторону, будто выпивши. И заговорил тоже в сторону:

— Извелся я без тебя-то... День нету, два... Дед Кузьмин говорил: «Не волнуйся», а как не волноваться-то — сын ведь... Потом совсем очумел... Пусто в доме, как в гробу... Понимаешь?

— Понимаю.

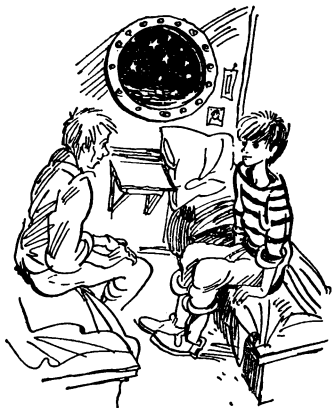
— Ну, и стал я бегать, искать тебя. Узнал, что плаваешь... Что при деле... Порадовался... Прости, коль сможешь... За то...

— Да что ты, папка! Что ты! Все вот как хорошо! Спи, а? Спи, пожалуйста. Давай я тебя накрою... Вот так... Спокойной ночи...

Забухал по лестнице, споткнулся: «Шарик!» Да, жалко Шарика, пропал...

Опечаленный, выбрался под звезды, посмотрел на воду, на небо и подумал: «Папка...» И стало ему легче, стало спокойней, что пропали вечные думы-заботы, что тихо спит себе отец в его каюте, что утром вместе с сыном увидит он рассвет, вечером — закат, а коли встанет сейчас, разглядит и огоньки на берегу — такие далекие, дрожащие, аж сердце сжимается...

В рубке Гриша и Иван Михайлович — спорят о колхозах. Один за штурвалом, другой — на спасательном



ящике. Саня тоже садится рядом с механиком. Он не жил в деревне, не знает колхозов и потому не ведает, кто из них прав. «Хорошие люди! — думает Саня про Гришу и Ивана Михайловича. — Все-то их волнует, за все готовы драться, как за свое, собственное». Вон как Иван Михайлович раскипятился, разорался совсем без степенности:

— Я говорю, надо любовь к земле прививать! У молодых, естественно! По-государственному думать надлежит! По-государственному! Как положено!

Гриша отвечает кратко, в лоб, точно. Саня молчит. И ему хочется, чтобы в мире было все хорошо и спокойно, чтобы не стало бедных деревень и равнодушных хозяев земли.

— Чтобы войны не было, — вслух произносит он, и ребята, притихнув, соглашаются.

— И чтобы пили меньше! — набежал на новую тему Иван Михайлович, но тут приоткрылась дверка, всунулся чубчик:

— Можно на огонек?

Отцу тоже не спится, Саня хорошо понимает его. Подвигается, теснит неколебимого Ивана Михайловича.

— Садитесь, — без особой любезности приглашает механик, и отец присаживается рядом с ним.

Ребята, остывая, молчат, и Сани понимает: не хотят при постороннем. «Посторонний», — екнуло сердце.

— А вот у нас в Коломне... — силится он оживить разговор, и тот помалу оживляется — только теперь он не такой, как раньше, а вежливый, натянутый, словно при гостях.

Иван Михайлович старается подбирать слова поученей и совсем запутывается в своих «естественно» да «понимаете ли», а Гриша вообще отделяется одной-двумя фразами. Молчит отец: да и чем ему похвастаться?

— А мой Сергей Петрович машину вот как знает! — заступает за него Саня и опускает голову — с такой ледяной вежливостью тянет Иван Михайлович свое: «Надо же-е!»

— Ну, нам пора, — поднялся отец. — Проводишь, сын?

— Провожу.

Им на палубе лучше, чем в рубке: они вдвоем, без посторонних, можно говорить обо всем. Но не говорят. Не спрашивается. Только изредка два-три слова:

— Туман-то, а?

— Да... Как вата...

И верно, пришел с рассветом туман, навалился такой густой и тяжелый, словно вплыли они в молоко. Пришлось остановиться, бросить якорь и «погудывать». Наконец взошло солнце, очистилась вода, обнажились плесы с черными вечными рыбаками.

— Смотри, смотри! — то и дело высовывался Саня из кочегарки, приглашая отца порадоваться свежему утру, раннему солнцу. И досада брала: почему не смотрит отец на рассвет, зачем приклеился рядом с Карпычем на шлюпке, о чем завел со стариком длинный и, видно, обоим приятный разговор?

Коркин, поманив его пальцем, опасно спросил, не договорятся ли деды до «этого самого»? И щелкнул себя по гусиному горлу.

— Коркин! — позвал его Гриша-капитан, спускаясь с верхней палубы на отдых.

— Ага! — отскочил Семка от Сани. — Я только...

— На место, — чуть повысил голос капитан, и Семка, недовольно покачивая головой, потащился в машину.

За обедом отец был тих и невесел, и чем сердечнее угощала его тетя Дуся, тем угрюмее глядел он в миску: понятно, человек рабочий, не привык даром есть хлеб. Наконец сказал спасибо и вылез из-за стола. Саня слышал, как возле Карпычевой шлюпки, к которой неведомая сила потянула отца, произошел такой разговор.

— Не наелся, Петрович?

— Да не идет в душу, Карпыч...

— Это мне очень хорошо известно, Петрович.

— Да, такие дела, Карпыч...

— Сейчас бы по маленькой, а? Глядишь, и наладилась бы беседа, как считаешь, Петрович?

— Неплохо бы и по маленькой... И чайком бы неплохо побаловаться...

— Да-а, чай — он душу разогревает, на беседу настраивает. А то с кем тут поговорить-то? Мальчишки одни... Бегут, несутся — а куда? Нет бы старших послушать, поучиться... Так я говорю, Петрович?

— Так, Карпыч, так.

— Пойдем, что ли, ко мне, я тебя такими огуречками угощу... А ты, Санька, не гляди, не гляди: ничего страшного не будет. Я еще от того твоего угощения в себя не приду! Спасибо тебе!

Однако не успокоил Карпыч Саню — проторчал мальчишка на палубе, пока снова не появились эти двое, сытые, умиротворенные, очень друг другом довольные. Поддерживая один другого под локотки, проследовали к шлюпке, закурили, не обращая внимания на сновавшего неподалеку Коркина.

— Может, вы ко мне подниметесь? — позвал гостя Володя, и Саня потянул отца за руку:

— Пошли, интересно!

— Да уж кино! — скривился Карпыч и, в сердцах наплевав в тихую безвинную воду, угнезвился на шлюпке.

— Ну? — торопил Саня отца. — Здорово? Гляди, какая река!

Отец глядел и ежился: видно, вспоминал, как тащи-

ла его на плотик бабка Марья, тащила и слезно приговаривала насчет третьего неминуемого раза.

— Саня, покрути! — вдруг сказал Володя с каким-то веселым отчаянием в голосе.

— Я? — испугался мальчишка: покрутить разрешалось только Семке-матросу, да и то не часто.

— Давай, давай! — подталкивал Саню Володя к маленькому штурвальчику, а Иван Михайлович покачивал снизу тяжелой башкой: ох, не дело удумал штурман!

Саня уселся на место капитана, на теплую скамейку, чувствуя на спине своей напряженный взгляд отца. Тронул пальцами заветное колесико. Увидел за стеклами рубки широкий Семкин рот: на, гляди!

— Смелей, — наклонился Володя. — Я же тут...

«Крутить» оказалось не так-то легко: шестерейки сыто похрустывали, и Саня чувствовал, как там, внизу, паровая машина натягивает цепи, тросы, как, подчиняясь его воле, неуклюже и важно поворачивается руль-рулино. А как, наверное, тяжело было вручную ворочать вот этот большой штурвал с отполированными за многие годы ручками!

Саня скосил глаза — Володя выставил чуб в окошко, и его полощет ветер. Шлепают колеса. Саня ведет караван. Мимо мелей и бакенов, мимо плесов и перекатов, мимо суровых рыбаков.

Володя громко поясняет отцу:

— Столб на берегу видите? Знак такой. Можно свободно идти этим берегом.

«Знаю», — понимает малую эту хитрость благодарный Саня.

— А вон перевальный знак. Ну, чтобы переходить, переваливать, что ли, с берега на берег, идти где поглубже, поудобней...

— Мудрено, — с уважением говорит отец, и в голосе его Саня слышит тревогу: справишься ли, сын, не подведешь?

Не бойся, батя! Сане теперь ничего не страшно!

А позади — осторожные разговоры. Отец спрашивает у Володи, трудна ли речная работа. И Володя горячо отвечает: ох и каторжна! Одних знаков да огней — черт голову сломит! «Точно!» — хмурится Саня.

Впереди — земснаряд: черная высокая фабрика на

плаву, с трубами, с окнами, с ковшами. Саня говорит, не оглядываясь:

— Машинка!

— Погуди!

Гудит: разрешите пройти? Над трубой машинки поднимается белый султанчик, и чуть погода доносится ответный гудок — пожалуйста. И трепыхается от-машка.

Володя, выскочив на мостик, тоже машет белым ослепительным флагом. Машинка чуть отодвигается к берегу, освобождая, как условились, дорогу.

— Расходимся левыми бортами, — буднично говорит Володя, и Саня кивает:

— Ага...

А за спиной тихо волнуется отец:

— Сань...

Внизу раза два прохаживался Карпыч — поглядит наверх, на рубку, с отвращением плюнет и снова пропадет в дыре. На третий раз не пропал — подошел к борту:

— Бабы...

Мимо проносились байдарки, а в них загорелые девушки дружно посверкивали вёселками. Коркин засвистел, заплясал. Девушки помахали ему руками.

— Погуди! — сунулся под Санину руку взволнованный Володя. — Ага! А ну еще!

Иван Михайлович — человек солидный: не орет, не свистит, не гудит, вдумчиво разглядывает девчонок в черный бинокль. Так засмотрелись ребята — чуть на мель не влетели: попер пароход мимо белого бакена.

— Эй! — недовольно оторвался от бинокля Иван Михайлович. — Купаться полезли?

Володя, оттерев Саню, поспешно закрутил штурвал — сперва маленький, потом большой.

— Фу! — оглянулся на помертвело-го рулевого. — Вытащили! Вот наломали бы дров!

— Сань, — усохший голос отца. — Пойдем, Саны!

— Пойдем, — опомнился сын. — Спасибо, Володя...

— Спасибо! — серьезно повторил отец, торопясь не в каюту, не в машину — опять на шлюпку, к Карпычу!

В Серпухове оставили «воз».

Гриша сказал отцу:

— Пока грузимся, можете с Саней на берег сходить. Тут не так далеко музей есть — домик Поленова, художника. На катере быстро обернетесь.

Саня вспомнил, как ходили они к Поленову, про которого Володя сказал: «Удивительно солнечный художник».

— Музей? — повторил простое слово отец, глядя на хмурого Коркина в новой тельняшке, на Ивана Михайловича, засовывающего рубаху в штаны. — А вы как же? — спросил он у Гриши.

— А нам некогда — дела, — развел руками Гриша-капитан. — Коркин, ты не слышал? На место!

— Да-а!.. — заныл было Коркин про берег, про больного отца, про нездоровую маму.

— Про Нюрку, про Нюрку скажи! — поддел Карпыч, и Семка, пробурчав что-то, замолчал, испортив всем настроение.

— Нет, нет! — поспешно отказался отец. — Спасибо! Пускай вон, — он кивнул на Коркина, — товарищ идет, ему надо, а мы...

— Ничего! — рассердился Карпыч. — Этот товарищ каждый раз сбегает и спасибо не говорит! А ты, Петрович, иди и Саньку захвати — пускай поглядит!

— А ты? — посмотрел на Карпыча отец. — Тоже вон устал-то...

— Эх, Петрович! — Карпыч подошел к отцу, сдвинул кепку на затылок и стариковскими слезливыми глазами взглянул прямо в его недоуменные глаза: — Ми-лай! Только ты один и вспомнил! Только ты и сказал про Карпыча! Пожалел! Семка, не гляди ежиком! Пойдешь на берег! Ладно. Остаюсь!

— Ой! — открыл рот Семка-матрос и посмотрел на Карпыча не ежиком — теленком.

— Иди! — великодушным жестом обвел Карпыч пыльный берег с его ящиками, тюками и рулонами.

— Иди, — с неохотой отпустил Гриша-капитан. — Только...

— Через час буду! — крикнул уже с трапа Коркин, позабыв простое слово «спасибо».

— Не расхолаживаться,— сказал оставшимся капитан.— По местам! Саня, идешь?

Саня посмотрел на отца, отец — на Карпыча. Саня шагнул к борту, к трапу, к берегу, на котором, высоко на гребне, показалась знакомая фигурка Наташи.

— Иди, иди,— понял его отец, а сам повернулся спиной к сыну, лицом к Карпычу.— Слушай, надо бы нам с тобой манометр...

— За работу! — приказал Гриша, и народ разошелся по местам.

Саня завистливо провожал взглядом Коркина — скользя и спотыкаясь, летел он наверх, подальше от парохода с его котлами и швабрами. Поравнялся с Наташей, сказал ей что-то на бегу, и девочка, посмотрев с минуту на «Перекат» и не заметив, видно, Саню, поплелась обратно — за горку.

Саня вздохнул и отошел от трапа.

Через полчаса к солнышку вылезли Карпыч с отцом — молчаливые, чумазные, чем-то очень друг на друга похожие. Саня пригляделся и понял чем — уверенной поступью, деловитостью.

— А ты, Петрович, разбираешься! — провожал Карпыч отца в душевую.

А тот отвечал:

— А как же — рабочие мы с тобой люди-то!

А после душевой, блаженно покряхтывая, розовые, распаренные, бродили по пароходу, и Карпыч длинно и бестолково разъяснял отцу насчет валов-шатунов. Саня хмыкал про себя.

— А это зачем? — стал потихоньку встревать он в долгую Карпычеву речь.— А то для чего?

— Для нада! — уже заводился старик и надвигал на глаза кепку.

— Саня,— сказал отец.— Пошел бы воп... к Володе...

— Да! Двигай! Нечего! — поддержал его Карпыч.— Тебе с нами, с дураками, неинтересно! Вот и топай к ученым! А уж мы тут одни как-нибудь... Пошли, Петрович!

— Сергеев! — сказал Гриша.— Сбегай в контору — бумага там. Хотя... Погоди-ка... Вон Коркин несется.

Часу еще не прошло, а Коркин уже летел обратно, размахивал какой-то бумагой и орал издали — сперва непонятное, потом различаемое:

— Эй! Баржи-и-и! Наши баржи украли-и-и!

Перекастовцы столпились на палубе: слишком уж нелеп был этот вопль в умиротворяющей полуденной тишине.

— Баржи, капитан! — показал рукой Володя, и все увидели, как другой мощный буксир-толкач подцепил их баржи и ходом поволол мимо «Переката». Напрасно Гриша гудел, а Иван Михайлович свистал, как мальчишка, в два пальца — на него из высоко вознесенной рубки толкача презрительно смотрел молоденький капитан в белоснежной фуражке.

— Не суетись! — Гриша с тревогой проводил глазами караван. — Вон Коркин бумагу тащит.

Семка взбежал на борт, задыхаясь, кинулся что-то говорить капитану, Гриша остановил его жестом. Принял из потной ладони пакет, вынул казенную, с нехорошим хрустом бумагу, забегал глазами.

— Вслух! — потребовал Иван Михайлович.

— На, — передал ему бумагу Гриша-капитан, и механик добросовестно, как делал он все на свете, жестяным своим голосом зачитал приказ по пароходству, и все начали переглядываться, а глаза у всех стали расширяться, плечи подниматься, а руки сами собой растопыриваться в стороны коромыслом: как же это так?!

— Не-е, — жалобно проблеял Иван Михайлович. — Гриш... Не положено...

Капитан словно очнулся от привычного слова, зло взглянул на механика и крикнул:

— Что там не положено! Отходил свое «Перекат»! Под боек его, на железо!

— Погоди-ка, — остановил эти не капитанские слова Володя. — А может, нам собраться всем да и к начальству? И прямо сказать: не позволим! Наш «Перекат» еще послужит: машина в порядке...

— Да! — топнул ногой по железу Иван Михайлович.

— Машина в порядке, — продолжал Володя. — И котлы...

— Котлы-то худые, — произнес Карпыч, — пар еле держат. Скажи, Петрович...

Гриша вцепился взглядом в отца — тот пожал плечами:

— Мое ли дело?..

— Вот именно! — отрезал Гриша, а Коркин добавил:

— Сам ты пар еле держишь!

Карпыч не стал орать в ответ — побрел на свою шлюпку.

— Слышь-ка, Карпыч! — устремился за ним отец.

— Жалко, — сказал Саня, и Гриша рассеянно поглядывал на него, впервые, должно быть, не зная, что теперь делать и куда плыть.

День и другой промелькнули, как в кошмарном сне. Про перекатовцев словно забыли, и они то слонялись по палубе, то болтались по берегу, вчера еще такому желанному, а сегодня неуютному, пыльному, то бегали по начальству — вместе или поодиночке, и даже выдержанный Иван Михайлович кричал у кого-то там в кабинете и бухал кулаком по столу.

«Плохо, — думал Саня, шатаясь вместе со всеми по горячей палубе. — Хоть старое корыто, да свое, обжитое...» И зорким, приметливым глазом подмечал, как по-хозяйски, словно старый дед, ходит вечерами Гриша по пароходу, проверяет, все ли на месте, — а чего теперь ходить? И как Иван Михайлович без стука прикрывает за собой двери — к чему их теперь беречь? И повариха тетя Дуся поливает свои кактусы-фиктусы, насаженные где только можно, — куда их теперь, бедных? И ребята, жалея тетю Дусю, не суют больше в цветочные горшки окурки — чего жалеют? И Карпыч, ворчливый, бестолковый Карпыч, не слезает с любезной шлюпки — даже брезент на том месте засален его штанами... Сиди, Карпыч, досиживай... Куда ты пойдешь без своей шлюпки? «Дом, — глядит Саня на Карпыча, — это тебе не станок и завод — отработал, ушел... Дом — это весь «Перекаат», с его колесами и шипом. И как же сломать дом?»

— Чудаки! — говорил с берега тот самый добрый начальник, который пригрел тогда Саню. — Вот чудаки! Новый теплоход получите, новый!

И смотрел сердито на Саню. «Новый! — поеживался мальчишка. — Значит, необжитой и холодный, с неизвестным характером».

— Нет уж, ни к чему мне новый! — отвечал начальнику Карпыч. — Кто куда, а я на берег!

И Саня, остро жалея старика, понимал, что некуда податься Карпычу: не нужен он на теплоходах, не ну-

жен на берегу — только к супружнице своей, к бабке кочегаровой...

— Может, на завод? — тихо спрашивал отец — не первый раз спрашивал.

Карпыч трясет головой. И Саня видит, каким страшным и чужим кажется старику этот неведомый завод, милый и понятный его отцу.

— А ты? — неожиданно спросил отец сына, Саня пожал плечами:

— Не знаю...

Он и вправду не ведал, куда теперь девать себя. Может, по Гришиному совету на речной флот?

Отец осторожно поглядывал:

— А по моей линии?

«А школа?» — с тревогой подумал сын. Впервые подумал за эти дни и вспомнил: берег, Сосновка, улочка, а по улочке — пятки врозь, носки вместе — ковыляет старушка Утятична, математичка.

«А-а, Саня, — блеклыми добрыми глазами помаргивает Утятична. — Ты, слыхала, школу бросаешь? Зря, зря... Ты же такой способный к математике...»

Вот и весь разговор — краткий, беглый, дорожный. Думал, забыл, а надо же — запал в душу, вспомнился.

— А может, я еще к чему способный? — бормотал Саня, шатаясь по «Перекату», натываясь на людей, которых вдруг оказалось что-то очень много — так и путались под ногами; засматривали в лицо ошалелыми глазами, растревляли душу.

Они стояли последние грустные вахты. Спускали пары, чистили топки, и Карпыч, хлюпая носом, ворчал:

— Чего чистим-то, чего прибираем! Будто не все равно, какой он на слом пойдет!

Володя мрачно поддакивал:

— Верно... Как покойника обряжаем...

И Сане тоже казалось: похож пароход на мертвеца. Холодный, ко всему безразличный, сделался он до неприличия гулким и гудел под ногами, как пустая железная бочка.

И однажды вечером пришел «Перекату» конец. Команда, собрав немудреные вещички, сошла на берег — не на тот, что с большой буквы, желанный и долгожданный, а на обычный, в меру замусоренный, в

меру зеленый. Ребята простились с пароходом и постояли на берегу, как возле свежей могилы, потом, не оглядываясь, потянулись гуськом в контору. Начальство давало каждому по десять суток отпуска, пока не придет новое судно.

— Может, к нам пока погостить? — приглашали ребята Саню и его отца.

Володя не приглашал: не было у него дома, жил в общежитии.

— Может, ко мне? — дольше всех тряс отцову руку Карпыч. — Поглядишь, как живу... — И вздыхал: видно, глядеть-то было не на что, кроме старухи.

Не пошли ребята и к Сергеевым — отца ли стеснялись, свои ли были у них дела. Даже Володя не пошел, хоть и звал его Саня горячо.

«Ты виноват», — косился Саня на черный пароход: это он, уйдя, разъединил народ — каждый стал сам по себе. Когда-то будет новый, когда-то привыкнут люди к своей машине, к шлюпке, к цветку.

— Спасибо, — отвечал Саня на приглашения, обегая товарищей спотыкучим взглядом. — Только нам домой... Домой...

Отец стоял в сторонке, размышляя, видно, о новом своем доме, который, верно, будет таким же гулким и пустым, как новый неведомый теплоход...

— Сергеев! — Иван Михайлович сунул Сане листок. — Дня через три явишься! До встречи! Адрес мой!

Помахали друг другу, разошлись. «Семка?» — напрасно вертелся Саня. Не было Семки, тихо удрал. Ни Гриши, ни Володи, ни Ивана Михайловича — стоял в одиночестве Карпыч с рюкзаком.

— Если надумаешь, — сказал отец, — я всегда рад...

— И ты, — издали кивал старик. — Ежели что — за- всегда... Слышь, Санька!

— Слышу, Карпыч! Заходи!

— И ты... Ежели что...

Карпыч потащился. Спускалось солнце, силуэт парохода четко выделялся на розовом.

— Жалко, — искренне сказал отец. — Хорошие люди... Жалко...

А Саня все смотрел и смотрел, то на Карпыча, бредущего берегом, то на «Перекат» и неведомо кого больше жалел — бедный пароходик или старика. Карпыч

черный, сутулый, и «Пережат» такой же черный и такой же вроде сутулый, одинокий, без флага и огонечка. Замерли навеки усталые колеса, и отполированные плиты глядели уныло, как беспомощные руки рабочего человека, которым вдруг отказали в работе.

— Посидим? — попросил Саня, и отец безмолвно опустился рядом с ним на траву.

Саня вспомнил недавнее: солнечный день, жаркий берег и своих, которые, радуясь передышке, обгоняя и хватая друг друга, лезли в гору. Иван Михайлович не бежал, не хватал — шагал степенно, квадратно. Торопилась куда-то повариха. Сидел на бережке Карпыч, поплеывал, сосал сигарету. И на всех с завистью поглядывал Семка-матрос: он на вахте, не выплакал себе берега. Потому сердился на всех, даже на Саню, которого называл тогда другом. А мимо шли пионеры. Остановились, сбились в кучу, и двое самых деловых полезли по трапу на палубу.

«Стой, куда!» — заорал, замахал руками Коркин, и Саня почувствовал, как приятно Семке орать и не пускать.

«Да ладно тебе», — нахмурился он, и мальчишки с трапа и с берега заверещали, чуя поддержку: «Пусти, дяденька!»

Коркин довольно засопел и, хоть не положено, пустил-таки ребят, сделал доброе дело. И через миг пацаны лазили по пароходу. Зазвенел под любопытной рукой колокол, в рубке завертелся большой штурвал, сверкнуло стекло бинокля. Пароход стоял, присмирив: дети ведь! Зато волновалась толстая вожатая на берегу: «Ребята, не бузить!» Ребята и не бузили, а, все облазив, слетели на берег, хором закричали надутому Семке: «Спа-си-бо!»

— Спасибо, — повторил теперь Саня.

Отец встрепнулся, поднял голову — сын сидел, обняв колени.

— Кому спасибо, Саня?

Тот задумался. Ответил, глядя на «Пережат», уже слабо различимый в полутьме:

— Всем... Людям... И ему тоже...

СОДЕРЖАНИЕ

ХОЗЯИН МОРКОВОГО ПОЛЯ

3

СБЕРЕГИ МОЮ ЛОШАДКУ

128

ГРУШЕВЫЙ ЧЕРТЕНОК

275

ВЛАДИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ ЛЕОНОВ

ГРУШЕВЫЙ ЧЕРТЕНОК

Повести

*Для среднего школьного
возраста*

Заведующая редакцией

Л. Сурова

Редактор

О. Русина

Художник

Е. Двоскина

Художественный редактор

Ф. Барбышев

Технический редактор

Н. Привезенцева

Корректоры

Л. Сидорова, Л. Царская

ИБ № 4412

Сдано в набор 12.10.89. Подписано к печати 31.01.90. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 20,16. Усл. кр.-отт. 20,79. Уч.-изд. л. 20,62. Тираж 50 000 экз. Заказ 285. Цена 90 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Московский рабочий». 101854. ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8.
Ордена Ленина типография «Красный пролетарий». 103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.